

ИВАН ЕВДОКИМОВ

**ПОРТРЕТ
ВАСИЛИЯ
МЕЩЕРИНА**



**ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1934**



T.B.
1932.

И. Евдокимов — Портрет В. Мещерина.
ГИХЛ, Москва, 1934.

*

Редактор О. Резник.
Технический редактор С. Симонов.
Художник Л. Эппле.

*

Сдано в набор 29/VIII 1933 г.
Подписано к печати 25/XII 1933 г.
Формат 82×110 ¼₃₂. Тираж 10 000
Бум. л. 6½ 115 328 зн. в бум. л.

*

Инд. Х-11. Огиз № 163.
Уполномоченный Главлита Б-33962.
Зак. 3396.

*

1-я Образц. тип. Огиза РСФСР
треста „Полиграфкнига“. Москва,
Баловая, 28.

Автобиографическая повесть некоего человека „Портрет Василия Мещеряка“ посвящается всем близким.

ОТЦЫ

Поля, леса, реки, паромы — и опять поля, и опять леса. Частят деревни, и редки села. Это Кирилловский тракт. От Вологды до Кириллова. Из одной губернии в другую. Желтая, кривая, похожая на суковатую палку, летняя дорога. Или песяня-сверкающая от полозов, точно вмяты в снег широкие плоские рельсы. Дорога идет по нагорью.

Внизу справа видать, как с высокой башни, сизое, в белых кудряшках, в ворохах путаной стружки, олово Кубинского озера. Зимами это огромная молчаливая снежная впадина с чернью мужицких обозов и рыбакских дуванов.

Дон-дон-диллон.

Загорелся кошкин дом.

Бежит курица с ведром.

Заливает кошкин дом. —

кричит на всех путях и перепутьях деревенская челядь, стремглав гонясь за почтовыми парами и тройками. Чистые звуки колокольцев и россыпь ширкунцов сливаются с ребяческой задорной песенкой.

По этому тракту, в восьмидесятых годах, в ноябрьскую стужу, около солнечных полудён проходила шумная орава

рекрутов. В урочное время по проселкам и тропам они вытекли на большую дорогу, оглянулись на родные медвежьи и волчьи углы, смешались деревнями и повернулись лицом к городу.

Разнодеревенских мужиков не стало. Они приняли обличье новобранцев. Мужики были провожатыми: пехтурой, верховыми, на дровнях и на санях с хмурыми бабами, с заплачанными молодками, с печальными девушками.

Отчаянная гармошка, пьяная и заунывшая рекрутская песня вели новобранцев. По морозу шли споро. Будто приплясывали на легких ногах. Бабы догоняли впритруску и старались ухватиться за мужичьи кушаки и карманы. Старичьё понукало лошадей...

Федор Мещерин и старуха мать его, бабка Афанасья, как называли ее поголовно все деревенские, крепко и уверенно шагали впереди. Оба рослые, прямые, долгоногие, они точно были коноводами толпы. Мать и сын словно не замечали дороги, не обращали внимания на еле поспевающих за ними ходоков и не испытывали никакой усталости.

— Эй, журавли! — кричали со смехом однодеревенцы. — Остановись, что ли! Нешто так косяки водят?.. Бабка Афанасья, держи своего коня! Успеет еще царю угодить! Чего он наставил паруса будто под ветер! А сама ты бежишь ровно нахлестанная! Не со службы идем, а на службу! Погодят там! Эй, привал надобно!

На коротких привалах мать и сын держались отчужденно от всех, молчали, глядели строго и сосредоточенно. Бабка Афанасья, без кровинки в лице, мрачно прислушивалась к общему пьяному балагурству новобранцев, отвертывалась от злесвоевременной и невеселой пляски и явно осуждала искусственную потеху, какой пытались развлекать себя подневольные весельчаки — будущие солдаты и провожатые.

Так пришли в Вологду. Мать и сын промолчали день на постоялом дворе. Пелодимы, не расставаясь, рука-об-руку, бродили по городу. Бабка Афанасья на ходу жевала хлеб.

Сын словно утратил в нем всякую надобность и наотрез отказался.

Бабку Афанасью не пустили за высокий забор у канцелярии воинского начальника, куда собирались новобранцы на перекличку перед отправкой.

Когда же взвыли по сю сторону забора старухи, молодки и девушки, а старники, пересиливая себя, зафыркали носами и бороды у отцов затряслись от плача, бабка Афанасья сурово огляделась вокруг и торопливо пошла прочь.

На развилке улицы, где стояли в снежном инее две-три березы, бабка Афанасья остановилась и, казалось, ни для кого незаметно утерла глаза. Мимо пробегали с санками два стремительных мальчугана. Они мельком взглянули на нее и, не замедляя бега, оба враз спросили:

— О чем, бабка, плачешь?

И сами себе ответили:

— Новобранца сдала!

— Не плачь, бабка,— сочувственно бросил один мальчик, — не у тебя у одной,— у нас всю улицу замели.

Бабке помешали. Она овладела собой. Только почему-то на этой развилке улицы, никак не похожей на деревенскую улицу, вместо двоих городских ребятишек бабка увидала целую артель деревенской озорной мелюзги. И старуха вспомнила, как часто она слышала из палисадников, из-за колодца, из-за садовых огородцев челядинное свое прозвище.

— Бабка каменная! Бабка каменная! — дразнила старуху деревенская вольница.

Бабка Афанасья устало придержалась за ветку, осипала себя легким и летучим снегом — и вдруг жалко и одиноко улыбнулась над своей твердостью, зажмурила глаза, пошатнулась: холодный ствол березы помог ей устоять на ногах...

Вечерние станционные огни в фонарях были похожи на зажженные церковные свечи и лампады по большим праздникам. Так же походила на иконостас стеклявшая вокзальная стена, отражающая огни. Бабка Афанасья нигде больше не

випада столько света. Поезд с новобранцами стоял у платформы.

Мать и сын молча глядели друг на друга, часто глаза их косили в стороны, точно новобранцу и провожатой не-пременно хотелось для чего-то запомнить это вокзальное освещение или они желали, чтобы оно потухло и не мешало им скрывать тяжелые чувства расставания.

Федор Мещерин уехал с сухими глазами под бабийвой и степаня, раздававшиеся на каждом вершке переполненной народом платформы. Бабка Афанасья прижалась к сыну в прощальном объятии, не дрогнула, не обессиела, а только сказала:

— И-иу... слава... богу... Пора... Долго коались...

Старуха не стала дожидаться, покуда скроется в ночь, за поворотом, красный фонарь у последнего вагона. Она, чуть горбясь, протолкалась сквозь спрятки рыдавшую толпу и постаралась не встретиться в городе со своими деревенскими.

Бабка Афанасья заглянула на ночевку, взяла свой мешок — вместе с сыном успела закупить ситцу для дочерей — и, не откладывая, двинулась домой.

Так глухой и холодной, но лунной ночью бабка Афанасья медленно и разбито шла в свое Котлово, а сын в те же бессонные часы не отходил от вагонного окна и тоскливо глядел на луну, сопровождавшую поезд.

Луна не дала снать и третьему человеку в эту ночь.

О поле с Котловым под невысокой горкой, точно на корточках, низко присела рыбачья деревушка Пряхино. Семь крылатых ветряных мельниц выстроились в ряд.

Мельницы махали над Пряхиным своими темными скрипучими крестами. Казалось, мельницы не просто мололи ржаное и овсяное зерно, а были какими-то неназванными машинами, благодаря работе которых деревушка Пряхино, гора, вся земля вокруг не стояли на месте, а куда-то безвестно плыли.

Дочка мельника Вьюркова Марьушка, выплакав все слезы,

окаменело приподнялась с лавки и оперлась локтем на подоконник.

В маленькое оконце, залитое лунным половодьем, Марьушка не отрываясь глядела на мельницы.

Она еще никогда не видела их такими страшными и страшными. Мельницы явственно жили своей особой и таинственной жизнью. Ветер гнал по небу морозную паутинку облаков. Высветленное, точно все в разводах от иаждачной шкурки, расплавленное ядро луны дрожало за облаками и качалось из стороны в сторону подобно мячу на волнах. Ветер яростно дул и словно мог погасить луну, он уже разделался с тяжелыми облаками, истощив их до рваной кисейки, колеблемой с легкостью тающего дыма. Мельницы сумасшедше вертелись.

Марьюшке показалось, что они накренились на один бок, еще стоят, еще сопротивляются ветру, но уже недалек тот последний срок, когда мельницы оторвутся от земли и полетят надней. В сознании Марьюшки причудливо возникло желание полететь вместе с ними, оставить это сонное, мертвое, выбеленное снегом и месяцем Пряхино. Деревня представилась такой же страшной, как этиочные, безумолично движущиеся и шатающиеся мельницы.

Марьюшка закрыла глаза. И вспомнила. В последние дни перед бабьим летом котловские молодцы нагрянули в Пряхино с большой поздиной. В Пряхине была гулянка. Но котловане где-то пропадали целый день. Пришли они под сильным хмельком.

И сразу не поладили с анфаловскими и чебоксарскими ребятами.

Посереди деревни под разноголосый рев гармошек шла плисовая гопотня. Славились анфаловские плясуньи, перенявшие от дедов и отцов залихватское умение выделять ногами номрачительные крендели.

Помещик Кожин, прежде владевший Анфаловым, был помешан на хороводах и танцах. Он обучил всех своих кре-

постных плясать. Гонял их целой деревней на ярмарки и устраивал там плясовые балаганы. Но праздникам облезжал с плясунами уездные усадьбы и сельские сборища. Самовольно плясали даже на монастырских помочах, а селян и жали в свободное время. Кожин наряжал плясунов в разноцветные рубахи и поддевки. В усадьбе, называемой „Плясовая“, огромный амбар хранил несколько сотен „перемен“ для плясунов. Костюмы висели вгустую на вешалках. Над каждым был свой номер. Кожин тридцать лет заготавливал плясунье шитье, покуда как-то не нашли помещика в амбаре с петлей на шее, подтянутого чьими-то старательными руками к самой крыше, к средней перекладинке. Так он и болтался в виде черного обрубка, схожего по тощчине с мельничным валом, над всеми своими плясовыми богатствами.

Помещик отплясал, мужики пустились отдыхать, но выучки не забыли, вспоминали старинку и не оставили наследников в одном мужичьем звании.

Анфаловские покоряли пряхинских девок таким молодецким топотом, присядками и скачками, что для других деревень словно бы девок не оставалось.

Чебоксарские были подстать анфаловским весельчикам — первостатейные гармонные игруны. Чебоксары и Анфалово — обе деревни рядом: одна на этой опушке волока, а другая — па той, за полторы версты. Может, и чебоксарских обучили управляться с клапанами и голенищами гармошек своей Кожин. Но об этом говорилось вскользь.

Зависть, со стороны мало чем примечательных рыбаков котлован, к мастерам плясового и тальяночного дела послужила к обоюдному несогласию. Бурные кубинские цуницы, по которым плавали на пятериках-парусниках котловане будто по тихой воде коровьего пруда, приучили их к отчаянной бесшабашности и к дерзкому нраву.

В самый разгар плясовой кучка анфаловцев с румяными лицами, словно за день напекло им щеки солнце, в поту

и задышке, красуясь, пошла кружком один за другим. В серединке крутился веретеном в красной рубахе большак и голова плясунов, а чебоксарские ускоряли и ускоряли бег пальцев по гармонным клапанам. Тогда Федька Мещерин оглушительно свистнул, как свистел еще мальчишкой на коней в ночном, сунув два пальца в рот.

Только этого свиста и ждали завистники. Пряхинская челядь поддержала свист. Пятеро котовских сделали анфалонским подножки, шестой инул из-под низу в гармонь чебоксарца — и пошло...

Девки взвизгнули и кинулись различать. Плясуны и гармонщики удали бесцеланным, но ядреным рыбакам. На деревенской улице скоро остались оторванные плашки гармоний, растоптанной ширмочкой покопавшись в пыли целая тальянка, алеши клочки чьей-то красной рубахи, как змеи изогнулись несколько разноцветных поясов, и оказался один некренкий каблук.

Победители преследовали побежденных с такими воинствами, что они слышались далеко из поля. Пряхинские девки выбежали за деревенскую окопицу, ругали вдогонку и тех и этих, досадуя о расстроенной гулянке.

Марьушка Вьюркова не без причин отмачивалась и сторонилась девок. И не убереглась. На нее прямо разогнался целый табун крикливых и разгневанных подруг. Они враз зашумели:

— Это все твой шалый Федька! Который раз, окаянный, путает веселье! Драчун и свистун! Несчастный заводила! Котовский атаман! Хоть бы забрили немилокрового поскорее в солдаты! Всю округу баламутит! Гуляй с ним, дура, одна, а мы от него за тридевять земель! Не станем, не станем принимать на посценки! Пускай окошки бьет, пускай перегороды ломает! Как он в избу, мы подушки с козелками подмышку — и на другой двор! А то, девоньки, все на него накинемся и закидаем его чем попало! Осрамим. Тогда, может, остынеется! Девок станет бить, мужики нас не дадут и про-

учат его всей деревней! Ишь, какую власть забрал над разнопороденскими молодцами!

Марьушка не перечила и не оправдывала своего дролю. Девки, негодяи и фыркая, бросили ее за окопицей. Они еще долго кричали в деревне, покуда Марьушка виновато стояла у огорода и растерянно теребила ленту в косе.

А потом недостало сил бранить Федьку и уйти от него, когда он смущенно возвратился. Под отцовской мельницей, в кустах, выследив, как отец засыпал на ночь зерно в жернова и ушел спать в деревню, Марьушка крепко и долго обнимала буйна Федьку с расцарапанным носом и подбитым глазом. Федька ревновал и дрался. И Федьку нельзя было не любить.

Около полуночи Марьушка осторожно пролезла в узенькую щелку ворот на назьму к корове, чтобы не скрипеть в трескучем и гулком тесовом крылечке и не разбудить ворчливых стариков родителей. С этой гулянки Марьушка понесла плод.

За бабьим летом сразу ударили ранние дожди, заморозки, навалились осенние работы, котловане брали осеннюю путьну и мерзли на озере и денно и нощно. Потом подоспел набор. Марьушка и Федька встречались урывками, наспех, на ходу.

Федьку забрали. Только последнюю гулянью неделю Федька не покидал Пряхино.

Тогда-то и грязнула беда. Соседи закачали головами и с подозрением насторожились. Федька за пять суток перед отправкой, хлебнув через край для смелости, посватался. Мельник Степан Вьюрков сперва осталбенел, а потом даже захохотал, а через минуту обиделся на весь свет.

— Мы не купцы, и товар у нас не продажной, Федор Степанович, — насмешливо и с злобинкой забормотал мельник, — сватовство твое... без ума. Ты эт что же моей девке срам делаешь? Кто это берет бабу в избу... на слезы и разлуку... без медового месяца? Молодку свекрови в кабалу, а

сам на царскую службу, на четыре, на пять годов? Побывками молоду жену хоти натешить! Да и подумал ты снашту, Федор Степанович, об этом самом с пьяных глаз. Марьюшка моя... ровно бы... не шара тебе!

— Шаотрез?! — крикнул, в ярости сжимая кулаки, жених.
— Шаотрез.
— Жалеть будешь! — грозил Федька.
— Не буду! — воинил мельник.
— Остерегись, Степан!

— Не угрозишь! — упорствовал мельник. — Отворачивай по-добрю по-здравову. Ворота наши для тебя закрытые.

— Нет, не закрытые, а открытые!
— Чего? — побелел старик, трясясь и в свою очередь наступая на сватуна.

— А ничего! — не сошел с места Федька. — Самоходкой уведу!

— Я вот как тебя по роже-то помедом! — взвыла мельничиха Аграфена и рывком схватила помело. — С глаз наших долой, пьяница, отренок, солдатишко несчастной! Аль похваляешься худым делом? Бесчастинь девку! Аль поддалась тебе наша Марьюшка? Славу худую думашь пустить, так и уведешь жену??!

— Молчи-и, дура! — бешено топнул ногой мельник. — Что-о ты неладное бормочешь, окаянная!

Федька молча повернулся, хлопнул дверью, и старики услышали, как он стремительно побежал, громыхая сапогами, по разговорчивой крылечной лесенке.

— Гольтина! — плюнул мельник вслед. — Ищущий Афанасьевыкормок! Но-миру не по-миру ходят, а, поди, рады бы собирать куски! Иятеро суток на неделе пробавляются крестами заместо хлеба, а к нам, людям им не чета, в родину лезут! Тыфу!

— Охальник! — подхватила Аграфена. — Спяниша негодий дебоширство делает! Нашу Марьюшку, видишь ли, облюбовал! Обрадеет она, гляди!

Старуха язвительно засмеялась. Мельник, однако, серьезно наступился, долго смотрел на жену, млялся и, наконец, в колебании спросил:

— А чего это он, Аграфена, больно смел? Не пойму... Чего эт он угрожался?

Мельник не спускал глаз со старухи.

— Может, Марьюшка...

— Чего Марьюшка? — в свой черед подозрительно за-колябалась мать. — Аль ты слыхал... цехорошее?

Мельник отер потный лоб и тяжело вздохнул.

— Слыхом не слыхал, видом не видал, — мрачно протянул старик и опять уставился на жену проинительным недоверчивым взглядом. — Мы... ведь... мужики узнаем... обо всем... опосли...

Вдруг Аграфена горько и обиженно заплакала, швырнула помело в угол и беспомощно опустилась на лавку.

— Матушки! Батюшки! — всхлипывала старуха. — Родной отец в чистом дитяти своем червоточину углядел. Беда мие...

— Дура, я не углядел! Чегой ты пустое вякаешь?

— Не углядел, так впал в сумление! Степан, да ты рехнулся? Давеча меня одернул, а нынче сам лянулся... Как язык только не отсохнул! Марьюшка... панна славиуха... и, накося... не соблюда себя... Ой, ой, горе мие!.. Стены услышат, и те ужаснутся...

— Затвори рот втулкой! — крикнул мельник. — Я ж не на людях, а тебе одной помысл поведал! Ишикни выть! Люди добрые не увидели б! Полезай на печь за трубаки и уливайся там!

Старик крутил в избе и не находил покойного места. Часы-ходики хрюпали проскрежетали недалекое время перед паважной. Мельник прослушал их скорый бой. В избе было оставаться немоготу. Встревоженное сердце гнало в уединение, чтобы можно было вдуматься во все, разобраться без всякой помехи от других, угадать неизвестное и не подчиниться ему.

Степан поспешил натянуть шубу. Он уже взялся за дверную скобу. И тут в отчаянном испуге хватился дочери, как будто он только что вспомнил об ее отсутствии.

— Где девка? — жадно воззвал мельник.

Аграфена подняла заплаканное лицо и, морщась, сердито выкрикнула:

— Где, где, недовера?! Борода до нула, а как маленькой! Девка плетет кружева в задней избе. Небось, не уведут! Самокруток у нас не бывает в роду!

Мельник испытал удовлетворение, но с притворным недовольством бросил:

— Не бреши языком, старбенъ, пустяки! — И ступив за двери, наставительно заключил: — Поглядывай за девкой! С тебя спрошу! Сундуки с приданым на запор! Ключ мие уже отдашь... на сохраненье. А его... Федьку... более не пущать в дом!

Мельник вернулся из крыльца, заглянул в заднюю избу, удостоверился, что Марьюшка действительно находилась там одна, и хотя кружев не плела, но стояла у оконка и для чего-то ковырила пальцем пушистый ишёй на стекле.

Марьюшка, вздрогнув, обернулась на скрип двери. Мельник заметил ее испуг и осторожно прикрыл тяжелое полотнище. Марьюшка наблюдала, как отец сосредоточенно и не спеша отправился вдоль улицы в поле.

Едва он исчез, Марьюшка так покраснела, что огненного ее лица испугалась сама виновница этого смущения. Мать почти вбежала в избу, молча толкнула дочь на лавку и требовательно приказала:

— Ложись на спину! Вытяни ноги!

Красная и потрясенная Марьюшка безвольно исполнила все, чего хотела мать. Девушка только схватилась осторегающими руками за юбку, когда старуха хотела закинуть ее на грудь.

— Опусти, — зашипела в гневе мать, — живехонько опусти, покуда никого нет, я должна удостовериться в тебе.

Марьушка зарыдала и ослабела. Старуха открыла белый и пухлый живот, ловко и быстро выщупала его, набросила опять юбочонку, посадила дочь на лавку, уселилась рядом и с плачем обняла обиженнюю. Обе женщины враз начали всхлипывать.

— А я-то думала — бядя, — лепетала довольно мать, — а ну как ты согрешила?.. Отец-то убьет тоды... От деревенских-то срам какой! В могилу он сведет... И надавало этого Федьку на нашу голову... И пошто ты его полюбила?.. И што ты в нем хорошего нашла?.. Рваной середыш! Род-то их весь по-дураски горячий и озорной. Нищенствуют, иничегошеньки в хозяйстве нету. Не женихи, а обида всякому мало-мальски исправному дому, чуть они со сватами покажутся.

Мать долго и любовно донытивалась от Марьушки, как и где и когда она гуляла с Федькой, просила у неё прощения и оправдывалась перед дочерью.

— Так-то лучше, я ж мать тебе, у нас между собой все и скрыто, — шептала в самое лицо потная и горячая Аграфена, — на мать и сердца не бывает. Я для тебя. Отец с ума может сойти. Слава для него — лучше в петлю. Ты ж знаешь, какой у тебя батько! Он захочет похвалиться и худую славу про тебя втоигнать в землю, возьмет да и велит чужим старухам подол тебе загинать. С него станет. А я теперь и поручусь.

— Поручись!.. — рыдала Марьушка.

— И самоходкой не уйдешь?

— Не уйду.

— Мыслимо ли это на горе-злосчастье, зажамши очи, итти! В пекло к этой свекрови Афанасье. К золовкам. Ему иочка одна потеха, потом его в солдаты, как шар по дороге покатят, обратно не поворотишь. Может, война будет. Может, он из солдатов и не воротится. А ты не мужья жена, а навек солдатка-вдова. Чтой тебе слаще гнуть спину в чужом поле, а не в отцовском?

Когда Марьюшка перестала плакать, старуха ей уже сулила неизбежное счастье в будущем.

— Ты погодь, печали не поддавайся. Тебе притягивается другой какой-нибудь молодец, фасонистой, умной, не пьяница и с зажитком. Нам ровно надобно.

И старуха обольщала дочь, не встречая у нее сожаления хулам Федьке и всему Федькину роду.

— А уж коли не вытравишь Федьку из сердца, четыре годика его не забудешь — судьба. Тоды и отец согласье дас. И не люб, а дас. Мы Федьку в дом возьмем. Своего-то у него никогда не будет. Сестреницы расташат по замужествам и последние тряпочки. В одних гнилых стенах не проживешь, не поддарствуешь. А у нас Федька будет с отцом на мельнице молоть. После нас и заступите в полные хозяева.

Но все это повернулось не так, как хотела Аграфена.

В канун отправки Федька выследил, как Марьюшка шмыгнула к соседке-подруге. Марьюшка сидела последние дни взаперти. Мельник уверился, что генеръ-то уж, когда осталось Федьке проснать одну последнюю ночь в Котлове, Марьюшку была отбита от неприятного жениха. Марьюшку спокойно выпустили.

Федька просил и молил Марьюшку. Подруга пожалела их и оставила ненадолго в избе одних, неся верную сторожу.

Отец не ошибся. Марьюшка осталась у родителей. Федька раньше времени прошел мимо удивленной подружки на страже и даже не попрощался с ней.

— Не хнычь, — уверенно тормошила подружка Марьюшку. — Что он снятил — вести тебя самоходкой в кабалу к своей матери! Эт лучше прямо на кладбище. Где это видано, чтоб молодая слезами уливалась в первую же ночь? Нерестань, Марья. Семя мы его вытравим! Я тебе говорю — вытравим!

...Марьюшка просидела до утра, следя за обезумевшими от ветра мельницами.

В те же часы, измученный вагонной тряской, полузасыпая, Федор Мещерин отчетливо видел пряхинские мельницы, кусты за ними, отряхивающуюся Марьюшку и почему-то лиловую усатую бородавку реиля у нее на плече. Мещерин просыпался и замечал, что пальцы на правой руке у него шевелились: это он во сне осторожно и бережно снимал репей с голубого платя Марьюшки, как сделал тогда.

Мельники со своей мельничихой почти без тревог заглядывали в будущее. В потаенном углу на полатях, где старики спали по привычке, пожитой за сорок лет супружества, они усмехались над опасным сватовством Федыки Мещерина.

Все обошлось легко и просто: Марьюшка уцелела и даже начала со средины зимы добреть. Щеки ее напивались розовым подкожным соком и пополнили.

Меж тем на адрес Марьюшкиной подружки приходили нечастные солдатские письма, похожие одно на другое, как голуби, прикормленные Марьюшкой с лета, ворковавшие и топотавшие в крыльце неразличимой стайкой.

А в рождественскую ночь, в церкви, в сожженнем лампадами и свечами воздухе, вдруг Марьюшка неловко схватилась за начищенный, как лемех у плуга, приземистый и широкодонный подсвечник. Она непривычно пошатнулась. Лязгнул и дрогнул подсвечник. Оба, однако, устояли. Мать уже придержала дочь.

— Жарища, — расслабленно шепнула Марьюшка, — я на паперть. Отдышиусь. А то и домой...

— Понти домой-то, — ответила старуха, — обедию отстоять надобно. Люди осудят. Нарням подстать в сторожке проводить время заместо молитвы, а девушке нехорошо бегать от бога.

Марьюшка, пряча глаза в пол, с трудом пробилась на паперть. И тогда еще раз, вдвое сильнее и требовательнее, ребенок в животе толкнул ножкой.

Это движение живого существа, скрытого в таинственной утробе, было так ново и необычайно, что Марьюшка широко и удивленно раскрыла глаза.

Ребенок успокоился и перестал лягаться. Марьюшка вышла на тихий церковный двор.

Рождество было с гнильцой. Вчера, в сочельник хлестал настоящий дождь, какой бывает после летних гроз, только холодный, как в позднюю осень, смешанный с крупой. Сегодня подморозило. Но легкий ветерок-перечник, дующий из-за озерья, — он всегда теплый, — был как-то не по-зимнему мягок и как будто пущист, точно лица касались заячьей лапкой. Небо чистое, словно разглаженное, без единой облачной морщинки, закиданное звездами в густоту и чаще, светлое перед рассветным часом.

Марьюшка прижалась к стене. Девушке казалось, что без подпорки она должна была непременно упасть. Но прошло несколько минут, и Марьюшка почувствовала полное освобождение. Голова ее прояснила, дыхание улеглось. Марьюшка, крадучись, осмотрелась. Никого вокруг не было. Она решилась дотронуться до живота и даже надавила то место, откуда подавал непонятные знаки ребенок. Ничего не произошло. И вдруг Марьюшка пережила радость, что теперь она не одна, с ней попрежнему Федька Мещерин, который напоминал о себе и звал ее.

Радость ее была так глубока, что неожиданно даже окружающие могилы с полузапесанными крестами показались ей уютными, добрыми и никак не страшными. А всего милее и дороже было Марьюшке, что в ней жило непорченное семя. Значит, она ему не повредила, вытравляя всю осень и зиму распаренной ромашкой, горькими травами, жаркой баней.

Сморщенная и растрескавшаяся, как земля в засуху, бабка-повитуха и ворожея в Апфалове, у которой неизменно никем была Марьюшка с подружкой, напрасно заговаривала зачахнуть плод, будто яблочко-падунец. Без пользы пры-

гала Марьушка в снег с сеновала и кувыркалась через голову на дорожном распутьи.

Марьушка примиренно и бодро возвратилась к матери, отстояла обедню и на обратном пути затормошила старуху ласковым заигрыванием. В темном крыльце избы, едва Марьушка оступилась, ребенок снова начал бить пожкой. Но теперь уж он не испугал. Марьушка так звонко засмеялась в ответ, что беспричинно поддергала ее и мать, хотя потом и спросила:

— Ты чтой это таৎ... в колокольчики? Ровно во сне смеешься?

— Не знаю, — замилась снова Марьушка, — сама не знаю отчего... а весело, будто раньше и не умела радоваться.

— Ну, ну, радуйся па здоровье! — довольно сказала мать.

В Вологду на яшварскую ярмарку пряхинские девки пошли спозаранок. Деньги на ситцевые и сарафанные покупки готовили от ярмарки до ярмарки. Ихели кружева. Весь последний месяц работали особенно налажено, не досыпали, не доедали, откладывали даже с церковного блюда. Приходский поп так и знал, что в декабре пожива будет не в пример другим месяцам. Девки обходили угодников и угодниц, ставя копеечные свечи вместо пятакопеечных, а па блюдо соварили полушки.

Глубоким вечером в ярмарочное подгорье, едва переставляя затекшие ноги от сорокаверстной дороги, девки прибрели на знакомый постоянный двор. Он уже был набит людьми. По невзыскательные почевальщики — и те и эти — винаялку, друг на друге, на полу, на лавках, на печках кое-как разместились. Ходили по надобности, перешагивая через сияющих, паступали на ноги, на руки, на окутку. Постояльщики отличались редкой понятливостью и выносливостью.

Гудит, звенит, полнощется флагами развеселая ярмарка. Город утопает в мужиках и бабах. Мокнатая полушубочная, заячья, овечья и волчья деревня заполонила ярмарочные

улицы и площади. Горожанин вылезает из толпы как редкая невидаль. А всех их хватит на один подгородий цыганский табор. Город в тесноте от каруселей, бараков, дощаных палаток, лавок, развалов с товарами...

Прихинские девки с утра растирали натруженные ноги, а с полуденя разбрелись по торговым рядам.

Марьюшки хватились на ночевке поздним вечером, после занора ярмарки. Ждали-ждали, выбегали к воротам, глядели в отцовские окна, протирая их рукавами. Где ее искать в городе? Подружка беспокоилась больше всех, то-и-дело охала, разговаривала о Марьюшке, проглядела глаза, не отходила от окон и от ворот.

Подружка вернулась с ярмарки позже всех, только этого никто не заметил, как не заметили и ее узла с ситцами, вдвое большего, чем у других, — то Марьюшка посыпала своим старикам ярмарочные гостиницы.

Прихинские девки пересвали еще ночь, пробродили новый ярмарочный день и, малость передохнув на постоялом, с девичьей бойкостью шага вышли на Кирилловский тракт.

Утрома подруги занимала их всю дорогу. Еще не доходя до Прихина, девки распустили молву о пропаже мельничковой дочки. С каждым знакомым встречным останавливались на перекутьи и судачили.

Прихино всколыхнулось в ту же минуту, как девки разошлись по своим избам. От двора к двору побежали мальчишки, торопливые бабы-кумушки, развалку пошли к соседям отцы и деды.

Марьюшкина подружка сунула свои покуки в избу и с оставшимся узелком шмыгнула к Вьюрковым.

Мельник с мельничихой враз зашлакали.

— А и зря, — решительно сказала подружка, — ребеночек у нее на пятом месяце. В деревне-то стыд — засели бы, захулили бы! А в Питере глаз деревенских нет. А в Питере двоюродная тетка Анися живет. Марьюшка к ней на гостины поехала...

— Кто ж поверит! — воскликнула отчаянно мать. — Как это так... собралась вдруг.. и поехала... а деревенские и не знали?..

— Знали, не знали, — пренебрежительно протянула подружка, — никто брюха у Марьюшки не видел. Нужной что хошь думают. Мало ль про кого языки сучат! Скренитесь — вот и все. Виду не подавайте. Шито-крыто. Эг для Марьюшки надо. А разиняйтесь — всякому веселье, а вам одним напасть... и хула. Марьюшка ладно сделала.

На двор к Вьюрковым, как ни хотелось бабам, да неловко, послали с разведкой одну старушонку-бобылку только к вечеру. Старая ключка пришла с солоницей зажимовать соли.

— Вся вышла до капельки, — шамкнула бабка, обводя избу ищущими глазками, — а без соли как же! Мальчионка соседкина пошли поутру к лавочнику в Анфалово. Отдам. Ссудите покеда.

— Ссудим, ссудим, — весело ответил мельник и вдруг, ограживая разведчицу, громко засмеялся до слез в глазах и похлопал старуху по спине. — Ах, греховодница! Соли у тебя, поди, запасена мера! Ка-ак подкатилась! Про Марьюшку тебя подослали узнать?..

Бабка притворно начала отмахиваться руками и отступила назад.

Старики Вьюрковы взяли уговорам Марьюшиной подружки и уже подготовились к неизбежному деревенскому любопытству.

— Не вышло, не вышло, хитрюга, — продолжал наемешливо зудить мельник, — а о Марьюшке скажу точь-в-точью. Шум в деревне сделали! Интересную нашу сродственницу Аписью упамятали? Ха-ха! Племянницу повидать тетке охота, а племяннице — людей добрых, столичных...

Бобылка согласно, хотя и с большой недоверчивостью, кивала головой-трисуньей. Мельник кренко стоял посередь язвы, важно подшерев руки в боки.

— Марьюшке-то, — шептала старательно Аграфена, — тег-

ка Анисья все свое добро по себе на память отказывает... Так и в письме писала.

— Эт хорошо, эт славно, — радовалась вместе с Аграфеной бабка-дряхлаха, — сундучок-то с придапым и крышкой не придавши... Полным-полно...

Не верили, сомневались, пересмешничали за спиной, осаждали подружку Марьюшки с допытками, но правды не узнавали...

— Глашь, а Глашь, так ли? Чего ты в укрытки играешь? Напяллась, что ль?

Бойкая и озорная Глаша гнала вои непоседливое бабье.

— Вам бы хотелось, дуры, — кричала она во весь голос, — легтем ворота Марьюшке вымазать! Да не придется! Да не за что! Взяли тоже корысть — славу худую пускать про девушек! Снаряжайте вскладчину ходока в Питер! Я вам адресок дам. Пущай выглядит и привезет вам желанную весточку!

Глашина поддерживала стариков Вьюрковых.

До побега Марьюшки бабка Афанасья знала столько же о сыновием грехе, сколько и другие, — Федька не обмолвился даже словом. Теперь бабка Афанасья все поняла. Она паткнулась где-то в поле на Глашу и, хоронясь от людей, тихонько спросила:

— На каком месяце Марьюшка?

— Родит, когда черемуха зацветет, — сразу же ответила та.

Бабка Афанасья задумалась, что-то подсчитывала в уме, потом внезапно ласковая улыбка осветила ее строгое лицо, как будто на него навели зеркальце, отражающее солнечный луч.

— Запеси мне адрес. Я Марьюшке подготовлю одеяльце и новинки. Поплю ко времени подарок внучонку или внуучке.

Бабка Афанасья отошла было и вернулась снова.

— А это-то, — спросила она серьезно (Глаша поняла, что это Вьюрковы), — в заботе? Али больше в сердцах?

— Отмякают, — усмехнулась Глашина, — тихо, а росток есть.

— И па росточке спасибо. С собой богатство унесут. Пожалуй, не дочек завещают, а соседу мельнику в закрома. У того, поди, всегда свободный заготовлен. Караxтерные! Федька не люб, а обидел. Ничего. Обыграются!

...Тетка Аписья давно променяла родину на Парвскую заставу. Двоюродная племянница была тетке как любая встреча-ная девушки на улице. Марьюшку приветили на один день. Тесный и сырой подвал, точно долго валявшийся на дворе и протухший под дождями дырявый ящик, переполняло не- сколько семей. Жилец многодетный, пищий, крикливый и хмельной не был расположен к мягкосердечию и лишнему стеснению.

— Да-а, — откровенно сказал муж тетки, кондуктор на товарных поездах Николаевской железной дороги, — у нас, сама видишь, не жилье, а настоящий пакгауз на перегрузоч-ной... Где тут тебе рожать... на постоянном дворе? — Он осу-дительно и пехорочно усмехнулся. — Больно далеко заехала. Зря. Стыдиться, подумаешь, бабьего дела. В Пряжине куда б было вольготнее! Зря истратилась на дорогу. — Он нахму-рился и резко спросил: — Деньги у тебя на прожитье есть?

По тут вмешалась тетка.

— Какие разговоры! — препнебрежительно воскликнула она. — В такую даль с пустыми кармашами кто же кинется. Нам нет дела до ее денег, а только жить у нас негде.

Марьюшка с ужасом озиралась в клетушке, из которой ее выгнали. Там, за ржавыми решетчатыми окнами подвала открывались просторы светлых и веселых улиц. Но там не было ни одного знакомого человека. Там пугал каждый камень. Там жили какие-то чужаки, казавшиеся еще более враждебными, чем откровенные и бесхитростные родствен-ники.

— Ничего, ты не бойся, — смягчилась тетка. — Я тебя ниче не гоню. Куда ты пойдешь такая — безъязыкая? Я тебя сначала научу ходить по городу. Завтра с утра мы с тобой пойдем и поищем квартирку. Тебе немногого и надо.

Угол найдем. На боку в Шитере не наложишь. Таких тут лежунов раз-два — и обчелся. Никуда еще не барышя! Место тебе надо получить в прислуги или в прачки, или в поломойки...

Тетка Анисья действительно помогла.

— Ты ее поскорее выпроваживай, — недовольно шептал ночью муж: — лишний рот. Деньги с нее брать стыдно: по-деревенски родственница, а и кормить — зарез. Самим не хватает.

Через улицу от тетки в таком же подвале сняли проходной угол у молоденькой бабенки с двумя ребятишками, вдовы, домашней прачки.

— Вот квартира, — с явной симпатией к розовощекой женщине засмеялась хозяйка: — и почлег и работа. Может, и деньги за половицу на полу не придется платить: отработаешь стиркой.

Тетка Анисья была довольна освобождением от хлопот.

— Гляди, Марьушка, как устроилась! Третьеводни приехала — и уже самостоятельная шитерячка. В гости будем друг к другу ходить. Живи всласть!

Было условлено, чтобы до поры, до времени Марьушка никому не говорила о своей тягости.

— Никуда на место не возьмут и на квартиру не пустят, — предупредила опытная тетка: — ты с поклажей всем обуз! Скрывайся от людей. Торопись прикрепиться к городу покрепче, а там привыкнешь, все и обойдется. Ты не напосиццу. Нас тут, баб, кто нагулял с ветру ребят, — тысячи тысяч. Одна опростается, а другая опять с закладом.

Тетка Анисья через день-другой забежала к Марьушке в самом возбужденном и торопливом состоянии.

— Скорей, скорей, — подняла она Марьушку на ноги, — принарядись. Я тебе место в приходящие прислуги нашла. К одному вдовому барину. У него двое балбесов лет по шестнадцати, по семнадцати. Учатся. Барин две комнаты снимает. У настоящих хозяев прислуга на кухне спит, а

тебе места нет. Ты на почь домой. И готовить не надо. Комнаты убирать. Самовар ставить. Стирать. И за обедом в ресторан ходить. Умна будешь, не все к столу подашь. Кроме объедков от барина — лучший кусок остается.

Марьинка начала служить. Бывшая хозяйская прислуга очутила в красивой и приветливой деревенщине соперницу. К ней уже приглядывалась хозяйка. Не прошло недели, как однажды Марьинку перед самым ее уходом домой недоброжелательно окружили на кухне все жильцы квартиры. Марьинка с недоумением взглянула на злые, затаенные лица знакомых людей.

От непривычного внимания к себе она покраснела, как поздняя спелая кисть рябины.

— Где твоя кофта? — строго спросил старый барин. — Покажи!

Вместе с Марьинкой люди передвинулись из кухни в прихожую. Марьинка в тревоге потрогала рукав ватной неуклюжей кофты.

— Ага! — торжествующе надулся барин. — Она сразу берется за нужное место!

— Ты воровка! — оглушительно взвизнула хозяйская прислуга. — Я второй год живу у господ... На меня могли подумать. Как тебе не стыдно! А на личико глянуть — загляденье. Простота и милота! Вот вы какие ласковые да аккуратные простушки!

— И-и-ождал! — развел возмущенно руками старый барин. — И никак не ожидал. Я был совершенно спокоен за вещи! И вдруг... золотые часы исчезли!

Только тут Марьинка поняла, в чем ее обвиняли. Перед обедом пропали часы со столика. Нервали всю квартиру. Марьинка лазила под кровати, под диваны, переставляла шкафы. Она делала это с такой заботой и усердием, так сочувствовала горю старого барина, что, казалось, не могло нести на нее никакого подозрения.

Бечером Марьинка ходила на угол за газетами. Пропавшие

часы перестали искать. Как будто все о них забыли. И вдруг...

— Я часов не брала, — захлебываясь, дрожа от оскорбления и с перепуга, сказала Марьюшка.

— А это что? Не часы? — резко и в полном неистовстве выкрикнула хозяйская прислуга, сорвала кофту с вешалки, выворотила рукав напинки и, поднося к глазам каждого, показывала золотое колечко часов, торчавшее из подкладки. — То ли не гнездышко сделала! Кому придет в голову искать тут? Подпорола испод кармашком. И бариновы часы в ватку... чтобы не тикали громко. Не хватает пуговку пришить. Видно, не успела!

Все люди зловеще молчали и ненавидели хитроумную Марьюшку.

— Да-да, работа! — поморщился от отвращения барин. — Чисто! Весьма предусмотрительно! И... даже тонко проведена операция!

— Это она мне подсунула! — неожиданно прошипела от своей догадки Марьюшка, уверенная, что ее сейчас поймут и не будут больше незаслуженно обвинять. — Что я ей сделала? За что она меня бесчестит? Я в воровках не бывала.

— Я?! — возопила хозяйская прислуга и с плачем и визгом всхлипала в волосы не ожидавшей нападения Марьюшки и начала ее таскать по прихожей. — Я... я... я... я тебя в полицию отправлю! Я тебя в тюрьму засажу! Не у меня нашли, а у тебя! Ты с большой головы на здоровую!

Часы уже были выпнуты из подкладки, возвращены владельцу, а кофта брошена на пол. Потасовка надоела господам.

— Стеша, — приказала хозяйка своей прислуге, — прекрати это безобразие! Во-он! — показала она пальцем на дверь распаханной в кровь Марьюшке.

— А как же в полицию, барыня? — тяжело дыша, точно в необоримом страхе, что воровка благополучно и беспаказанно уйдет, с полной готовностью не пожалеть своих, за

день уставших ног, сказала Стеша. — Я живо приведу городового! А, барыня?..

— Связываться! — брезгливо поморщился старый барин. — Просто гони ее... в шею! К черту!

Сигнал был дан. Стеша снова обрушилась на Марьушку и выгнала ее в толчки на лестницу. Потом стремительно вернулась в прихожую, подняла затоптанную кофту, разодрала ее и швыриула в лестничный колодец. Где-то далеко внизу слепнула Марьушкина кофта, а двери в квартиру захлопнулись с резким щелчком.

Не с легкой руки тетка Аписья приискала и другое место, куда взяли Марьушку на испытание. Из осторожности решили угол пока держать. Марьушка не почевала дома какие-нибудь двое-трое суток.

За перегородку к Марьушке под утро пришел в халате купец-хозяин. Марьушка вскочила и, закрываясь одеялом, забилась в угол комнатушки.

— Тише, дура, — зашептал уверенный в успехе почной гость, — никто не узнает. Все спят. Я тебе буду хорошо платить. На, получай! — Купец разжал стиснутый кулак с несколькими кредитками. — Тут десять рублей, — подчеркнул он с уважением к деньгам: — ублаготворишь, вознагражду по совести.

Купец распахнул халат, прикрывавший голое волосатое тело.

Он бросил деньги на подоконник, скинул халат и улегся на край кровати. Тяжелая машина как бы вдавила заскрипевшую кровать в пол.

— Спа-а-си-те! — изо всех сил закричала Марьушка. — Спа-а-си-те!

Голого человека подбросило кверху, как дубовый огромный кряж, лежащий на берегу, катит и смыывает высокой водой. Он расторопно скатился на пол, ухитрившись схватить одной рукой подушку и зажать рот Марьушке.

— Что ты, миленькая, — ошалело зашептал покрывшийся

сразу испариной неренуганий кучина, — ведь всех неребудишь! Нехорошо. Цыц! Не буду, не буду! Уйду! Я думал, ты... таковская!

Он шагнул в коридор. Марьюшка слышала, как хозяин, удаляясь, солидно и степенно покашливал и шаркал туфлями. За стеной вдруг громко заговорили. До слуха поспешно одевшейся Марьюшки доносился виноватый, оправдывающийся голос хозяина.

— Манефа, ты рехнулась! — юлил он. — Да что ты, голубушка, одумайся... Да разве так можно! Немыслимое тебе приснилось... Ложись-ка па перинку, беспокойная женщина, простынишь в одной рубахе, стоючи на полу! Чего взяла в ум! Наказанье!

Марьюшка укладывала недавно купленный сундучок.

Хозяйка суетливо прибежала в одной почной рубашке.

— Он у тебя был? — наклонила она жалкое, в красных пятнах, лицо к прислуге.

Марьюшка кивнула.

— Ты звала на помощь? Ты прогнала его? Или... он... сделал?

Марьюшка всхлипнула, и в ней проснулось унижаемое достоинство женщины.

— Я буду жаловаться, — пригрозила с негодованием Марьюшка: — он хотел насильничать надо мной!

Купчиха горько заплакала и села на кровать.

— Мне такую-то крепкую и надо, — бормотала она, — а ты, девушка, уходишь. Он, пегодяй, со всеми прислугами баловался. Деньгами всех сманивал. Закаивался не баловаться. И опять за свое. Я всех разочла. А на тебе ожегся. Останься. Марьюшка. Мы его вместе пристыдим. Я тебе велю засов у дверей сделать железный. Не посмеет сломать. А будет приставать, ты меня сразу и покличешь.

— Манефьюшка, — нежно позвал из коридора кунец жену, — не верь ей, потаскунке! Нараспашин на меня. Иди спать. Сердце раздирают твои напрасные слезы. Ей-ей, девка

все выдумала. Угрожает. Деньги с нас хотела получить лишние. Запугать. Все подстроено.

Марьюшка почти бегом выскоцила из злосчастной квартиры.

Работать было лучше и проще на подищнике. Дядя-кондуктор порекомендовал племянницу, и она изредка стала мыть полы на Николаевском вокзале. В дядином же подвале жили ночные подметальщики улиц. Нашлась Марьюшке и другая работа: подметать улицы и площади и сады от дневного стоящего мусора.

Деревенские деньги давно были прожиты. Марьюшка добывала не каждый день. Не каждый день покупала хлеб. Отец не прощал и отказался от нее. Но мать выдержала недолго. Подружка Глаша продавала краденое материю зерно и холсты — и копейки пересыпала Марьюшке.

На красную горку мельник от перепоя огорчился выше меры на свой отцовский срам, схватил топор, изрубил на дрова сундук с дочерним приданым и в ключья истюкал сарафаны, платы, кофточки и рубахи, что не захватила с собой Марьюшка.

...Федор Мещерин вырвался из Кронштадта, где служил матросом, в самом конце мая. Марьюшка дождалась его у ворот. В воскресный день домашняя прачка гасила плиту с баком. От корыта переставал итти воюющий пар. Пречечная затихала. Не шипело, не склокотало, не капала остуженная роса с потолка. Хозяйка забирала ребятишек и отправлялась с ними до вечера в гости к каким-то родственникам.

Молодые провели весь день в Марьюшкином углу. С последним кронштадским пароходом обласканный моряк уехал. Теперь он узнал дорогу.

Бабка Афапасья не опоздала со своими дарами. За неделю до родов тетка Аписья привезла посылку с выбеленными холстами. Был в ней и маленький мешочек с вяленой репой: это сласти роженице.

С домашней прачкой Марьюшка поладила хорошо. В осо-

бенности с ребятишками. Они, полные любопытства и жадости к доброй и ласковой тете, не шевелись под одеялом, выглядывая в щелочки, наблюдали за возней в углу, когда начались родильные потуги.

Мать в подоткнутом переднике, засучив рукава, была наготове. Лампа на столе горела во весь свет. Тетка вскрикивала все чаще и чаще. Она извивалась и выгибалась на постели так, как ребятишкам еще не приходилось видеть. Но они все же нашли подходящее сравнение. Кошка дворника Барсиха, когда пугалась забежавшей на двор с улицы собаки, вся взъерошивалась и делала верблюдика. Похожая была на тетку Барсиху, когда ее никто не беспокоил, и опа лежала на солнышке, свернувшись муфточкой. Тетка через ровные промежутки успокаивалась, затихала, вздыхала с облегчением, зажмуривала глаза и укладывалась на постели с трынью и неподвижным калачиком, как замерли ребятишки под одеялом.

Мать подходила к детскому матрасику на полу и выглядывалась. Но ребята были осторожнее матери. Они притворялись спящими, которые проснутся только в положение для вставания время, их можно унести на руках куда хочешь, над ушами у них можно звонить в колокол, кричать, шуметь, ребята не увидят, не услышат, разве перевернутся с боку на бок и покряхтят. Мать, испытывая напрасно, загибала одеяльную кромочку.

Ребятам надоедало однообразие криков и тишины после них. Наблюдение притуплялось. Наблюдатели дремали. Какие-то куски времени выпадали. Нарушалась непрерывность проходящего. Как будто надо было восстанавливать — что же случилось до этого, до пробуждения?

По середи ночи ребята проснулись по-настоящему. Раздался сплошной и отчаянный крик, каким кричал в прошлом году татарин на дворе, когда на него кинулись две охотничьих собаки из десятой квартиры, из квартиры хозяина дома. Они истрепали татарский халат в клочья, искусили ноги и руки скуншику и оседдали его.

Что-то странное и непонятное делала мать над бедной теткой. Она посадила ее к себе на колени и, стиснув зубы, держала ее обеими руками поперек грудей. Потное и красное лицо матери высовывалось из-за теткиной спины. Тетка с хрипом и с криком вырывалась из рук матери, сползала с колен и страшно кидалась вперед.

Ребята почувствовали враждебность к матери. Они решили, что мать почему-то выжила тетку с кровати, уселась не на свое место и теперь ее же, настоящую владелицу кровати, мучит. Ребята, однако, находились в сомнении. Если мать хотела обидеть тетку, то почему мать столь дружелюбно просила ее:

— Марьюшка, да ты понатужься, да ты держись за кровать.

Ребята не успели выступить на защиту тетки. Вдруг обе женщины оказались на полу. Марьюшка вырвалась из рук матери и встала на четвереньки, выкрикивая одно странное и бесконечное слово:

— Караул! Караул!

Ребята затрепетали от ужаса. Они были уверены в неизбежном появлении разбойников. Но зря же тетка призывала людей на помощь! Но эта уверенная и бесстрашная мать опять все спутала и все повернула по-своему. Она сильно рванула тетку за руки к кровати и заставила тетку обхватить кровать поперек.

Ребята с бьющимися сердцами, как пойманная птичка в руке, позабыли осторожность и почти совсем вылезли из-под одеяла. Мать умело и ловко подостлала на пол только что выстиранное и еще не катанное чье-то белье, лежавшее горкой на столе.

Мать, не глядя, стремительно протянула руку, ухватила за верхушку и поволокла,роняя, новое белье. Руки матери делали совершенно необычайные вещи. Тетка широко раздвинула ноги, а мать подставила между ног ладонки, покрытые полотенцем с вышитыми на нем петухами.

Эти петухи большие всего почему-то и напугали ребят. Когда на них вывалилось и сразу заинцело что-то красное, скользкое, большое, петухи на концах полотенца как будто взмахнули крыльями, должны были закукарекать и треща полететь в подвале и заклевать всех, — ребята дико и горестно завыли. Они вскочили на ноги, прижались в угол, закрывая одеялом свои тельца, и вытаращенными глазами, в слезах, открыто уставились на затихающих женщин.

Мать недовольно обернулась назад, что-то хотела сказать сердитое, но вдруг лицо ее дрогнуло смехом, и она радостно сказала Марьушке:

— Гляди, наши-то дурачки не спят, ревут! Жалеют... Пепенугались-то как!

Марьушка, постапывая, оглянулась, и в глазах у нее дрогнул светлый здоровый луч любви и освобождения от страданий.

Первенец насилия Марьушкин угол.

Мельник изрубил дочерино приданое, но дочь осталась, — мысль о ней внезапно появлялась в сознании. Старик чаще ходил на мельницу, чтобы побывать там одному и бесконечно вспоминать все спачала.

— Сердись, не сердись... — сказала однажды Аграфена на обратной дороге от анфаловского лавочника, почувствовав невеселую молчаливость старика.

— Ты это к чему? — притворился муж.

Аграфена осторожно и хитро усмехнулась.

— Все к тому же.

— А я тебе что говорил? — нетвердо погрозил он.

— Я помню, — не сдавалась Аграфена, — а слава-то все равно прилила. Не оттрясешь. По-за спинам-то пашим, поди, на чужое горе во как радуются. А Марьушка-то сама и покрыла все...

— Покрыла? — заинтересовался отец.

— Ну да, покрыла, — совсем осмелела Аграфена и с умильной слезой в глазах тихонько засмеялась. — Усищи у тебя

ровно у таракана тонорщатся, злые-презные, а ты... хе-хе... дедушка!

— Хорошо покрыла! — с огорчением и неприязнью пробурчал старик, — от такой покрышки у меня десять годов жизни убавилось.

По Аграфена уже ничего не слышала и не хотела слышать кроме ликовавшего в пей бабушкиного восторга.

— Парнишка родился здоровенький, — шептала она, — Марьюшка пишет — две капли воды похож на дедушку, на тебя значит, бородавка твоя у него на шейке приметна. Санком назвали мальчика. А Глашку записали в божатки...

— Кто-о записал-то? — резко перебил старик.

— Как кто? — удивилась Аграфена нарочно. — Кто записывает: мать да отец.

— Отец?

— Федька из Крамилата приехал, да они вместе с Марьушкой пошли в церковь да у попа и записали на свою фамильку.

— А как у них одначная фамилька сделалась?

— А больно просто: тот самый поп и под венец поставил и ребеночка в купели окрестил. Они теперь законные...

Мельник долго молчал, пошел крепче и увереннее и, выкружив две трубки подряд, вдруг остановился и остановил старуху.

— Кажись, верно законные? — раздумчиво произнес он, блестя покоренными глазами. — Кажись... в таком разе и Санка... не прижитой... с ветру.

Старуха так и привесочила.

— Да ты рехнулся, — возмущенно задребезжал ее голос, — родного внука так ремизишь! На улице его нашли? К чужим воротам подкинули? Была б не венчанная Марьюшка — это так, а мужня жена родит в одинаковости, как и все бабы. Нам ныне головы непошто клонить к земле: не обесславленные!

Илан вострухи Глашки удаляя: она его подсказала Аграфене. Мельник подозрительно приглядывался к старухе, не

разговаривал с ней и, ему казалось, нагнал достаточно страху, чтобы внезапно огорошить.

И не огорошил.

— Ты чего мне врешь, старая? — идучи с мельницы, еще в дверях избы, зло насупившись, повысил голос мельник. — Ты чего набрехала, а я, думаешь, и поверил? Машка, — он нажал на этом слове, — Машка твоя не законная жена, а приходящая, приблудок... Разве на службе солдату дадут стать под венец?

Аграфена пренебрежительно махнула рукой и напустилась на недоверчивого старика.

— Ты это на мельнице надумал, хрыч? — с издевкой прошипела Аграфена. — Тебе с такими твоими думушками бороду в вал затянет да и голову отмелет. Ребеночек все узы отирает. Как о ребенке Федька начальству сказал, так оно, начальство-то, ему не только что благодарность за хорошее дело, а на медовый месяц Федьку послало в отпуск. Они с Марьюшкой да со своим Сником по Питеру и нынче ходят рука-об-руку.

Тогда мельник, выждав чуток, недовольно бросил старухе:

— Знаешь ты эти дела мёне меня, а тараторишь за четверых знающих. И... в девках была такая... находчивая врунья!

Старуха отмолялась, подзадоривая любопытство мужа. На другой день он и сдался.

— Понти она, — не назвал имени дочери мельник, — па Глашку письма шлет? Разве у нее родителей нету в своем дому?

Теперь мельник часто приставал к жене и настойчиво твердил:

— Зови ее в деревню. Чего там по чужим людям хныкать!

Аграфена, однако, посмеивалась с Глашкой над нетерпением старика. Магь несломимо была на стороне дочери.

— Да, вот тебе подавай Марьюшку на двор для раз-

глуски, — не соглашалась старуха, — а бабочке возле муженька любее. Когда ни когда, а и нагрянет он. Выпросится на побывку в Интер. День какой и поживут вместе.

Прихиши не сбавило строгости. Но наружности поддакивали и соглашались с Вьюрковыми, а думали по-своему. У мельника — непочатый уголссор с мужиками. И мельник в перепалке слыхал укоры и тыканья в глаза непутевой Марьушкой. Старик лез в драку и отказывал обидчикам в размоле.

Марьушка кое-как перебивалась крохами из деревни, крохами от конечных сбережений невенчанного мужа, стиркой исполу у хозяйки подвала. Выпадали дни голодные. Марьушка по нужде брала Саньку на руки и где-нибудь в малолюдном месте просила милостию.

А раз, так через полгода после родов, занемогла домашняя прачка, слегла. Марьушка достирала и понесла по заезжим. В одной квартире, покуда экономка проверяла и принимала белье, Марьушку, розовую от смущения и от неистребимого деревенского злоровья,глядела старая барыня-генеральша. Марьушка приглянулась. Ее выспросили. Она пожаловалась. Позвали притти с ребенком. Показать. Ноправился и налитый крепыш-мальчишка у скромной и застенчивой нищеты. Марьушку приласкали и повели к доктору. Взяли у неё молоко. Доктор осмотрел мальчионка. И старая генеральша сказала:

— Я возьму тебя в кормилицы к моему четырехмесячному внуку. У дочери нет молока. Ты не бойся. И брось свой угол. Будешь жить у нас. Мы с тобой заключим контракт.

Разговор этот произошел после того, как Марьушка, вымытая и вычищенная в ванной, поднесла сосок к худенькому ротику заморенного и тщедушного генеральского внука, а тот жадно схватил его, долго сосал, постепенно краснел, отвалился от груди и заснул.

— Он... хмелест! — восторженно вздрогнула худосочная и

бледнокровая генеральская дочь-мать. — Мамочка, Дима оживает! Смотрите, он как будто даже усмехается во сне!

Проба была выдержаня: молока у Марьушки хватало и на Диму и на Шуру, как вместо Саньки приказали Марьушке называть сына.

— Но одно условие, — строго заявила довольная панимательница, — если нельзя тебе совсем расстаться с твоим... возлюбленным, он будет, конечно очень редко, видеться с тобой только здесь. Я понимаю, тебе тяжело такое стеснение, но нам нужна кормилица надолго... Дима привыкнет к твоему молоку. Пам нужно его сохранить. Хочешь — подумай, хочешь — соглашайся сразу!

— Согласись, Марьушка, — умоляющим голосом попросила дочь генеральши.

Марьушка стояла красная и обиженнная, колебалась. Но выход был найден.

— Я, барыня, берусь ее ухранить, — вмешалась экономка. — Уж доверьтесь мне!

Старая генеральша и дочь ее с надеждой уставились на известного и проверенного человека.

— И вот как, — находчиво продолжала экономка, обращаясь с усмешкой к Марьушке, — ты, дружок, совсем и не почувствуешь стеснения. Ты, я и твой матрос — мы прекрасно можем проводить время вместе. Незачем сидеть в квартире. Пойдем на улицу, в сад, в балаганы, на карусели... куда угодно...

Марьушка всплакнула: запрет был унизителен. Но ей пришлоось уступить: протягивать руку было еще труднее.

— Ты должна понимать, — наставительно обучала экономка, — тебе доверяется жизнь и здоровье нашего барчука. Быть кормилицей в благородных домах — почетно. Кормилица должна содержать себя, как безгрешная монахиня. Зато жизнь-то какая: сыта, обута, одета, первый человек в семье, и жалованье хорошее. Можешь на черный день скончать. Тогда и матросу твоему будет хорошо.

Месяца два спустя сам генерал Черняевский вызвал Марьушку в кабинет. Этого еще не бывало. Растрепанная кормилица, подозревавшая неладное, робко и связанно вошла.

— Я тебе скажу несвятотатственное, — хмуро вымолвил генерал, повернувшись к ней на кресле у письменного стола: — слез чтобы не было... не люблю, — брезгливо поморщился он. — Ты должна расстаться со своим сыном.

Марьушка перестала приковывая смотреть в глаза хозяину и опустила голову.

— У тебя стало меньше молока, — неожиданно взволновался и укоризненно кормилицу генерал, — Димочке недостает питания. Твой Шура отсасывает слишком много. Наш мальчик обнаруживает беспокойство. Доктор говорит, что ребенок просто голодает. Этэ — беспорядок!

Марьушка с трудом поборола в себе страх перед горячим генералом, иногда кричавшим на денщика и на посыльных из солдатских казарм так, что крик этот слышался во всех десяти комнатах квартиры. Беспокойство за сына придало ей смелость и желание оспорить хозяина.

— Я, Николай Николаевич, — тихонько пролепетала Марьушка, — вы не подумайте худого, не жалею молока для Димочки. Как своего люблю. Обоим хватает. Груди у меня набухают. Остается от обоих. Я молоко зазря отцеживаю. А то мне больно.

Черняевский с неудовольствием выслушал кормилицу, почему-то побагровел вдруг и резко выкрикнул:

— Я лучше тебя знаю! Раз я говорю... — он многозначительно остановился, — возражения излишни. Но я доволен тобой. И не оставлю твоего сына. Я уже его устроил. Ты найдешь с моей запиской в воспитательный дом. И там сына твоего возьмут. Он будет жив и здоров. Никто тебе не мешает навещать его. Иди.

Марьушка в эту ночь пролила обильные и неутешные слезы над сыном, мирно посыпавшим посыпком. Несвятотатственное состояние переживала вся генеральская семья вместе с гор-

ничными, поварихой и экономкой. Во всех углах шептались. Черняевский за плотно закрытыми дубовыми дверями кабинета на семейном совете, морщась, жаловался:

— Она не так глупа, как я думал. Она поймала меня во лжи. Она заставила меня внутренне смутиться. Помогла моя выдержка и... военный закал. Я ей приказал.

— Да, — расслабленно заметила генеральшица, — как будто мы несправедливы, но так поступить лучше. — Она подумала. — Все же лучше. Материнское чувство мне понятно. Шура для нее дороже Димочки. Когда она останется с одним Димочкой, она к нему больше привязается. Больше будет обращать на него внимания. С двумя она не управляетя. Мы же не вышвыриваем ее сына на улицу, а, наоборот, заботимся о нем, помещаем в прекрасный воспитательный дом. Мальчик в летнее время будет жить в чухонской деревне на воздухе, будет пользоваться молоком образцовых чухонок-кормилиц.

Черняевский от таких доводов жены даже развеселился.

— Ты у нас, Мари, — засмеялся он, — настоящий царь Соломон. Рассудила безупречно. Но, право, получается очень занятно: у кормилицы своя кормилица! Ха-ха!

Одна дочь пребывала в непроходимой тревоге и задумчивости.

— А вдруг она не согласится? — изменившись в лице, спросила молодая некормящая мать. — Димочка так понравился на ее молоке!

Тут уж генерал Черняевский не выдержал и решительно заявил:

— Глупости, Лизок! Не посмеет. Она — тихоня. И деваться ей некуда. В противном случае я ее заставлю. Разницу в наших положениях она понимает!

Марьюшка плакала над сыном. Долго не могла успеть и молодая хозяйка кормилицы. В порыве тревожных чувств Лизок встала с постели и ночью написала о всех своих переживаниях, называя их тяжкими мучениями, длинное письмо

мужу, полковнику, находившемуся в какой-то отдаленной командировке в Сибири.

Вскоре Марьюшка подчинилась неизбежному и отдала сына. В тот день Марьюшке сделали приватные подарки и деньгами и старым, неношенным бельем обе хозяйки — и молодая и старая, а сам генерал был с ней и ласков и шутлив.

За обедом, когда в столовой не было никого из прислуги, генерал громко засмеялся и сказал дочери:

— Ну, Лизок, поздравляю тебя. Димочка — победитель! Бесплатного нахлебника мы сидавили весьма удачно!

Дочь перепугалась, зашикала и остро поглядела в коридор.

Безраздельно овладев молоком кормилицы, господа постарались обставить всеми надлежащими мерами бренную жизнь Димочки.

Удаление Шуры не принесло никакой пользы, а, напротив, очень повредило. Дима страшно кричал, сучил ножками и отказывался от груди, едва Марьюшка подносила ее мальчику. Молоко явно испортилось, смениваясь с частыми слезами кормилицы.

В тот год Чернявские за месяц до начала летнего сезона предупредительно отбыли в свое полтавское имение. Кормилицу увезли подальше от Шуры, — молоко постепенно очистилось и стало благотворно усваиваться Димочким расстроенным желудком. На розовевшего от молока и солица Диму не могли нарадоваться находчивые помещики. Марьюшка раздобрела и обливалась молоком.

— Она — как после отела, — шутил со своими домашними генерал, — надо ее, что ли, гермить меньше!

Дамы усмехались. Но Димочку уже спасали от жадного перекусивания.

К осени Марьюшка рвалась в Петербург. Но кто же из нанимателей поступит себе во вред? И на городскую квартиру возвратились позднее обычного. Возвратились с тревогами и боязнью перед предстоящими Димочке испытаниями.

— Не плачь! — притролил генерал взболтавшей кормилице, не отходившей от окна вагона и заранее плакавшей от встречи с сыном. — Слезы уместны раз-два... но постоянно? Я запрещаю тебе отравлять молоко!

Марьюшка взяла себя в руки и на людях притворялась спокойной: она подслушала разговор помещиков, решавших в случае повторения Марьюшкиных слез, для благополучия и выкормки Димочки, запереться в именин хотя бы даже на зиму.

Марьюшка скоро оценила хваленную чухонскую деревню. В воспитательном доме матери вынесли синего, худенького, изможденного сына взамен краснощекого пухляка и здоровяка. Сама генеральша, будто из особого расположения к своей кормилице, пожелала присутствовать при первом свидании.

— О! Да Шура просто прелесть! — воскликнула генеральша. — У него совершенно осмысленная мордочка! Чувствуется уход и хорошее наблюдение за детьми. А ты горевала, — укоризненно обратилась хозяйка к страдальчески мигавшей кормилице, — и совершенно напрасно. Ты теперь видишь? Мальчик худ... Но еще неизвестно, когда он здоров: при пополноте или при худобе. Здесь дети находятся под постоянным приемом врачей.

Марьюшка уже научилась скрывать свои мысли и чувства от господ. Она не выдала себя и сейчас. Она даже изобразила на лице подобие радостной улыбки. Мать плакала тайно.

Совсем по-другому принял горе Марьюшки отец Шуры. Мещерин не мог вырваться из Кронштадта перед отъездом Марьюшки в полтавское имение. Он, запыхавшись, побежал по черной лестнице к дверям генеральской квартиры и получил от оставленного на лето сторожа денщика одну прощальную записку с адресом. Так полгода матрос и кормилица не видались.

Год службы во флоте не прошел даром. Мещерин пообтерся. Свиданье с Марьюшкой после долгой разлуки он устроил

уже помимо разрешения начальства, когда доброго, а когда и привередливого. Мещерин рискнул на самовольную отлучку.

Обманули и бдительных барынь с самоуверенным барином. Дворник за двугривенный вызвал Марьонику. Она собралась павестить сына одна. Экспомка была не нужна. Мещерин заменил ее. Кормилица успела возвратиться во-время.

— Шурку в деревню, — так полюбил называть Саньку и Мещерин. — Чего тут хорошего ожидать? Мыло из парня пора варить, как из кляч варят. Живодерия, а не вәенитательный. Гиблая смерть мальчишке. Неужто у двух бабушек, а может, и у дедушки, наследник не выйдет из заморышей??

Тогда-то, как только бабка Афанасья получила от Федыки нужную весточку, старуха пришла к Глаше, подняла ее на ноги и повела к Вьюрковым.

— Я без дальних, — серьезно и угрюмо сказала бабка Афанасья, — любая не любая я гостья, а и я бабушка, а и я о внучонке своем в заботе. Замучают его там господа хорошие. Так вы али я берем внучонка? У вас ему просторнее и сытнее. У меня три девки на выданье. Ияnek много, а и хлоног много. Откажетесь — возьму к себе.

Мельник недоброжелательно разглядывал бабку Афанасью, не посадил ее и явно чуждался незваной гостьи. Но Глаша уже шепталась с Аграфеной.

И вдруг мельник был так озадачен, что даже в полной растерянности отодвинулся на лавку от приступившей вплотную к нему с каким-то неистовым лицом женщины.

— Мой внучонок! — крикнула горячо старуха, точно от бабушки бесноворотно отнимали внука и она ни за что его никому не отдаст. — У нас будет жить! Слышишь, старик!

Мельник ничего не отвечал, сидел с раскрытым ртом и только в большом волнении для чего-то бессмыслице расстегивал ворот рубахи.

Три женщины, не обращая никакого внимания на старика, ладно уселись на лавку и вполголоса обсуждали поездку за Санькой.

— Я привезу, — сказала бабка Афансья. — Дорога напополам, а внучек ваши.

Бабка Афансья заслужила генеральное одобрение: она освобождала Димочку от всяких неожиданностей кормления. Бабка Афансья возвратилась в деревню даже с лихвой и с приданым: Чернявские спарядили ее возвращение и сытию и денежно. Дорогу бабка оправдала. Она привезла еще живого винка, по в теплых генеральских одеялах, в каноре, в байковом певиданием конверте и с корзиной всякого детского скарба.

Тогда же на стенах избы у двух бабушек — в Пряжине и Котлове — появились карточки молодых Мещериних: Федька в матрёской бескозырке с ленточкой, а рядом с ним дородная Марьюшка в белом наряде кормилицы с высоким, выпицким миниурой кокошником.

Мещерин научился как-то удачно обставлять самовольные отлучки в Петербург. При первой возможности он появлялся или у тетки Анны или через дворника вызывал Марьюшку на двор. В генеральной квартире Мещерин показывался редко, чтобы господа были довольны нечастым посещением гостя и не заподозрили Марьюшку в притворстве, если бы гость исчез совсем.

Чернявские выезжали по гостям, в театры, на концерты. Когда возвращался из Сибири отец Димочки, полковник Ставровский, выезды участились. Без господ раздолбье. Приелуга пользовалась свободой и разбредалась по городу, успевая вернуться домой к ночному приезду хозяев.

Марьюшке нелегко было рассчитать вперед дни и вечера, принадлежащие ей. Мещерины выдались без докучного надзора.

А на исходе зимы и молодая хозяйка и Марьюшка почти враз понесли новый плод. Кормилица скрывалась. Наедине она с испугом разглядывала смуглые, как яблоки шифран, полные и упругие груди. Марьюшке казалось, что они из виду подсыхали и утрачивали свою упругость. Марьюшка

заметила, как убавилось молоко. Она чаще, чем нужно, сопала Диме сосок в губы. Мальчик непривычно похныкивал. Молоко портилось, как от слез.

Тетка Анися научила:

— Ты незаметно прикармливай сосуна чем попало. Молоко у тебя невкусное, с молозивом. Мальчионка это своим брюшком чувствует. Придет день — он совсем откажется от твоей груди. И молоко у тебя скоро пропадет. Они... генералы тебя за обман сживут со света. А ты от шлепочки увернись юлой. Прикорми ребенка. Ему большие годы. И совсем пора отнимать от груди. Молочку — кирк, а ты господам: „Димочка готов кашку кушать!“ Тебя еще и похвалят. Усердная и заботливая, значит, слуга.

Генерал и полковник непреременно, оба багровые, дрожащие от возмущения, страшно кричали и грозили. Дамы плакали и укоряли в неблагодарности.

Дима сильно исхудал, но он немного привык от Марьушки к грубой пище, с мальчиком справились и посадили его на питательную кашку. С восторгом и ликованием любовались, как пухлые губки его проворно управлялись с кашей. Ребенок даже жадничал, кряхтел от удовольствия и — самое замечательное — обводил наблюдателей глазами, ласково усмехался и привескивал у Марьушки на коленях, размахивая маленькими ручонками. Нагрудник на Диме вспаривал, как птичье крыло.

Марьушка тосковала огнадинувшейся беды, уложила падаренные в хорошие минуты генерального расположения к себе нужные и ненужные вещи и дождалась расчета. Доминания прачка согласилась временно, до приискалья Марьинкой места, потесниться и снова уступить ей знакомый угол. Корнилица перенесла туда часть вещей, чтобы господа не стягли подарков.

— Всё, сюда идут, — сказала тетка Анися, — как распознают, что ты в гости. Торопись копить деньги на жилье-

бытье. Подвездло раз, вдругорядь не жди. Родишь — опять в кормилицы. Твоя служба. А приплод — к бабушке. Или да шли старухе одного молодца граше другого.

Марьушка прождала несколько дней. На генеральской половине происходило что-то непонятное. Туда накрепко закрывались двери. Подслушивали экономка, и горничная, и повариха. И все трое передали Марьушке одно и то же: ей откажут от места и засудят ее. Марьушка похолодела и замерла от страшного ожидания.

И действительно, генерал в сердцах говорил:

— Гнать! Немедленно гнать! Все они приживаются и... пакостят!

— Она могла изуродовать Димочку, — негодовал Ставровский. — Мерзкая обманщица! Какая тут может быть жалость к подобному существу? Я как отец не могу ей больше доверить моего ребенка! Я... я опасаюсь... Я не знаю... этого... матроса... ее любовника... Я могу что угодно предполагать...

Полковник Ставровский схватился за голову и убежал в свой кабинет.

— Какие ему мерещатся ужасы! — воскликнула бабушка-генеральша. — Марьушка... все такая же чистая и опрятная!

Тогда громко заапакала Ставровская. Вокруг нее забегали старики. Примчался обратно с пузырьком нашатырного спирта потрясенный муж и дрожащими руками совал ей нюхать его.

— Лиза! Лизок! Успокойся! Тебе нельзя волноваться! Вспомни о своем положении! — на разные жалобные голоса твердили окружающие.

Молодая мать медленно приходила в себя. Но справившиеся со слезами, уверенная, что эти родные ей люди сделают все так, как она захочет, Ставровская потребовала:

— Марьушка должна остаться. Она сукела моего Димочки. Он из худенького чернечка стал неплохим мальчиком. Она поступила неблагородно с нами. Но вы, вы... — и Ставровская спозна начала всхлипывать, и спозна все пришли в болезненное отчаяние — и я забыла, что я должна родить снова...

Кто будет кормить мое... другое дитя? Я не хочу, — крикнула истерически избалованная женщина, — другой кормилицы! У этой хо-хо...рошее м-м-мо-локо!

Марьюшка не смогла выдержать тяжелого ожидания и сама попросилась отпустить ее. Марьюшке не верилось, что она услышала в ответ.

— Не выдумывай! — рассерденно и повелительно бросила старая генеральша. — Ты виновата, но я тебе, по молодости, прощаю. Ты будешь у Димочки за пияньку, а когда рожинь и Лизанька родят, ты опять будешь кормилицей. Но твой матрос большие не переступит порога моей квартиры!

Марьюшка выпестовала и второго Ставровского. Выпестовала и своего сына Васеньку. Его уже отбила и не отдала в воспитательный дом. Страх потерять испытанную кормилицу заставил господ смириться и уступить ей. Генеральскому ленинцу Шарову Чернявский приказал распуститься в метриках восприемником.

Васеньку даже допускали в комнаты, покуда его носили на руках. Когда же он стал ходить, старая генеральша решила, что в комнате Марьюшки ему было гораздо удобнее. Мать приучила Васеньку не бегать за ней и разбираться со своими игрушками в отведенном ему уголке.

Дима и Валя Ставровские рвались в запрещенную комнату. Но к ним привозили играть детей знакомых военных. С Васенькой не позволяли сближаться. Три мальчика жадно выглядывали из дверей друг на друга и мгновенно прятались при звуке шагов старших.

Так Васенька и прожил взаперти три года. Разве когда Марьюшкина подружка — домашняя прачка — приходила за мальчиком и вела его на свидание с приезжавшим отцом или матери изредка позволяли брать сына с собой на улицу, только без баричей. В генеральской квартире время не нарушало установленного порядка.

Но однажды там переполонились. Марьюшка еще раз ответила за все хозяйское добро черным обманом. Старая ге-

неральша изумлению открыла глаза. Перед ней, несмотря на запрет, не снятый целых три года, стоял спокойный и совершило независимый матрос. Барыня заметила, что Марьушка была готова, а Васенька ее даже одет.

— Спасибо, барыня, за все добро, — сказала Марьушка, — отжила я у вас. Свою жизнь начать охота.

— Что-о? — покраснела генеральша. — Ты уходишь?

— Да. Вот за мной и Васенькой приехали, — показала на матроса Марьушка. — К пароходу торопимся...

— Так внезапно! — едва сдерживалась хозяйка. — Без всякого предупреждения. Так... вот сразу собралась... Мы остаемся без пиньки. Можно было постепенно... Раинше сказать. И потом сделать... Зачем было скрывать?

Марьушка несколько не смущлась от упреков.

— Простите, барыня, — привычным и знакомым голосом отвечала она. — Может, и неладно вышло, а я думала, так лучше. Димочка и Валечка на пожках, пиньку найти ничего не стоит. А у меня на примете нет. Безвыходная я у вас была. Знакомств не заводила. Что сказала, что не сказала — делу не поможешь. А мне своя семья снага не дает. Васеньку охота братику Шуре показать. Обоих вместе похвастовать, и... муж рядом. У нас, барыня, в Кронштадте самостоятельная квартирушка снята и...

Взволнованная генеральша прервала ее:

— Мне нет дела до твоей самостоятельной квартиры! Но ты поступила с нами вероломно! Отблагодарила нас хорошо, очень хорошо! — сделала гримасу дрожащая старуха. — Как тебе не стыдно! Я тебя не уговариваю! Если бы ты теперь сама захотела остьаться, я тебя не возьму! Но меня удивляет твой поступок. Кошка — и та привязывается к дому, а ты за наши ласки...

Генеральша смотрела на Марьушку презрительно прищуренными глазами. Та глубоко вздохнула, подумала и с ясным лицом не торопясь сказала:

— Я к вам, барыня, не напоминалась на весь свой век...

Генеральша резко передернула плечами. Экономка, горничная, повариха и денщик Шаров застенчиво жались по углам. Точно вошли на всякий случай, если бы в них явилась надобность той или другой стороне.

— Полюбуйтесь на нее! — горько крикнула прислуге генеральша. — Ваша любимица! А у нас ли ей не жилось!

Прислуга промолчала. Но экономка услужливо шмыгнула к уходившей в комнаты старухе и быстро что-то зашептала ей на ухо.

— Не надо! — отмахнулась рукой хозяйка.

Марьушка поняла и покраснела. Мещерин посадил сына на одну руку, а в другую взял корзинку с вещами. Марьушка начала прощаться с прислугой, целуясь со всеми и приглашая их в гости на новую квартиру. Марьушка задержалась возле экономки, помедлила, разглядела ее всю и вместо прощанья гадливо промривши:

— Ты барышне подсказывала мои вещи проверять, так знай: мои не стали проверять, а когда тебя погонят, твои станут! И стоят!

Экономка молча отшатнулась, зарозовела и стремительно выскочила из коридора.

— Шаров, — позвал Мещерин, открывая двери, — так смотри не забудь, приезжай к крестинку!

— Ладно, — буркнул Шаров, остерегающе оглядываясь в глубину коридора. — Буду...

Марьушку он ткнул в спину и, приветливо усмехаясь, шепнул:

— Меньше как на четверть, кума, не помирюсь на новосельи. Выставляй!

Кума согласно кивнула головой.

Мещерины вышли из подъезда. Марьушку ослепил яркий, играющий на стеклах день. Вдруг радостный, освобожденный свет откуда-то пошел изнутри и разлился на лице ее счастливой улыбкой. Так вот когда и улицы, и небо, и сын, и муж стали по-настоящему своими!

До пароходной пристани ехали на извозчике, неловко сидели в тесной пролетке, поместив удобно сына между собой, и молчаливо сидели. Где-то качнуло павок пролетку. Марьюшка едва не вывалилась. Мещерин удержал ее и резко выбранил извозчика.

Извозчик виновато покривил на облучке и стал внимательнее следить за дорогой.

Марьюшика скосила глаз на бывшего котловского Федьку — и не узнала его. Рядом сидел серьезный, сосредоточенный, с умным, немножко бледным, городским лицом совсем другой человек. Четыре матросских года изменили его. Он приобрел уверенность в себе, какой обладали многие самостоятельные городские люди. Вот он даже сидел в пролетке почти так же небрежно, как сидел полковник Ставровский, когда подъезжал к парадному своей квартиры. Только в том и была разница, что полковник постарше, паряднее и всегда в белых перчатках.

Марьюшка не ошиблась. Мещериншибко пошел по службе с первого года. Сталету овладел всей матросской мудростью. Скоренько перескочил из рядовых в унтер-офицеры. Два года провел в заграничных плаваниях. Полюбился начальству и угодил ему. Получил производство в боцманматроса-фельдфебеля и прославился стремительным обучением новобранцев. В то же время в триптихом флотском экипаже мещеринская рота была самой образцовой по дисциплине и выучке. На Мещерина сыпались награды и назначения. В ту весну, как взял он Марьюшику от Ставровских, Мещерин, по особому доверию начальства, надзирал за хозяйственной работой экипажа, довольствовал, обувал и одевал матросов, был окружен поставщиками и перекупщиками-торговцами, иссился ветром по экипажному двору, гонял по городу, учил, покупал, продавал...

Мещеринская удача вызывала зависть и подражание. Вдохнула передовая в те времена фельдфебельская звезда.

Федор Степанович Мещерин решил, что настал срок обза-

вестись собственным домком. Неподалеку от флагских экипажей, на Навловой улице, подыскалась квартирка в две комнаты — и Марьюшка въехала туда хозяйкой.

Через две недели по приезде в Кронштадт под гармонью отплясали на запоздалой свадьбе всем фельдфебельским корпусом, кум Шаров выиграл четверть, а во время венчания оставался в квартире за пивьку с сыном Васенькой фельдфебельский рядовой дешник Кулаков.

КРОНШТАДТ

Маленький Мещерин пришел в мир лет пяти-шести... Где-то на зимней улице, когда извозчики санки, подыгрывая, неслись и в лицо приятно шушило снежным ветерком, мальчик открыл глаза. Серая в яблоках лошадь заржала, повертывая морду к рыженькой лошаденке, бежавшей напротив. Два извозчичьих коня точно здоровались, подражая своим хозяевам, сиявшим друг перед другом шапки.

— Как, папа, смесью, — сказал Вася отцу, державшему его на коленях, — лосадки показывают зубы!

— Почему ты думаешь, что они показывают зубы? — спросил отец.

— А я визу!

Мальчик даже испугался быстрого и резкого движения отца, с каким тот поднял его с колен и повернул лицом к себе. Глаза напряженно вились один в другие. Внезапно глаза у отца сделались мокрыми, и на щеках несколькими складочками появились непонятные морщники.

Мальчик двигался и понимал движение, мальчик плакал и догадывался, что глаза могут быть мокрыми, мальчик знал множество обозначений и названий окружающих его вещей, предметов, живых и мертвых существ, но он до сих пор узнавал отца по голосу, по шагам, по рукам. Мальчик крайне удивился, что он представлял себе отца совершенно другим.

В особенности же он заинтересовался морщинками. Покуда отец часто-часто мигал, Вася погинулся холодными ручонками к отцовским щекам и стал разглаживать морщины. Мальчик объяснил себе веселое отца тем, что отцу было приятно избавиться от морщинок.

— Погляди на меня дольше! — приказал отец. — Погляди в стороны!

Вася, смеясь, охотно сделал.

— Закрой глаза и открой.

Мальчик и это исполнил.

— И теперь видишь?

— Виду.

Извозчик беспокойно оглянулся, встревоженный странным и непонятным разговором седоков, а больше всего громким голосом явно потрясенного отца.

— Мальчишка мой, — почти крикнул от восторга матрос извозчику, — мальчишка мой прозрел! Два года не видел Бельма на глазах. Чем ни лечили — все напрасно. В глазной лечебнице на Моховой в Петербурге страшали — павсегда будет слепцом. И сейчас туда еду.

— Радость-то какая! — сочувственно закивал извозчик. — Из радостей радость!

Мещерин переживал сомнения — не лучше ли повернуть назад и скорее обрадовать Марьушку, чем продолжать поездку, которая, быть может, вовсе теперь не требовалась.

— А отчего с парнишкой случилось? — спросил извозчик.

— А кто его знает?! Глазок помутнел — и пошла муть собираться в зерно. С одного глаза перекинулось на другой. Говорят, от золотухи.

— Натерпелись?..

— Еще как!.. Тяжело на свет смотреть. Чужой урод сердце тревожит, а свой — и подавно.

— Не отрыгнулось бы! — предупредил извозчик.

Словно только в этих словах и чувствовалась необходимость. Всякие колебания исчезли. Никакого поворота назад!

Надо непременно показать зрячего мальчика старику доктору на Моховой.

Вася входил во вкус нового своего положения. Мальчик сначала разглядывал открывшийся ему мир довольно вяло. Мир был так велик и разнообразен, что на все не хватало внимания. Приходилось скользить по нему. Но понемногу выработалась споровка. Мальчик начал отбирать в окружающем то, о чем захотелось узнать сейчас же. Узнать и запомнить. Дома, крыши, облака, собаки, кошки, фонари, мамы с перьями на головах, папы в шинелях и в удивительных шубах с воротниками волновали его до крика, до исступления. Вася так вертелся на коленях и так энергично показывал рукой во все стороны, что прохожие с недоумением встречали и провожали извозчики сани.

Покуда ехали до пристани, отец уже успел вполне нарадоваться и даже пережил утомление и недовольство от слишком оживленного сына.

Он устал держать на руках эту жадную юлю, буйно начинавшую свою жизнь.

— Ледокол? — спросил удивленно мальчик. — Мы поедем на ледоколе? Ледокол, мама говорила, это палоход, который колет лед. А что такое лед? Это такое холодное, скользкое, замерзее, как у нас дома на ламах? Я пальцем тлогал. Нана, нана, вон палоход! Из трубы идет пал. Это как наш самодыл?

Извозчик провожал растроганными глазами матроса с ребенком, пока седок поспешно расплатился и почти побежал на пристань, где суетились люди в передовальной горячке.

Эта первая поездка дала Васе такие впечатления, что и всякое повторение их воспринималось почти запово.

Мальчик прижался к иллюминатору и всю дорогу от Кронштадта до Петербурга не сводил своих синих, точно очистившихся после бури лазурь, глазенок с лязгавшего о ледокольную обшивку мелко и крупно искрошенного льда. Вася кричал и восторгался, когда с шумом и треском ледокол раз-

бегался, пос его высоко поднимало, ледокол точно совсем вылетал на лед — и вдруг обрушивался вниз, и темная вода заливала пампоминатор.

Отец поддерживал сына сзади, а тот с хохотом отбрасывался на отцовскую грудь и вытягивал вперед ручонку, словно желая зачерпнуть через толстое стекло волну в пригоршни.

Мальчик восхищался борьбой ледокола с ледяными препятствиями. Вася открыто скучал в свободном от льда узком канале, по которому иногда плыли, после того как, сделав несколько прыжков на ледяную поверхность и сломав ее и отогнав на стороны кучи льдин, ледокол свободно продвигался вперед. Удовольствие и возбуждение приходили с возобновлением качки, шума и треска льда, с разбегом ледокола на запиравшее путь поле.

Обратный путь был мирен и спокойен. Мальчика укачало. Но едва счастливый отец принес его на руках в квартиру и поставил на пол, Марьюшка страшно перепугалась. Вася с такой свободой и криком бросился к ней, что мать почти в ужасе раскрыла ему руки. С материнской болью, настоящей в сердце, как постоянно действующая отрава, Марьюшке представилось, что слепец обязательно разобьется. А мальчик воинил:

— Мама, завтра опять поедем на ледоколе! И на белой лодадке, и на пароходе!

Муж нарочно не предупредил жену о случившемся. Но предупреждения и не попадобилось. Марьюшка, захлебываясь слезами, уже села на пол, охватила всего мальчика, поворачивала его на свет, крепко прижимала к себе и целовала в глаза.

Наутро испуг, словно в этот день не взошло солнце над миром, овладел и отцом и матерью. Мальчик ежеминутно тер глаза: они покраснели, поблекли... Мальчик горько плакал и закрывался от света.

— Лезет, лезет! — кричал Вася.

Беда грозила с недели — и не разразилась. Глаза укрепились. О них скоро и прочи забыли и старались не вспоминать.

Но никогда не проходила в душе жалость к мальчику, а потому появилась и особая любовь к нему. Вася рос вольницей. Ему позволялось и прощалось больше, чем следовало.

Вася лет до семи не умел бегать, он трусил за ребятишками и отставал. Марьюшка с болью следила за неумением мальчика делать такое простое дело. В эти минуты, а их было много — с утра до позднего вечера, Марьюшка с кипящей ненавистью вспоминала Ставровских. Мать объявила изъян в сыне тем, что господа заперли его, как невольника, в тесной комнаташке, и за три первых года своей жизни мальчик больше сидел, чем ходил.

И этот недостаток Васе служил оправданием его шалостей. Суровый, дерзкий на руку отец — полный властелин в семье — смягчался при виде мальчика и уступал ему.

Фельдфебельская звезда Федора Степановича Мещерина горела уверенным и сильным огнем. Успех сопровождал каждый шаг расторопного матроса. Федор Степанович широко хлебосолил и постоянно водился с близкой ему фельдфебельской компанией. Компанию разделяли с нужными людьми — флотскими поставщиками мяса, крупы, всякой кухонной спеди, с цейхгаузными молодцами, с покладистым интенданством...

Начальство было в сторонке, по опо ловко и умело направляло подчиненных к тесному знакомству с рыскавшими вокруг экипажей хищниками. Фельдфебелей почитали и забирали из остатков от крупной дани, которую проглатывало тузовское офицерство.

Квартира Федора Степановича на Павловской так и называлась, в подражание офицерскому собранию, „фельдфебельское собрание“. Здесь больше пили, гуляли и дулись в картишки гости. Сам хозяин участвовал в складчине, по пренебрегая вышивкой.

— За меня дедушка все выпил, — щутил, отказываясь, хозяин, — так пил... сорока лет от белой горячки сгорел.

Марьюшка вступалась за мужа:

— Не навольте его! Папьется — мне с пим лишняя уборка. „Марьюшка, — кричит, — таэик!“ — и влежку па крозать. В повобранцах отшил свое.

Федор Степанович угрюмо взглядал на жену из-под кудлатых с рыжеватостью бровей и резко обрывал заступницу, по простодушию сболтнувшую лишнее.

По Вася, наученный матерью, мог смело забраться на отцовские колени, взять у него стакан с водкой или пивом и выпить на подиос или, под хохот всего собрания, упести стакан на кухню, чтобы там предложить его своей пияньке — денщику Кулакову. Пьяничка, давясь в страхе, чтобы не отняли, мгновенно опрокидывал его.

— Выпил! — объявлял мальчик, топоча из кухни с веселой мордочкой и с опорожненным досуха стаканом. — Не поморщился! Не как папа!

Федор Степанович строго и ревниво наблюдал за трезвостью Кулакова, сажал его за пьянство в карцер, под горячую руку бил. Но денщик пользовался охраной своего воспитанника.

— Вась! Вась! — вопил он, когда матросы, раздраженные нещадным сопротивлением и пьяным дебоширством денщика, волокли его в карцер. — Васенька, заступись!

Мальчик кидался на защиту, колотил ручонками матросов, старался дотянуться до лиц и расцарапать их, а раз даже укусил за ногу отца, пиувшего лежащего на полу Кулакова. Денщика иногда не отправляли в карцер, уступая дикому реву и смешной драчливости мальчика.

Отец шутливо брал за ухо сына, но, не имея сил наказать его, только недовольно говорил:

— Нельзя спаивать Кулакова. Он с тобой не пойдет гулять. Я его посажу в холодную.

Мальчик жестоко подводил мать. Он иногда отбирал у отца стакан и протягивал его ей:

— Ша, мама!

Марьюшка знала, что отцу, как он любил говорить, неприятно вмешательство ее не в свое дело, отец уже хмурился и морщился, жена смущалась и краснела.

— На что мне, — отказывалась она, — поставь на стол.

Мальчик упорствовал и обижался:

— Сама велела, а не берешь!

Гости весело хохотали над материнской растерянностью.

Федор Степанович допускал иногда вольность сына с денежником, не препятствуя подносить ему стакан, но на Марьинку он неизменно сердился, пеласково ссаживал мальчика с колен, отнимал у него посуду и грозил жене:

— Учи, учи... ерунде лария!

Фельдфебельская компания свободными вечерами и в праздники завсегдатайствовала в одной пивнушке. Марьюшка недовольно жаловалась соседкам:

— Федор Степанович престой кот. Сам пьет мало, а других угождает. А те и рады. Опиваются. От компании неохота отстать. Но-за глазам моим, смотришь, денег и уйдет в три раза большие. Когда дома — и не любо — а удержится.

Федор Степанович застревал в пивнушке на весь вечер. Мальчик выручал. Марьюшка приводила сына к пивнушке, впускала его за двери, не смея сама входить, и шептала мальчику:

— Зови домой отца! Тяни его за руку!

Вася проделывал все в точности.

Подвыпивший отец, увидав в табачном дыму, в грязи прошахших пивом стен чистенького своего мальчика, понимал, что пришла Марьюшка и дожидается на улице.

Федору Степановичу на короткое мгновенье хотелось рассердиться, хотелось разбранить жену, подсылающую сына в скверную пивнушку. И точно ему становилось стыдно перед мальчиком за окружающее потное, распаренное, орущее трубоукорое безобразие.

— Напа, пойдем! — жалобно и настойчиво тянул отца за руку мальчик. — Пойдем спать!

Федор Степанович размягчался, вставал и говорил:

— Мне пора! Я ухожу!

Друзья недовольно шумели:

— Мещерин, не будь бабой! Что тебя женушка, как маленьского, укладывает спать! Ровно в монастыре живем: после ужина на покой.

Иногда друзья высекали на улицу и уговаривали Марьешку не тащить мужа. Сердились или подхватывали ее под руки и с хохотом доставляли к столу.

Тогда уже Федор Степанович уходил без всякой проволочки: друзья достигали обратного. Муж делал глазами понятные жены знаки, которые означали, что она не должна была присаживаться к неопрятно залитому пивом и заброшенному оглодками раков, черных сухарей и желтым горохом пьяному столу.

— Не хочет без тебя спать! — оправдывалась на улице Марьешка. — И плачет. Ищет тебя.

Мать подталкивала сына в бок, чтобы мальчик подтвердил ее слова. Не всегда это выходило.

— А я спал, — наивно отвечал сын, — а мама меня разбудила и сказала: „Пойдем за папой“.

Но чаще мальчик обивал ручонками шею отца и подтверждал:

— Верно, папа. Мы не врем с мамой. Мама по комнате ходила и не спала. А мне без тебя скучно спать.

Федор Степанович отмахивался. И вдруг, остановившись, сердито выкрикивал жены:

— Не смей меня срамить перед товарищами! Надо мной смеются! Я сижу в портерной и... поглядываю на двери! Вестовым тебя, дура, называют! Вестовой в юбке! Ни за кем не ходят, кроме меня.

Федор Степанович мог сердиться, однако Марьешка редко отказывалась от испытанного способа.

Современем в квартире появились два властелина: большой и маленький. Маленькому подчинялось и маленькое цар-

ство: две младших сестренки, родившиеся одна за другой, и старший брат Шура.

Года через два, как спяли квартиру на Шавловской и обстроились окончательно, житью Шуры у бабушки пришел конец.

Бабка Афанастья припомнила изведанную ранее дальнюю дорогу и доставила внука обратно.

Вася нетерпеливо поджидал его. Старший брат вступил в отцовскую квартиру со слезами. Бабушка ввела его за руку на кухню. В деревенской барабаньеи шубенке, в коровьих раздавленных валеночках, в заячьей шапке, на голову выше меньшака, Шура, как неподвижный столбик, замер у дверей. Мать целовала и обнимала его. Он держался опасливым волчонком, не разделял ее порывов и хватал усмехавшуюся почему-то бабку Афанастью за платье, а потом с вытаращенными глазами застывал на своем месте.

Вася очень не понравились ласки матери чужому мальчику, совсем чужому, который по бедности наряда представился ему пияцим.

Два мальца издали принужденно разглядывали друг друга.

— Вот так братаны, — подшутила веселая бабушка, — мужик и барин. Мужику хоть за дверь беги да пешком в Пряхино, а и барин не сильно приветлив. Надулся. Ровно собирается вступить в драку.

— Вася, подойди к Шуре и поздоровайся, — нежно сказала мать. — Ты хозяин, а он гость. Поцелуй его...

В это время Вася с особым неудовольствием рассматривал на брате вытертую грязную заячью шапку. Мальчик поколебался и подозрительно взглянул на мать.

— Ну же, скорее, — поподиала она.

Вася решительно шагнул к Шуре. Но мальчик сделал то, чего никак не могли ожидать. Мать и бабушка подготовились и заранее умилились от предстоящего знакомства братьев. И обе они ахнули от неожиданности. Вася подошел к Шуре, резко сорвал с него шапку и бросил ее в помойное ведро.

Деревенский гость взвыл с таким отчаянием, что почти вслед за ним заголосил и виновник происшествия.

Шура был завоеван с первой встречи. Вскоре он перестал дичиться и привык к брату, но надолго утратил старшинство, подчиняясь во всем младшему.

Отец невольно способствовал подчинению Шуры. Рыхлый, неуклюжий тихий мальчик был похож на огневого, разудалого и громкоголосого братишку. Отец уже научился относиться к деревне свысока. Он хотел, чтобы почти вслед раздражаться над неумелыми движениями и привычками старшего сына.

— Что за неотесанного вахлака ты привезла, мать! — куражливо и спиритуально воскликнул Мещерин. — Какой-то он толстонятый! Заброда! И костюм городской на нем сидит, будто не по мерке шит.

Вася, выстраивая перед окнами квартиры дворовых мальчиков и девочек во фронт, — игра в новобранцев была самой любимой, — голосисто распекал брата, стоявшего, как самец большой, на правом фланге.

— Подбери живот, вахлак неотесанный! Что у тебя брюхо, как два дома ходят!

Мальчик часто наблюдал обучение матросов, видел, как делал это отец, и старался подражать ему. Клюп посыпался петушком перед шеренгой ребятишек. Маленькая бескозырка с развевающейся ленточкой, на которой серебром по черному было написано название корабля „Боярин“, скользила на лоб, курточка распахнулась, пожки в гиеве топали по земле почти против каждого выстроенного „рядового“. Больше всех доставалось брату.

— Я тебя обучу! — старался как можно грубее и похоже на отцовский голос представить Вася строгое начальство. — Ты у меня забудешь свою глупую деревню. Смирно, толстоголовый!

Он начинал весело хохотать, поддержаный всеми, кроме брата, готового расплакаться.

— Так я же, Шура, нарочно, — ласково успокаивал мальчик незадачливого матроса, — а ты нюня взаправдашнюю. Ха-ха! Так смешно повернул голову. Ха-ха!

Шура сердился и покидал фронт.

— А ты жаловаться маме! — кричал в негодовании Вася. — Ябедник, ябедник!

— Ябедник, ябедник! Шурка ябедник! — подхватывал весь двор.

— Не примем его больше в игру! — заявлял мальчик. — Он только портит военный строй.

— Не примем! — гремел десяток голосов. — Нам ябедников не надо!

Кое-как улаживали несогласие. Марьюшка высовывалась из окна и уговаривала Шуру:

— А ты, дурачок, сдачи дай! Зачем плакать? Ты смелее, смелее будь! Играйте все вместе.

Вася жадно ловил и перенимал отцовские и материнские слова, движения, жесты. Это — в первую очередь. Так же он учился на улицах, в казармах, на дворе, в экипажной кухне, в конюшнях, на Косе за городом, куда охотно ездили с матросами, чуть проглядит мать, за углами для отопления экипажа. Мальчик сновал везде, ко всему прислушивался и приглядывался.

Скора благополучно пресеклась. Шура онять правофланговый. Он, несмотря на все огорчения, дорожит этим местом. У него преимущество: он самый высокий, — и Вася это понимает.

— Я тебя на левый фланг отправлю! — цугает он. — Ты путаешь всех! Как ты делаешь бег на месте? Смотри на меня!

Обучение продолжалось. Вася легко и ловко отступал взятишки и быстро-быстро семенил пожками, до ногу, до красноты.

— Правильно я, ребята, показываю? — спрашивал он с некоторой тревогой.

— Так точно, вашескородие! — зычио и вразброд отвечала шеренга; вместе с ней отвечал и застенчиво усмехающийся Шура.

— То-то! — устало бросал карануз и опять папускался на кого-либо из новобранцев. — А ты поги, как гири, поднимаешь! Так в пекарнях тесто месят пекаря, а ты находишься на ученьи, а не в пекарне, обормот!

Вася небрежно отирая потный лоб и, отступив два-три шага, выпятив вперед крошечную тщедушную грудку, падувшиесь, скрипуче отчеканивал:

— За богом молитва, за царем служба не пропадают. Вот я плавал на „Боярине“ с господами гардемаринами, обучал их морскому делу на практике и получил за хорошую службу в подарок от контр-адмирала Сепягина серебряные часы. Каждый должен стараться для царя и отечества!

Марьюшка, чтобы не смущать детей, осторожно подглядывала за ними из-за занавески и удивлению качала головой. Мальчик в точности повторял рассуждения и похвалибу отца, когда спорили в фельдфебельской компании, сидящей за столом, о радивых и нерадивых матросах. Марьюшка понимала только смысл, но сама бы она не могла воспроизвести все слова в их последовательности. Это удавалось сыну.

— Вольно! — махал он рукой. — Оправьсь! Нет, невольно, — вдруг спохватывался неугомона, — спачала давайте обойдем двор несколько раз. Я еще сегодня не командовал на ходу. На-пра-во-о!

Ребята успели парушить строй. Две девочки неожелали ходить. Но Шура сделал направо.

— Становись Шурке в спину! — воинил разгоряченный от непослушания командр. — Он лучше всех сделал. Даром, что самый деревенский.

Команда расположилась гуськом.

— Правое плечо вперед! — гаркнул Вася, пошаркал ножкой, заторопился, пошел с левой и всех сбил.

Дети довольно засмеялись над неудачей командира.

— Я же нарочно, — постарался вывернуться мальчик, — а вы и поверили. Да я сто раз пройду подряд и не сбьююсь. В это не поверил даже смирный и покладистый Шура.

— Шурка вои знает, как я умею! Мы по комнатам ходим! Верно, Шурка? — просил подтверждения Всех.

Но брат разозорничался, свел счеты и выдал:

— И дома путает...

Этого пельзя было простить. Вася возмущенно палестел на правофлангового и толкнул его. Марьинка не успела предупредить драки. Два брата стремительно, по-воробышному, клюнули друг друга и с ревом помчались домой.

Слезы неизвестно почему помешали дружбе. Уступал всегда первым отходчивый Вася. Уступал и опять верховодил.

Через какие-нибудь минуты ребята ускользнули со двора на Павловскую улицу. Было любимейшее запятие, которое никогда не наскучивало: понеремешко — перед соблюдался полный — подкрадывались к едущим извозчичьим пролеткам, хватались за что придется назад и почти повисали над колесами. Извозчики доставали кнутами.

Братьям выпал черед, редкий по удаче. Они прицепились к нарядной пролетке самого Иоанна Кронштадтского, часто гонявшего мимо флотских экипажей.

— Едет, едет, — зашептала ватага, заметив издали знакомую пролетку, — Иван Кронштадтский. Мещериным не сесть, не сесть! Как мчит! Смотри, колес не видать!

— Сядем! — дрожащий от возбуждения сказал Вася. — Забегай, Шурка, с той стороны, а я с этой!

На полном ходу мальчики ухитрились взгромоздиться на чутЬ выступивший задок. Их качнуло, дернуло, помотало, но побледневшие баловники удержались, низко пряча головы в седока в широкой рясе лилового шелка.

Братья висели какими-то корчажками. Ватага одобрительно шумела и бежала за пролеткой. Иоанн Кронштадтский внезапно обернулся, что-то крикнул кучеру, придержавши-

му пару лошадей, и яростно ткнул кулаком в лоб обоих щалунов.

Братья Мещерины оборвались, упали и тотчас вскочили. Ватага окружила их и наперебой страхивала с курточек дорожную пыль.

— Мы, ребята, как те нищие прокатились, помните, тогда-то, — геройски хвастался Вася. — У Кронштадтского кулак совсем мягкий. Мне не больно.

Месяца полтора назад за пролетку Иоанна Кронштадтского уценилось двое нищих с обнаженными головами. Знаменитый батюшка мчался. Нищие успевали скакать за ним.

— Благослови, батюшка! Благослови, батюшка! — раздавалась торопливая мольба.

Ребятам показалось, что Кронштадтского везли не две, а четыре лошади. От сильного ветра, похоже на конские гривы, раздувались волосы нищих, а отрепья на босых ногах были как мохнатые лошадиные ноги.

И батюшка поднял для благословения кулак над головой, ударил одного нищего, ударил и другого. А те отстали, начали креститься и в пояс кланялись пролетке.

— Чему они, дураки, радуются? — удивленно спросил у товарищей Вася. — Их же побили, они же еще и благодарили. Вот дури!

Мать долго объясняла Васе, что Иоанн Кронштадтский — святой, что нищие удостоились благодати, а благодать от того, что батюшка прикоснулся к ним. Мальчик не понял, но повторил хитрую проделку нищих.

Он победителем вбежал в квартиру и, захлебываясь, кричал:

— Мама, мама, и меня кулаком ударили Иоанн Кронштадтский! И Шурке попало! Мы на лошадях Кронштадтского катались!

На этот раз мать почему-то иначе отнеслась к Иоанну Кронштадтскому и даже бранила его за обиду детей. А отец снял со стены его карточку и куда-то убрал.

Вася долго разыскивал ее. Как-то случайно она попалась ему в отцовской книге с кораблями. Мальчик ее присвоил и выстриг из нее лошадку, приспособив для гривы бумажного коня распущенные волосы святого. Но за это был поставлен в угол, хотя, ставя его, отец смеялся.

Мать закрыла глаза рукой, плечи у нее ходили ходуном, щеки были в смешливых морщинках, и как-то странно шевелились губы.

Вася отстоял недолго. О нем забыли. Мальчик не нашел нужным оставаться в углу, раз на наказанного не обращали внимания. Все же из предосторожности, как бы пана с мамой не пожелали наказать его уже за ослушание, он сперва присел в углу на корточки, выждал и тогда, тихохонько двигаясь по стенке, перебрался в другой угол, к игрушкам. А потом оказался за столом возле матери, чинившей мальчику штанишки.

Вскоре Вася пришлось увидеть Иоанна Кронштадтского ближе, чем он видел его на пролетке.

В одно из воскресений Кулаков повел мальчика гулять.

Около Спасского собора, где служил Иоанн Кронштадтский, встретились с какой-то улыбающейся женщиной. Денищик очень суетился вокруг нее, беспричинно улыбался, сделавшись весь красивым и даже воснотел.

Вася нетерпеливо дожидался конца этой, не нужной ему встречи. Кулаков держал мальчика за руку. Он так нагрел ей ладонь, что Вася освободил ее и вытер о пальтишко. Разговорчивый и беспокойный денищик вдруг показался ему маленькой пестрой лошадкой, только без хвоста, которая очень устала, и от нее шел пар. Денищик снял бескозырку и погладил себя по горячему лбу. И действительно, над головой словно бы появился парок и растаял.

Женщина поглядывала лукаво и насмешливо. Внезапно Кулаков что-то начал ей шептать, а она кивнула ему.

— Вася, — сразу сказал денищик, — ты меня отпусти не-надолечко... Мне сходить надо к этой тете. Она живет тут...

рядом. Нодь вои за ограду... Поиграй один. Никуда не уходи. Я живо поворочу.

Мальчик колебался. Вдруг женщина ласково и приветливо наклонилась к нему, тепло и хорошо поцеловала в красную щечку и певуче промолвила:

— Ах ты, милая редисочка! Уважь, отпусти Кулакова. Он тебе от меня подарок принесет. За оградкой сядь и подожди.

Вася согласился. Девушка и женщина быстро пошли. Мальчик пожалел, что отпустил илянку, но передумывать было уже поздно.

За оградой Вася скоро наскутило. Ничего интересного. Мальчик заметил огромные входные двери в собор. На ступеньках перед ними, по бокам, сидели груды отвратительных пищих, уродов, безруких, безногих, почти голых, в тряпках и всякой разноцветной рванни.

Вася захотелось проникнуть в собор — в новое место, где он еще не бывал. Некая старушонка-пища шутливо поиграла с мальчиком клюшкой, ткнув его в бок, и, шамкая, спросила:

— Эй, богомолец-матросик, куды мать-то потерял? Али один пришел, батюшка?

Вася отнесся осторожно к заигрыванию бабки, перенесся ее страшного, беззубого вида и бросился бежать вперед.

— Тише ты, мальчи, — раздавался повсюду шепот в толпе, когда струившийся старухи мальчик упорно куда-то лез, чуть не между ногами, — не толкайся! Остановись! Раздавят тебя, червяк ты этакий! Где у тебя родители? Ищешь отца и мать?

Вася духом пробился к самому алтарю — и тогда перенесся окончательно. Впору было зареветь на весь огромный, переполненный народом собор, как делали другие маленькие и грудные дети, пищавшие и кричавшие со всех сторон.

Мальчик оглянулся назад и с раскаянием подумал, что бедный Кулаков, наверное, возвратился, бегает в ограде,

зовет его, плачет и боится паниче, а выйти теперь уж из церкви было нельзя. Мальчику представилось, что люди стояли так близко, как будто срослись. Выбраться можно было только по воздуху или ползком по полу. Но люди переставляли ноги. Толпа по временам шаталась — и она раздавила бы всякого, помешавшего ей, как соринку.

Непуг мальчика умножил Иоанн Кронштадтский. Он то произительно, то почти шепотом произносил неизвестные слова. Люди торопливо и послушно крестились, кланялись, вздыхали и капалили. Иоанн Кронштадтский служил с таким лицом, что мальчик начал прятаться за огромный серебряный подсвечник и в ужасе выглядывал оттуда.

Суровость лица батюшки мальчик объяснил по-своему. Раз Иоанн Кронштадтский, по рассказам мамы, назывался святым, хотя по лицу он сейчас напоминал Васе настоящего злого разбойника со многих виденных им картинок, то, конечно, он узнал Васю, сидевшего на его пролетке, и потому так испуганно морщился.

Мальчик с трепетом ждал самого страшного, когда, начонец, Иоанн Кронштадтский встанет около царских врат лицом ко всем людям, протянет длинный, как клюшка птицы старухи на пантери, налец и крикнет: „Вот он, мальчик Вася! Смотрите на него все! Он шалит на Навковской улице и забирается на чужие пролетки. Возьмите его из-за подсвечника и дайте мне: я унесу его в алтарь и запру там в наказание на всю ночь!“

Мальчику стало невыносимо душно. А главное, даже не душно, хотя со стен лило, точно с потных лиц людей, — Васе было страшно.

Страх его усиливали две женщины, бившиеся на полу и кричавшие слова, которые часто употреблял Кулаков, но употреблял их только пьяный. Вот тогда-то пана топал на него ногами и бил его и выгонял на черную лестницу или отправлял в карцер. Почему же этих безобразивших женщин не только никто не трогал, а, наоборот, за ними —

должно быть, родные — ухаживали, закрывали им рты, крестили их и изо всех сил удерживали на месте, жалеючи, плакали над ними и молились.

Одна женщина была особенно опасна и совсем некстати дразнила и так рассерженного батюшку. Красная, с белыми зубами, она беспрерывно извивалась, как мясо, когда мама пропускает его через машинку на котлеты, голову и ноги у женщины сводило вместе, она походила на клубок, на грудку мяса. Безумная вопила громогласно на весь потрясенный и настороженный, уточающий в огнях, дыму ладана и духоте сёбор:

— Ванька! Дьявол долгогривый! Сатана! Ванька Кронштадтский! Выгони, выгони беса! Ванюша! Покроши меня святой водицей! Поплюй на меня! Иван, Иван, Иван!..

Женщина так безутешно начинала рыдать, что мальчик еле сдерживался, чтобы не ответить ей.

Вася, однако, скоро перестал бояться. Иоанн Кронштадтский ходил взад и вперед из алтаря и в алтарь, пел, говорил, выкрикивал слова, махал кадилом, падал на пол в земном поклоне и тогда точно вылезал из ризы; золотой воротник ризы, схожий с воротником армяка извозчика, полз над головой, в него как бы прятался от людей священник и бормотал что-то неясное и неразборчивое. Иоанн Кронштадтский никого не трогал. Он даже ни на кого не глядел.

„Да он будто слепенький“, — подумал мальчик. Все поправилась эта привычка Иоанна Кронштадтского не видеть и не слышать, что происходит в церкви.

Он совсем осмелел и перестал скрываться за подсвечником.

Иоанн Кронштадтский вышел с дарами для причастия, и к чаше насилино потащили орущую, как зарезанная, женщину. Четверо мужиков подняли ее на железных, напруженных руках, пятый схватил ее за голову, шестой крепко нажал пальцами за ушами, и женщина, застонав, выпучив больные глаза, широко открыла рот. Мальчик вспомнил раз-

верзтый рот мертвой щуки, лежавшей у мамы на кухонном столе во время готовления.

Иоанн Кронштадтский, как и мама, только у той был длинный кухонный блестящий нож, а у этого — длинная блестящая ложка, не стал, как мама щуке, отрезать женщины голову, а опрокинул ей в рот ложку. Женщина хлебнула и вдруг выплюнула в лицо и на бороду священника красное причастье.

Вася не заметил, как откуда-то взялась высокая худая, как бабка Афанасья, старуха и с ревом захлошила рот причастице рукой.

Синевицу и бьющуюся женщину, словно огромную икону в киоте, понесли через толпу на панерть.

У чаши шла давка. Вася с изумлением наблюдал полное равнодушие Иоанна Кронштадтского к неопрятному своему лицу и бороде, па которых оставался плевок сумасшедшей женщины.

Мальчик зазевался и был придвинут вплотную к Иоанну Кронштадтскому. Вася совершенно оправился от всякого страха и даже смущения. Где-то, почти под брюхом у священника, мальчик заинтересованно погладил шероховатую золотую парчу ризы.

А едва он бережно провел ручопкой по ней, как Иоанн Кронштадтский высоко вознес чашу, глянул из-под нее, пагнулся, зачерпнул полную ложку и причастил мальчика.

Васю давили и комкали. Люди почему-то все сгрудились и лезли к Иоанну Кронштадтскому ближе и ближе...

Мечтливое движение толпы было грозно. Мальчик выбивался из спл., не умея побороть захлестывавшую его человеческую волну.

— Дядя! Тетя! — кричал отчаянно Вася. — Мама! Папа! Кулаков!

Слезы лились из глаз мальчика, как весенняя канель.

Кто-то большой, с огромной бородицей, с лохматыми волосами, будто их собрали в одно место с нескольких голов,

красноносый, в синей извозчичьей поддевке, заметил Васю, поднял его над пародом и, тяжко кряхтя, вынес на улицу.

Так из рук в руки мальчик и перешел к Кулакову. Денщик в расстройстве и смятении успел сгнить домой. На счастье, ему не пришлось каляться в оплохиности. Дома он не застал ни хозяев, ни мальчонка. Кулаков кинулся обратно. Старушонка, заигрывавшая с мальчиком клюшкой, открыла денщику местопребывание его воспитанника. Осчастливленный воспитатель встал в самом тесном проходе.

На шинели денщика оборвали пуговицы, он изнывал в дикой парне, с ним вступали почти в рукопашную, чтобы скинуть с дороги это загораживающее ее чучело,— Кулаков не пропустил мальчика. Он еще издали, ослабившиесь, протянул к нему радостные лапы.

Приняв возвращенного Васю на попеченье, Кулаков тотчас же забыл всякую радость и весьма недружелюбно шлепнул его по задку.

— Дьяволенок! — проскрежетал мокрыми губами денщик. — Не хочется стервецу ходить, где детишки ходят! Козел несчастный, все ладит через огород... да на потраву... да в пекло, окаянный!.. До поту уморил!

Злость денщика-пяньки никак не дошла до мальчика. Он как будто не слыхал, что ему говорил в сердцах Кулаков. Вася был захвачен своим. Он без умолку рассказывал.

— Пойдем скорее, — сказал нетерпеливо мальчик, — папа и мама будут смеяться. Я все помню как Иван Кронштадтский служил.

Тогда Кулакову пришлось опомниться и всячески умаливать Васю, долго его водить по городу, вытащить из кармана раздавленную коробочку — подарок неизвестной тети, покупать приники, прежде чем мальчик отвлекся и обещал дома молчать и об отлучке денщика и об Иване Кронштадтском.

— Только не на совсем, — огорчили Кулакова Вася уже перед дверями квартиры, — я... понимаешь... одной маме...

папа вечером уйдет... И тебя позову... Мама любопытная...
Она тебя обо всем расспросит... И тебя и меня...

Кулаков безнадежно сунул мальчика домой и прибито за-
тих на кухне. Скоро он услыхал возбужденный голос рас-
сказывающего Васи и шаги Федора Степановича, не выдер-
жал, сорвался с места и тайком скрылся из кухни.

В тот вечер буйнящий пьяный денщик попал в часть.

Кулаков крепко верил, что все на свете обходится как
не надо лучше. Сначала беспокойно, неловко, не бывать бы
прорухе, а потом и ничего. Обошлось и это.

Перевели денщика из части в карцер. Федор Степанович
грозил тут „сгноить“, но у Марьушки в хозяйстве пужда.
Не самой же ей рубить дрова для плиты, бегать за всякой
мелочью на базар для обеда, и готовить, и ребят няньчить.
Сам же Федор Степанович рано утром разбудил безмятежно
спавшего на карцерном полу денщика и выгнал его вон.

— Пошел, сукин сын, домой, — шипел строгий хозяин, —
смотри — домой, а не опохмеляться!

Кулаков вскочил, пригладил для благообразия волосы, вы-
тянулся во фронт и „ел“ бесмысленными глазами началь-
ство. Федор Степанович хотел удержаться от смеха при
виде этой пелепой, кургурой рябой фигурки, насквозь приду-
коватой, по и продувной, — и не удержался.

— Ах ты, притворщик! — так и раскатился фельдфебель. —
Какие рожи умеет делать! Со стороны глянуть, любой за
дурaka примет! Лентяй! Лежебок!

Кулаков уже смотрел совершенно осмысленно, со скрытым
смешком в глазах, как будто никаких недоразумений не про-
изошло, а просто в карцере случайно встретились и беседова-
ли исполнительный слуга и требовательный хозяин!

— Ничего нести домой не надо? — услужливо предложил
денщик.

Федор Степанович, развеселившись, продолжал смеяться.

— Иди ты с глаз долой, немытая образина! — сквозь слезы,
вызванные смехом, говорил фельдфебель и шутливо толкал

денишка в спину. — Старатель какой, подумаешь! На вот, посади меня на закуторки и доправь до дому!

— Грузны-с, Федор Степанович! — похочатывал денщик, убираясь из экипажа. — Не дотяну! Пожки ваши по земле волочить стану! Смазные сапоги спорчу! И не отчишишь! Глянцу не навести!

После мицутных горéй Кулаков старательно бегал по хозяйству, таскал корзины с провиантом, ругался с угольщиками, выторговывая гропни, чистил картошку, рубил дрова, мыл полы, начищал до солица фельдфебельские и свои сапоги, вышивал гладью детские рубахи, стирал, плясал для потехи и удовлетворения капризов Васи, мастерил Шуре самодельное ружье из березового полешка, чтобы надольше хватило, а отслужив, вылезал с гармошкой на лавочку во двор, усаживал вокруг себя кухарок и прислуг, подмигивал, причмокивал и веселился по нескользкую часов.

Ненадежного весельчака по-своему любили в семье Мещериных. Когда он выпросился на побывку в деревню и, конечно, в два раза просрочил отпускное время, Федор Степанович ходил сам не свой. Все заместители денщиков, — а фельдфебель мог взять любого из роты, — не подходили, не приживались, в квартире чувствовался посторонний, молчаливо-враждебный человек.

— Куда же это запропал незаменимый дурак? — часто вспоминал Федор Степанович. — Уж не погиб ли где? С ним все может статься!

Кулаков, обходя с гармошкой одну избу за другой во всем приходе, важно вынимал из кармашка тужурки полученнюю от Мещерина телеграмму и спесиво похвалялся:

— Зовут! Обойтиться без нас не в силах! Все из рук валится у фельдфебеля! А... мы и покуражиться мастаки! Месяц прогулял, а сердце и не ёкнуло!

Денщик, укрепив на самом затылке бескозырку, шел по деревне и во все горло ухарски, беззаботно, стараясь перекрпчать гармонь, выводил с выкрутасами и ломаньем:

Дайте пожик, дайте вилку,
Я зарежу свою мылку...
Ер-кер-кимер, ер-кер-кимер,
Ер-кер-кимер, ер-кер-кимер,
Я з-зарежу свою мылку!..

С Васей у денщика была дружба наособицу. Марьушка наблюдала. Ценя своего безответного работника и пяньку ее детей, она с иризинью говорила мужу:

— Не по нужде любит мальчишку, а от чистого сердца.

От Васи перепадали Кулакову лучшие куски. Мальчик получал лучшее и делился со своим любимцем. Шаловливый и неудержимый Вася портил вещи в квартире, резал столы и стулья, царапал стены и обдирил с них обои, разрушал все свои игрушки, добиралась непременно до их внутренностей, потрошил коней и сестренкины куклы, выковыривал музыкальные механизмы, был нещадно драаг за все это, но никогда не прикоснулся к гармонье и не сделал ни одной царапины на вещевом сундуке своего друга.

Кулаков покрывал мальчика в озорстве, расплачивался за него, когда озорство всплывало наружу, часто по вине самого же забияки.

Мальчик становился расчетливо-кетерпимым, выручая денщика из карцера, отказывался пить и есть, вых на всю квартиру, незаметно уходил на двор, где-нибудь прятался за мусорным ящиком и, сколько бы, хватившись, ни искали и не окликали беглеца, не отзывался.

Иногда он ускорял освобождение денщика. Карабульные матросы, рискуя попасться, не могли устоять перед мальчиком, который, выкрав у матери белую булку и кусок мяса, появлялся у карцера и жалобно просил пропустить от него передачу:

— Кулакову от Васи, — таинственно шептал мальчи.

Ему позволяли заглянуть в щелку на заключенного. Тот проникал к ней изнутри и дул горячим дыханием. Вася видел веселый сверкающий глаз денщика, медлил у щелки, по-

куда матроны, заслышав чьи-то шаги, испуганно не прогоняли его. Вася ловил уловный знак и мчался во весь дух прочь.

В отсутствие Кулакова мальчик совсем отбивался от рук. Он обманывал всякий материнский надзор, как бы он ни был предусмотрителен и тверд. Мальчик своевольничал.

Не раз и не два Васю считали погибшим. Однажды он исчез среди дня. Рассеянный Шура возвратился домой один. От него не могли добиться никакого толку. Он несвязно рассказывал, где они с Васей были, и не помнил, где они расстались. Кулакова, еще не проторевшегося, выпустили из карцера, облили из ушата холодной водой и заставили искупать мальчика по всему городу.

Вася не нашелся и почью. Без вести пропал и Кулаков. Оба они явились на другой день утром, довольные и счастливые.

Едва хмель стал проходить, Кулаков, знающий привычки и любимые места прогулок мальчика, обскакал их все до единого, отчаялся и, наконец, очутился на пристани. Тут Васю всегда поражали выставленные в огромных лоханях живые рыбы, которых продавали рыбаки. Мальчик часами разглядывал их.

— Пропал мальчик! Не видали? — волновался денщик, спрашивая всех людей, живущих на пристани. — Он сюды хаживал со мной.

— Пропал и найдется, — вяло сказал старик сторож. — Может, на пароход прошмыгнул и гуляет теперь в Питере. Гоняю их тут, баловников, метлой, отогнать не могу. Да веча вертелся один такой. По приметам как бы твой.

— А когда пароход ушел? — жадно спросил денщик.

— Часа два назад. Вон ему встречный пришел. И сейчас отвалит. Последний.

— Сейчас?

— Да. А неужто ты мне и поверил?

— Беспременно он уехал...

— Я, кажется, глядел. Не видал. Ежели увезли, билеты станут проверять, и оймают и обратно доставят на пристань, а отсюда садут в часть.

Кулаков помчался к билетной кассе под тусклым фонарем.

— Стой, чудило, — кричал сторож, — да ты лучше здесь подожди! Нервио разъедетесь с мальчиком. Два парохода будут из Петера. Над тобой же фельдфебель засмеется.

Кулаков не ошибся. На петербургской пристани у Николаевского моста он разыскал перепуганного, но кем-то уж начормленного мальчика. Его должны были отправить с последним кронштадтским пароходом, но в суматохе запамяговали. Кулаков подоспел во-время. Хорошо, что он забегал домой и, на всякий случай, сунул в карман кошелек с последними же проинтыми монетами. Денщик рассчитывал, найдя мальчика, загубить безоценную в таких обстоятельствах чарку. Деньги попадобились на проезд двух пассажиров.

Пропавшие с первым утренним пароходом возвратились. Мальчик обещал больше не ездить. Ему запретили одномуходить на пристань, а Кулакову — водить его туда.

— Я и сам-то туда более не загляну! — испуганно воскликнул денщик. — Я так и думал: ежли парнишка свалился, узнаю, в море, утон, так я этому причиня, и мне туда дорога. Потому я его приучил шататься па пристань. Так бы я и сделал. Хлебать мне, как морским рыбам, соленую водичку!

Кулаков говорил это с рыданьями и рвал на себе волосы.

Мещерины сняли, словно незакатный свет взошел в их было осиротелой квартире.

Мальчик держал всех в неуверенности. Даже отцовская любовь к сыну иногда забывалась и переходила в неописуемое раздражение. В такие минуты разъяренный Федор Степанович кричал:

— Сорванец, все детство сидит или па крыше или па заборе! Как только башку спосит! Один тюлень, а другой молния! И нет настоящих детей, как у всех. Наказанье какое-то!

„Тюленем“ назывался Шура. Вася подхватил это прозвище и уже дразнил брата, шенча ему тут же на ухо:

— Ты, Шурка, тюлень, папа сказал.

Шура жаловался. Отец свирепел и наказывал Васю. Его отнимала жена. Тихая и трусливая женщина преображалась, голос у нее становился громким и требовательным.

— За что бьешь? — укоряла она Федора Степановича, прикрывая от него руками и юбкой мальчика. — Сам же учишь разным неподходящим словам. Не говори — и не станет не перенимать худого!

За эту защиту Марьюшка считалась главной виновницей и потаковицей озорного характера баловня.

Ссоры ссорами, не оберешься неудовольствий из-за него, но в то же время шустрым выдумщиком-мальчиком гордились. В пьяной фельдфебельской компании, собиравшейся за радужным мещеринским столом, подвыпивший в меру Федор Степанович, горделиво растроганный смелым и решительным своим отприском, похвалялся им.

— Вася, — серьезно и строго спрашивал он, точно производил ученье на плацу, — когда ты вырастешь большой, кем ты хочешь быть?

Фельдфебели любопытно замирали: и о мальчишке были наслышаны с самой дурной стороны от своих жен, и не хотелось обидеть расхваставшегося товарища.

— Ротным командиром, — живо и привычно отвечал малыш.

Отца это не удовлетворяло: казалось малым и легко достичимым.

— А еще кем?

Мальчик, не задумываясь, отрубал:

— Адмиралом.

В комнате поднимался одобрительный шум: товарищи охотно льстили горделивому отцу, благо это им ничего не стоило и ни к чему не обязывало.

Федор Степанович заливался радостным хохотком, усажи-

вал Васю на колени, крепко прижимал к себе и с надеждой гладил по головке. Одна мать, недовольная пустой потехой, недоверчиво усмехалась и частенько портила отцовское расположение духа.

— Больно высоко залетаешь, — несогласно заявляла Марьушка, — хоть бы до фельдфебеля выслужился. И то хорошо. И то дано не всякому.

Скромность хозяйки имела больший успех, чем гордыня хозяина. Фельдфебели смеялись сердечнее. Но Федор Степанович не сдавался.

— Вот поглядите на эту кикимору! — грубо и презрительно воскликнул он. — И сама не знает, что выпалил! Глупость и дурость!

Гости чувствовали себя неловко, отвлекали хозяина от продолжения разговора и заминали супружескую размолвку.

Огорчал и сам будущий ротный командир или адмирал. Увлечения его быстро сменялись одно другим. Но у мальчика была неистребимая и заповедная страсть к лошадям.

В глубине огромного двора экипажа находились конюшни. Вася почти все свое время, остававшееся от прогулок с Кулаковым по городу, от беготни с ребятишками по дворам Павловской улицы, вертелся в конюшнях и возле них. Денщик и мать одобряли облюбованное место для игры: оно было окружено со всех сторон зданиями и степами, а у единственного выхода — экипажных ворот — стояли матросы на карауле, Вася не мог проскочить незамеченным, мальчика легко было разыскать к обеду, к чаю, по всякой падобности...

У конюшен, вместе со своим коноводом, держалась вся ребяческая ватага. Кучерам и конюхам были лишние хлопоты. Матросы развлекались с ребятами, покуда те не надоедали. Но гнали их с осторожностью, памятуя о фельдфебелях.

Нужен был приемотр и глаз, чтобы кони не затоптали и не залягали спящих повсюду озоровых висельников. На

кучерской памяти запечатлелся случай. Экипажные ребята привели с улицы мальчика. Чужака распознали после. Мальчик прельстился длинным и пушистым хвостом выездного белого коня „Ратника“. Мальчик неловко выдернул из лесу несколько волосинок и угодил хилой грудкой под могучий рывок конского зада. Конюха судили и послали на кухню чистить картошку.

Вася знал по прозвищам всех лошадей, смело и уверенно гладил конские морды, таскал лошадям сахар, восторгаясь, как хрустел он на белых конских зубах, точно наступал мальчик на морскую раковину и давил ее.

И Вася вгопил в краску посрамленного отца. Словно в веселой и шумящей комнате, когда очередная интуришка забиралась на самый высокий взвод, раздавался оглушительный выстрел.

— Кем ты хочешь быть, Вася? — выдавал свою мечту отец. — Скажи мне, мальчик, порадуй! Только хорошенько подумай спачала.

— Конюхом, — мечтательно отвечал Вася.

Не умолкающее надолго ржание нарушило всякую меру поведения гостей. Федор Степанович отшвыривал мальчика от себя и дулся на всех.

А Шура, в подражание Васе, угрюмо ствечаал на тот же вопрос, заданный кем-либо из паниных товарищей:

— А я хочу быть Иваном Кронштадтским.

Федор Степанович огорчался будущим неудачам своей отцовской жизни.

— Марьюшка, — хлопал он в азарте по мокрому столу кулаком, — кого ты мне родила? Одна парень стрела — в конюх, а другой, увалень — в сумасшедшие попы, в юродивые, во святые угодники в щелковой рясе... нищий народ окопначивать!

Марьюшка не принимала всерьез такого огорчения, любвию обнимала обминувшихся перед отцом ребятишек и даже подзуживала мужа:

— Не всяку пьянику... в адмиралы! Надобно и попроще, пониже сесть. А Шура так и не знал чем тебя огорчило? Худо ль Иоанном Кронштадтским?.. Почет, богатство, с самим царем за одним столом обедает, с государыней. Руку у батюшки целуют, как к мощам прикладываются щари... И работа не больно трудная: служи себе обедни по воскресеньям да налучную выгоняй из больных баб!..

Шура был наглажко выстрижен, толстоголов и неуклюж.

— Шурка, — кричал насмешливо отец, — мать-то тебе что пророчит! Поповская грива у тебя на голове отрастет, как у лошади. И-го-го!

Шура пускался в дикий, неутешный плач. Огнем сердился и запрещал выть. Детей отправляли на кухню к Кулакову. Мать прикрывала наглухо дверь. Деничик — тог умел утешить.

— А я вот, — оживлению вскакивал Кулаков с койки, — думаю, чего это Вася и Шура не идут ко мне змей доделывать, мочальный хвост привязывать? На дворе ветерок, завтра выпускать надо, а змей не готов. Трещотку на змее будем делать, аль без трещотки?

— С трещоткой, я хочу с трещоткой! — уже увлекался Вася.

— И... м...мне с трещоткой! — боясь опоздать, заканчивал рев Шура.

— Т-т-тихо, — важно произносил Кулаков, — чтобы без шума и по согласу... Я плаксунам змеев не делаю...

Бывают такие ребяташики — общие любимцы. Вася чем-то трогал черствоватые и озабоченные службой сердца конюхов и кучеров. Наряд матросов отправлялся на нескольких подводах за углем. Место хранения угля за городом называлось „Коса“. На улицах кричали матросы:

— Куда?

— На Косу.

Вася в белой магроцкой рубашке с синим воротником восседал в глянцевито-черной от угля телеге. Мальчика знали во всех экипажах.

— Вася, — смеялись матросы с тротуаров, — наряд твой не совсем к месту. Ужо тебе мать штаны спустит! Васютка, ты рукавицы-то взял грузить уголь?

Потом матросы-угольщики оправдывались перед Федором Степановичем:

— Отбою нет. Просите. Возьмите да возьмите. Плачет. Сжалостились. Думаем, обидишь дитё. И парнишка хват. Занятной. Ровно при нем и грузить легче уголь. Мы, Федор Степанович, от пыли его устерегали, а он где-то весь перемазался. Глаз не спускали, знаем, свой малыш, — и не уследили.

Мальчик подчинялся запретам плохо, скоро забывал о них, зато приучался ловко проводить родителей. Он притворно просил прощения, обещал никогда больше не делать того-то и того-то. Его прощали и радовались рапорт сообразительности сына. Но мальчик попадался. Отец раз поймал его.

Будучи одурачен, он крепко покраснел и после этого подозрительно вглядывался в мальчика, когда тот в чем-либо оправдывался. Как-то Федор Степанович разбранил Васю за долгую отлучку, внял его тихому и скромному извинению, а затем разрешил мальчику идти на двор, к нетерпеливо дождавшимся товарищам.

Мальчик, как шар, скатился с лестницы. Отец секретно наблюдал из окна. Вася бурей вырвался на двор, манерно отставил ножку, щелкнул пальцами и доволен громко сказал:

— Вот как папы объегоривают! Я прикинулся несчастным, а папа и попался на удоочку!

Дети одобрительно смеялись. Отец возмущенно и глупо вытаращил глаза. Он еле-еле сдержался, поняв, что было бы выгоднее запомнить оплошность мальчика для будущего обращения с ним, чем снова открыться сыну в смешном виде. К тому же мальчик испугался собственной болтливости и осторожно косил глаз на раскрытое окно, у которого заметил отца.

И поездки на Косу продолжались, и мальчик не мог отка-

ваться от разглядывания плавающих рыб в рыбакских лоханях у пристани. Вася пропадал, несмотря на все рогатки, препятствовавшие его изворотливости. Но теперь было легче: знали, где искать мальчика и у кого спрашивать о нем.

В веселые минуты Федор Степанович укорял Васю и подсчитывал его шалости. Мальчик нестранным-нежно улыбался, лукавил и оспаривал их. Шура служил удобной мишенью.

— Помнишь, ты в прошлом году залез в котел на дворе? — скрывая смех, хмурился отец. — Мать только сделала тебе новый костюм, и его пришлось выбинуть на помойку. Отстирать не могли.

— Это, пана, не я, — отрицал спокойно мальчик: — это Шурка первый залез. А мы с ребятами за ним. Котел из котельной вытащили на наше место. Нам играть негде. Мы думали — он не грязный. Зимой смотрели — огонь в тонке очень страшно горел. Шурка нам сказал, что в огне сажа горит и стеночки чистые.

— Я не говорил, пана, — отпирался Шура. — Он залез да и кричит из котла: „Шурка, давай в кotle жить: тепло и не дует“. Сначала ребята залезли. Потом меня стали из котла дразнить: „Трус, трус!“ Я последний был, а не первый.

— Кто пынче в пасху кулич потерял, баловник? — Федору Степановичу казалось, что он теперь-то поймал Васю. — А?.. И тут отопрешься?

Мальчик даже сердился.

— И отопрусь. Кулич тяжелый. Я его нес-нес. Синя у меня заболела. Я его Кулакову отдал. Или Шурке...

— Да-а! — перебивал брат. — Обманывай, обманывай папу! У меня свой был кулич, а у Кулакова — пасха с яйцами. А ты за оградой бегал-бегал да с ребятами полез на колокольню. Кулич-то на камушке и забыл. Нищие рядом сидели. Они его забрали и съели.

— За ухо тебя следует, вруна! — с поддельной мрачностью говорил Федор Степанович. — За ушко да и на солнышко. Кто в роте у меня из матросов врет, того я не люблю.

Мальчик с хитринкой спрашивал:

— А не в роте, папа, можно?

— Нигде нельзя.

Когда с Павловской улицы переехали в тридцатый флотский экипаж, где Федору Степановичу в нижнем этаже, под матросскими помещениями, нашлась бесплатная квартира — и он не захотел упустить удобное для службы жилье, — Вася реже и реже стал пропадать в городе.

Огромные матросские дормитории, всякие закоулки на лестницах, на чердаках, конюшни, кухня, двор, равный по длине улице, почти вполне заменили город.

Туда, за город, на Косу, на кладбище в деревьях, купаться в заливе ходили с мамой и папой.

Особенно интересно было купаться. В экипаже и на экипажном дворе такого удовольствия не сыщется. Папа, высокий, — мальчик сравнивал его почему-то с пароходной трубой, — голый, шел впереди, за ним шлепали по воде руками Вася и Шура.

Мутная вода. Цепкая зеленая скользкая морская трава заплела ноги. Долго и далеко шли. И все было выше до колен.

Но вот папа садился в воду и скрывался с головой. Это казалось очень страшным. Папа, отфыркиваясь, показывался наружу. Он протягивал руки, на них ложился Вася и бульхал ножками. Плаванию обучались каждое лето. Но папа учились только одновременно опускаться в воду, зажав уши и нос и стараясь пересидеть друг друга.

Мальчик завистливо наблюдал, как папа пересиживал их с братом. И тогда он пустился на уловку. Только папа приготовился выплынуть, Вася, забрав воздуха как можно больше, присел в воду.

Но уловка не удалась. Папа с изумлением заметил сидящего в воде Васю, понял, улыбнулся и погрузился снова. Купание скоро так и стало называться: кто кого обманет?

Город был почти не нужен. Но нельзя было не ходить

в гавань и жадно, до рези и слепоты в глазах, не отрываясь, смотреть на спящие в цепях корабли, крейсера и броненосцы, на веселые щуки-миноносчи, на широкие пароходы-транспорты.

Вася сопровождал отца и на собственный броненосец, — таким он считал корабль, на котором плавал папа. И „наш броненосец“ представлялся лучше всех: он пытал на солнце золотом и серебром точно огромная зажженнная люстра в церкви или почной — в огнях — Андреевский собор в Кронштадте. А медные трубы на капитанском мостике казались вытянутыми лебедиными шеями, обернутыми почему-то в золотую бумагу, как игрушки на елке.

Жизнь экипажа вошла в маленькое существование Васи как нераздельное и большое и почти главное. Мальчик встречал в декабрьскую поморозню у экипажных ворот, как ему казалось, чудаковатых деревенских людей, будущих ловких и щеголеватых матросов. Новобранцы рваной, мохнатой бедной запуганной кучей вваливались во двор. Их вели, как арестантов, под конвоем. Вася слышал громче и чаще других слов один окрик:

— Деревня! Деревня! Деревня!

„Зимние мужики“ — так называл мальчик новобранцев — кой-кто подмигивал ему и сдержанно пересмеивался между собой.

— Деревня! — повторял Вася недовольно.

А тогда из кучи, должно быть самый смелый, насмешливо выкрикивал:

— Здорово, ваше благородие! Эй, малыш, пошто мою шинельку надел? Как зовут-то... полковника?

— Вася, — улыбался мальчик.

— Ишь ты, — вольничаł тот же когобранец. — а мы думали, такие Васи у нас только в деревне водятся!

По экипажному двору везли на открытых телегах матросский румяный, маничного печения, ровный, точно двойные кирпичи, черный хлеб. Он так вкусно и остро благоухал,

что мальчик с удовольствием втягивал ноздрями знакомый сытный запах.

У ворот помещалась кухня с яркими, как купола, медными кастрюлями, баками, сковородами. На кухонных столах, точно длинными саблями, светлыми ножами, в белых халатах, мордастые, распаренные от жары, маслянистые коки резали сочное, чавкающее в крови мясо. В углу, за плитой, на полу, словно на базаре, лежала большая груда очищенного картофеля, свеклы, капусты. Плиты шипели, трещали и чадили, как на „нашем броненосце“ в машинном отделении горящие топки котлов.

В обед через маленькие сенцы мчался из экипажа черный, без шапок, крикливый табун матросов. Щелкали деревянные ложки, дымились блюда, распотрошенный хлеб лежал кочками на продолговатых столах.

Мальчик любил обедать с матросами. И они его сажали с собой, выбирали необкусанную ложку, чтобы Вася мог свободнее управляться со щами, нахваливали, как мальчик аппетитно, из подражания соседям, жевал и глотал ароматичный хлеб.

Вася иногда так набивал живот, отобедав подряд с двумя сменами, что дома получал от отца за третьим обедом выговор или даже затрецину: мальчик неладно вертесся за столом, чуть-чуть прикасался к жаркому, больше ковыряясь в нем вилкой, чем кушая его.

Мальчик первым приносил Федору Степановичу тревожное известие с кухни, когда матросы сердились, не обращали внимания на Васю, не сажали его рядом, а блюда с щами и кашей стояли такими же полными, как их принесли от кричащих что-то, злых коков. Матросы выплескивали из ложек белых жирных червей. Один раз какой-то матрос набрал их горсть, сунул в кулечок Васе и сказал:

— Иди, парнишка, снеси отцу и покажи.

С тех пор мальчик самостоятельно таскал домой червей. Отец сердился, приказывал маме больше не пускать Васю на

кухню, живехонько облачался в шинель или мундир и торопился на кухню. Мальчику мама мыла ручонки и почему-то больше с лаской, чем с недовольством, попрекала его:

— Юла, до всего-то тебе дело! Только папу сердишь!

Случалось, в обед около ворот неожиданно вытягивались, как в строю, караульные. Железные ворота с громом распахивались.

— Шурка! — кричал обедавший Вася через весь стол брату, где-нибудь притулившемуся на кончике, — бежим! Командир экипажа едет!

Мальчики высакивали на кухонное крыльцо, замирали и отдавали честь. Командир экипажа улыбался и благодарил Федора Степановича за „допризывную подготовку“.

— Л-ловко делают! — восторгалось начальство. — По всем правилам! Другой большой дурак за всю службу так не научится козырять!

В начале лета экипаж снимался с зимних квартир. Матросы отправлялись во внутреннее плавание. Вася с ватагой ребятишек носился по пустующим ротам. Ребятам нравилось, что бегущие шаги их гулко звучали в пустоте. Еще интереснее было кричать во все горло и слушать, как где-то под потолками голоса повторялись, точно кричали вдали на смотру сотни матросов.

Мать же приходила в отчаяние. Особенно в первые дни по отъезду матросов. Вася и Шура прибегали иногда с ревом. Они набирали в ротах несметные количества блох. Лица, костюмы, руки, словно детей побрызгали крапивой, окунутым в чернила, покрывались мелкими и крупными блошиными червячками. Блохи кидались на раздраженную мать. Фельдфебельские жены — и одна, и другая, и третья — с бранью и с хохотом выгоняли свое шаловливое потомство на улицу, оставляли нагишом и выколачивали рубашонки и птичишки, вытряхивали их на ветру и швыряли в стирочные корыта.

Вася знал сотни матросов в лицо. Знал, кто часто сидел в карцере, кто пьянствовал, кто воровал, кого любили фельд-

фебели и ненавидели матросы, кто часто ходил в лазарет, — знал, кого из матросов вызывали Машки, Сашки и Пюшки в платочках, являвшиеся откуда-то от Каспийских казарм.

Всех офицеров Вася запомнил по фамилиям. Ему передалась отцовская зависть к ним, но вместе с этим и отцовское презрение. Офицеры часто брали мальчика за подбородок. Делали Вася в бок буки. Офицеры улыбались, а Вася ощетнивался на них.

Мальчику казалось обидным, что к лицу прикасались посторонние люди, и почему-то прикасались всегда холодными пальцами. Матросы так никогда не делали, а лишь обнимали за плечи или за спину. И это было приятно.

В пустом экипаже раздолье. За лето из рогаток выбивали несколько дюжин стекол. Марали и дарали гвоздями стены. Гурьбой забирались в пристроенные к экипажу обширные деревянные матросские уборные. В широкое „очко“ напряженно глядели со второго этажа в первый. Там проползали чудовищные лохматые рыжие крысы, больше самых матерых сибирских котов. Сюда таскали чайники с кипящей водой, затаивались и по сигналу опрокидывали в „очко“. Ошпаренные крысы падали, кусали друг друга, дико визжали и разбегались.

На Павловской улице была лавочка, где Кулаков на книжку закупал для семьи все необходимое. Федор Степанович баловал мальчиков. Им позволялось заходить туда и брать из ту же кулаковскую книжку гостинцы — рожки, пряники, булки...

Побегавши по экипажу, по двору, Вася с целой ватагой товарищей отправлялся в лавочку и угождал свою верную артель.

Лавочник записывал и записывал, радуясь огтовому покупателю. Но когда пришло время расчета, Федор Степанович обомлел. На лавочника рассердились и перестали брать у него товары. Васю жестоко выпороли, а деньги пришлось отдать. Теперь мальчик бегал подкрепляться домой.

Осенью корабли возвращались в гавань. Мальчик удивлялся медным матросским лицам, облупленным, мрачным, и почти не узывал их.

А зимами он дожидался рождественских елок, которые устраивались почти во всех ротах и по всем фельдфебельским квартирам.

В ротах стояли под поголок целые деревья, украшенные висячими золотыми и серебряными собачками, лошадками, корабликами, дедами-морозами, флагами, ружьями, барабанами и всякой-всякой всячиной, которую не мог бы перечислить мальчик. Игрушки и орехи и конфеты в бумажных кульках раздавали необыкновенные женщины в особенных платьях, с раскрытыми грудями, в белых до локтей перчатках, — женщины, не похожие на всех мам знакомых ребятишек. Рядом с ними неприятно изгибались морские офицеры, свои и чужие.

Флотские музыканты с трубами, точно коки с кастролями и котлами, возвышались над всеми в углу и дули до поту в узенькие горлышки инструментов.

Шароду было так густо, что где-то в серединке, на одном месте, под музыку кружились, обнявшись, пары, а Васю с ребятами забивали совсем под елку. Туда же приползл Кулаков, щелкал орехи и поил Васю с Шурой шипучим, брызжущим в стакане, как кипяток, лимонадом.

Таясь от начальства, денщик ловко выпускал из рукава горлынико сотки и подливал себе в лимонад водку.

На квартирах елки горели маленькие, по орехи и конфеты давали везде. Папы пили пиво, щелкали пробками, разрумяненные мамы пели деревенские песни и целовались с папами. Дети под елками с денщиками топили из воска барашков: гадали.

Вася объедался на праздниках. Кулаков растирал ему живот, а мама пеленала в байковый пояс и накренко завязывала.

Праздники проходили. Зиму подтачивала весна, летом снимались с якорей корабли в гавани. Экипажи пустели. осенью

рвал северный ветер над Финским заливом, натягивая рыбакские паруса, крейсера и броненосцы дымились вдали, за молом...

Все повторялось. Мальчик ложился вечером спать и утром просыпался, день бегал — и опять сон, и опять пробуждение, и опять длинный деловой день детства.

ПРЯХИНО

Прощай, Кулаков!

На седьмом году сверхсрочной службы во флоте Федор Степанович вдруг начал испытывать недовольство. Фельдфебельский мундир стеснял и мешал. За одиннадцать лет со времени призыва котловского мужичка ему довелось увидеть столько удач в жизни, что он крепко повзрел в свои силы и пожелал воспользоваться ими самостоятельно. Подчиненное положение тяготило и сдерживало накопленный опыт.

Казна Федора Степановича перевалила на четвертую тысячу. Перевалила и... больше не пополнялась. В тридцатом флотском экипаже что-то сломалось. Вдруг... как ударило молнией в дерево-одинец. Ротный командир мещерицкой роты оказался в Петербурге во флотских казармах у Ноцелуева моста. Среди других перемещений не удержался и Федор Степанович на обжитом месте. Его перевели в самую неблагополучную и замызганную роту. Мещериц почумил приближение захудалости, задумался и твердо решил перебраться в деревню.

Старый ротный командир порадел о полезном служаке, и не только о нем, а и о денщике Кулакове.

Скоро Вася и Шура подружились с артелью ребятишек у Ноцелуева моста, засвистели рогатки над Фонтанкой, часо-

вые матросы у ворот не успевали открывать и закрывать калитки. Но Федор Степанович не прижался здесь.

Прощай, Кулаков!

Примерно за месяц до отъезда Мещериных на родину дешник загулял, вышел с новосельем, опохмелился наутро, отсидел положенный срок в карцере, вышел — и пропал. Где же искать в Петербурге пропавшего Кулакова?

Вася скучал и надоедал с расспросами о пияньке. Его выдрали за любопытство и приказали не вспоминать пияницу.

Тем не менее Федор Степанович, возвращаясь как-то ночью из гостей от тетки Аниэль, нашел Кулакова сияющим на казарменном дворе, возле черной лестницы в мещеринскую квартиру.

— А, негодяй! — больше радости, чем возмущению воскликнул фельдфебель при виде скорчившегося на земле и хранившего во все горло дешника. — Видно, так налакался, что не мог на стушеньку влезть! И... повалился свиньей!

— Вот и бескозырка его! — сказала Марьушка. — Между дверей. Значит, входил.

— Ну да, входил! — засмеялся Федор Степанович. — Разбег сделал, а заднее место тяжелее, его и позолокло назад, и... плюхнулся. Хорошо, хоть напался, размазня!

Кулакова втащили на кухню.

Вася вставал рано. Он разбудил отца и мать на другое утро.

— Папа! Мама! — закричал с перенурганным лицом и в слезах мальчик у кровати родителей. — Кулакова убили! Кулакова убили!

Те вскочили.

— Какой он страшный! — рыдал Вася. — У него поса нет! И глаз нет. Одно мясо на лице!

Кем-то в пьяной потасовке избитого, а потом простыившего на земле Кулакова отправили в лазарет.

Дешник не встал. Федор Степанович на дню семь раз бегал проведывать Кулакова. Марьушка водила тайно от

отца и Васю прощаться с верной нянькой. Мальчик нежно гладил знакомую шероховатую руку Кулакова. А тот старался напрасно усмехнуться и еле слышно хринел:

— Вась, скоро змей будем запусшать! Ох, и хвост я ему придумал какой — пол-Нитера покроем! Но крышиам задевать станет, по колокольням, голуби за им полетят стайками... стайками... стайками...

И забылся.

Марьюшка незаметно пролила слезу и потащила упирающегося сына вон.

Федор Степанович на похороны взял и Васю и Шуру.

Вместе с ними он уложил в кулаковский сундучок гармошью, собрал туда же все пожитки денщика и аккуратно перевязал сундучок крест-накрест веревкой, с морским узлом на средине. Федор Степанович написал размашистыми карандашами письмо родным Кулакова, потом вложил в пальчики Васи перо — и еще прибавили одну подписанную карандашом.

За вещами так никто и не приехал. Сундучок скоро повезли в Пряжино. В поезде сундучок украли.

— Пана, пана! — кричал Вася, не отходя от вагонного окна. — Какая высокая трава!

Огэц педовольно поймал смех пассажиров-соседей и хмуро оборвал сына:

— Это — рожь, дурак, а не трава!

Марьюшка оправдывала мальчика перед вагонными попутчиками:

— В Кронштадте, на острове, ржи нет. Вася никогда не видал ржаного поля.

Мальчик взглянул на брата и увидел на лице его хотя и осторожную, но вызывающую усмешку. Шурка ехал по железной дороге второй раз. Он с удовольствием делал вид, что чувствует себя в вагоне привычным и ничему не удивляющимся путешественником.

— А на картинках он не видел ржи? — насмешливо оспорил мать Шурка. — Недавно у меня в книжке сним карандашом под картинкой „Нива моя нива, нива золотая“ васильки рисовал. Мне еще из-за него от учителя попало.

Шурка уже второй год ходил в школу. Вася ему старательно помогал портить книги.

— Верно, Шурка, — поддержал отец. — Он и знает, да притворяется.

По пассажиры почему-то всогали на сторону Васи, хотя он страшно покраснел и явно выдал себя с головой. Пассажиры ласково улыбались и защищали мальчика. Вася затаил злость только на Шурку.

Поезд шел. Шурка, как знаток, важно сообщал:

— Мост, переезд, путевая будка, стрелочник...

На станциях и полустанках грамотей горделиво и громко провозглашал:

— Бологое... Софрино... Кинелово...

Шурка кичился своим умением читать, показывал Васе на стационарные вывески и подразнивал:

— Видишь белые буквы под крышей... Это название. Тебе не сложить слово. Сосчитай, сколько букв. Мы с танкой тебя считать до десяти учили.

Вася беспокойно вертелся около брата, передразнивал, как Шурка шевелит губами при разговоре, щурил большие глаза. Но мальчик уловил, однако, момент одурячить Шурку. Брат загляделся где-то в поле на речку, протекавшую возле самого полотна. Тогда-то Вася и позвал Шурку нарочно торопливым и безотлагательным голосом:

— Ш-шурка!

Брат быстро повернул голову и наткнулся пухлой щекой на подставленный палец. Вася звонко расхохотался и шмыгнул в колени к матери, а Шурка растерялся, дрогнула у него губа от обиды, но исправить смешного положения он не мог.

— Я тебя сто раз обману! — похвастался довольный мальчик. — А ты меня ни одного, простофия!

Федор Степанович прямиком с Вологодского вокзала покатил на земскую почтовую станцию. Понадобилось три извозчика. Марьюшка остерегающе шепнула, когда нанимали пролетки:

— На двух бы потеснились! А то как ни повернемся, так линий двугривенный. Сколько денег уходит! На нужное дело не останется!

По Марьюшке пришлось замолчать. Отставной моряк вспыхнул, точно пороховой погреб, и в совершеннейшей ярости пробурчал:

— Я тебя нешком заставил идти, д-дура! Бери па плечи самый большой сундук и тащи его на себе!

Федор Степанович желал пустить пыль в глаза своим деревенским. Знай наших! Однако он только походил на почтовой станции вокруг запряженных троек и постеснялся нанять их. Ноехали скромнее: на двух парах. Моряк, конфузясь, заигрывал с ямщиками:

— Колокольчики у вас на месте?

Ямщиков не проведешь: они видели народ и воживали разных особ с замысловатыми и несложными причудами.

— Чаевые будут, — понятливо усмехались ямщики, — мы тебе по три ошейника ширкуцов и бубенцов наследаем. Ровно на колокольные звоны. Из поля слышно. Удивление на всю волость. Своя деревня навстречу побежит...

Вася принимал самое близкое участие в найме лошадей и вертелся около, вслушиваясь в каждое слово. Он и спутал многозначительные переговоры.

— Папа, разве деревни умеют бегать? — удивленно спросил он. — Они же деревянные!

— Возьми... этого! — резко приказал Федор Степанович Марьюшке, а сыну крикнул: — Иди к матери! Не суйся!

Вася недовольно отошел, но не удержался торопливо спросить:

— Папа, одно слово! А что значит чаевые? Ямщиков надо чаем поить?

— Вот-вот, — одобрили ямщики, залив ясь хохотом, — понятливый малец! Правильно! Сперва суй самвар, а за нами остановки не бывает!

Дон-дон — дилидон.

Загорелся кошкин дом.

Бежит курица с ведром,

Заливает кошкин дом ..

Колокольчики нежно и ясно лопотали под дугами и на конских шеях. За парами гналась деревенская челядь и кричала. Вася усвоил песню. Она ему понравилась. Мальчик, на счастье, попал к матери, в задний тарантас, куда его сунул разозленный отец. Шурка гордеиво оглядывался с головной пары, где сидел рядом с отцом. Вася успевал делать брату дерзкий нос, но более охотно размахивал руками и вместе с деревенскими ребятами исп.: „Дон-дон-дилидон...“

Вася наблюдал. Ямщики ухареки сидели вполоборота на облучках, прищуривши с хитринкой глаза, в правой руке паотмань держали длинные плети, метущие за тарантасами дорогу. Что-то будет?! Вася понимал уловки ямщиков.

По провожатые ребята-огольцы давно обучены осторожности. Озора знает повадки веселых ямщиков. Они играют плетью, как старые настухи.

Марьюшка не мешала сыну и насмешливо думала о ямщиках. Они смирины и покорны только в деревенские праздники, когда тарантасы тихонько пролезают по улице сквозь цветную и многоголосую толщу мужиков и баб. Тогда плеть в тарантасе, будто ее и нет совсем, повозчицы деловито и прямо сидят на своем месте, а колокольцы едва-едва выговариваются, как спросонья: дон... дон... ди... ли... дон... Тогда ватажники висят на задках, хватают за оглобли, дергают за хвосты пристяжных и промышляют на лесы даровой конский волос.

Сейчас ямщики наверху. Они кличут своих дорожных противников — и напрасно. Плеть извивается и свистит над дугой словно всенугнутая змея на лесной тропе, плеть напрасно

сечет воздух и словно задевает сразу все ширкуицы и колокольцы.

То лошади смаху взяли вперед и понесли за отводом в восемь гремящих копыт.

Дон-дон-дидон,

Загорелся кошкин дом.

Бежит курица с ведром,

Заливает кошкин дом,—

тишеет позади и катится под гору вместе с толкучим тарантасом.

У котловского отвода все сомнения Васи разрешились. Он воочию увидал, как бегает деревня навстречу. Передний ямщик оглянулся и, усмехаясь, крикнул заднему:

— Бочкин, наддай, говорит хозяин!

Ямщики и плети произительно вззвились над лошадьми, свистнули, разорвались сухими хлопками, кони взяли с учетверенной силой — и Федор Степанович загудел колесами и ширкучим звоном по родной улице.

— За угол, у колодца! — взволнованно, сплюснутым голосом распорядился моряк, в страхе, что столь торжественный въезд будет испорчен какой-либо ошибкой: то ли прескочат избу бабки Афанасьи, то ли заденут разогнанными колесами за чужой плетень.

Котлово снялось с наседал: и большой и малый, и старый и молодой — всё мчалось за парами. Васю вынули из тарантаса какие-то незнакомые бабы, начали стряхивать с курточки дорожную пыль, целовали его в щеки, в губы, в лоб, кто-то надел его бескозырку и предовольно засмеялся. А обступившие ребятишки уже любопытно спрашивали:

— Ты у нас станешь жить? Аль проездом?

— Я с папой, — неопределенно ответил Вася.

— Мы у обеих бабушек будем жить, — разъяснил Шурка.

— Нопеременно, — добавил тогда Вася.

Черная изба бабки Афанасьи панугала мальчика.

Высоченные и папа и бабка почти уширались головами в потолок. Вася поднял туда же глаза.

— Это почему, бабушка, — сразу сказал мальчик, — вы так низко живете? Как в котельной у нас на Павловской! Потолок черный..

— А чтобы теплее маленьким ребятам было, — ответила строго бабка Афанасья, — мы в котельной и живем. Видишь, заместо котла печка... расшарашилась в избы.

Погостили в Котлове мало: тесно и неудобно. В Пряхине было обширнее и малолюднее.

— Это все ты, панталонница, сбиваешь Феденьку, — насупившись, отрубила направляемки бабка Афанасья Марьушке, развесившей на веревке около избы выстиранные женские панталоны.

Бабка с первого дня возмутилась нажитой в городе пристиги невестки к панталонам и под горячую руку, в обиде на заглядывание сына в тестев дом, придралась к Марьушке.

— Ты, бабка, не серчай, — в тот же вечер бесповоротно продолжил разговор Федор Степанович, — ты мне мать, а Марьушка жена. Незачем ее попрекать панталонами. Хорошо, что от деревни отстала. Тебе не любы городские привычки, а мне не люба деревенская серость. Нам надобно жить врозь. Мы переедем в Пряхино. Приходи в гости. Всегда тебе почет у меня. У Вьюркова две избы. Мы — в светлую, старики — в черную.

— Сговорились? — ревниво поморщилась бабка Афанасья. — Заглазно от меня! Тайком!..

Федор Степанович удивленно посмотрел на мать и показал головой.

— Ты, я гляжу, совсем у меня постарела, — с неприкрытой насмешкой над материнским старчеством пустил сын ответную стрелу.

— Нет, я еще разумею, — холодно и отчужденно прощедила мать. — Желаю тебе в мои годы не спутаться и совладать с умом.

— Завещанья не позабуду, — небрежно воскликнул Федор Степанович, — а ежели заблужусь в темноте, у людей попрошу покрова. А-люди добрые! Выстарают! И направят с охоткой к хорошему!

В Иряхино перебрались без колокольчиков: погрузили скарб на рогатый андрец и двинулись втихомолку. Ребята и так бегали каждый день от одной бабушки к другой. Поле — рукой подать.

Бабка Афанасья не пришла на новоселье. Завраждowała с сыном. Федор Степанович осерчал и как будто в свою очередь забыл про Котлово. Реже стали появляться там и внучата.

Вскоре бабке Афанасье пришлось испытать большую обиду.

К бабке пришли Вася и Шура. Бабка была мастерица делать сладкий варенец из лука. Она его умела подолгу выдерживать и так остужала среди лета в голбце, будто на дворе стояла зима.

— Поди, маленьского дать? — спрашивала с улыбкой бабушка и, не дожидаясь ответа, спускалась в голбец. — За тем, поди, и пришли? Носытайте ко мне бабку Аграфену, я ее выучу тешить внучат. Мер двадцать луку испортит, а на двадцать первой, может, и... смекнет.

Вася стремительно кидался держать творило в голбец, чтобы оно не упало на голову бабушке.

— Достань мне самую крупную луковицу, — просил мальчик. — Я люблю крупную. Я ее, бабушка, кружочками съем.

— Меньшаку и самую крупную, — поддразнивала старуха, скрипя лесенкой, — это непорядок. Меньшакам — то, что от старшаков останется.

— Я старший, — говорил важно Шурка.

— Бабушка, — хитрил Вася, — Шурка шутит. Маленьким всегда отдают большие. А он большой, и ты большая... Мне — крупную луковицу.

Шура было хотел вмешаться в спор, но Вася ему раздражению шепнул:

— Молчи, я тебе половину отдам. А то бабушка рассердится и ничего обоим не даст.

Сладкий варенец жадно проглатывал. Вася обманул Шурку.

— Какой ты чудак, — урезонивал мальчик брата, — я же не нарочно съел больше. В следующий раз тебе достанется крупная луковица. Давай, — находчиво предлагал Вася, — но череду ее есть. Я своему слову — хозяин. Сам тебе отдам мою часть.

Шурка сомневался, но выхода не было. На всякий случай он грозил:

— За обман я тебе покажу! Ты меня не уговоришь, как бабушку уговариваешь или как с молоком обманул.

Братья недавно пили у бабушки молоко. Крынка с толстым слоем сливок манила всегда, как лучшее лакомство. Но жребию, досталось пить первому Васе. Сливки разделили, положив посередине крынки тоненькую лучинку. Вася сперва медленно втянул в себя свою часть, передохнул и несколькими поспешными глотками достал братину сливки из-за лучинки. Шурка дернул крынку на себя, молоко расплескали, и оно не досталось ни тому, ни другому.

Вася, облизываясь, посмеивался и жаловался бабушке на Шуркину жадность. Тот выл от напраслины, но вся грудь у него была в молоке и в остатках сливок.

— У меня шиджак чистенький, — унорио твердил Вася, — а Шурка ка-ак по-о-тянет у меня крынку! Ну, вог на себя сливки и опрокинул. А мне довольно и своих. Сливки были с падец толщиной.

После сладкого луковника бабка выдала внучатам по два сырых яйца и положила их на видном месте в крыльце. Вася и Шура помчались в деревню, к своим котловским приятелям.

У прогона из Котлова в прихинское поле стоял старенький мещеринский гуменик с овицей. Оттуда старуха, нагрузив нестерЬ обмолотками, выглянула на дорогу и заметила возвращающихся домой голосистого и тихонького своих внучонков. Бабка не успела их окликнуть, как вдруг заинтересова-

лась страшным поведением мальчиков. Они осторожно огляделись в прогоне. В обеих руках у виучат было по яйцу.

— Давай бросим, — предложил Вася. — Мама скажет: «Зачем брали яйца? Что, у нас своих нет?» Мама на бабку сердита и наказывала ничего от нее не брать.

Шурка стоял в раздумья и разглядывал бабушкин подарок.

— Ты — жадный! Тебе жалко бросить! — засмеялся з.10 Вася, и, отскочив от брата, он быстро начал крутить правой рукой по воздуху. — А я вот как!..

Яйцо, как белая птичка, мелькнуло над прогоном и упало где-то, хлюпнув желтыми брызгами в траве.

— Стой! — вырвалось у бабушки, выскочившей из овина. Виучата обомлели, растерялись...

— Клади на дорогу! — шепнул Вася брату, сунул бережно яйцо в пыль и стремглав побежал.

Шурка кинулся без оглядки вдогонку.

Бабка Афанасья долго стояла над своими выброшенными подарками, тяжело наклонилась, подобрала их и пошла плакать в овин.

Погодя час-другой она явилась в Пряхино, вызвала на улицу удивленного Федора Степановича и стала пенять ему. Сын долго молчал. Шаконец он, с расстроенным лицом, сипя от волнения, сказал:

— Вражда, бабка, ничего не поделаешь! Ты — Марьюшку, Марьюшка — тебя. А детей вы обе портите. Ты мне больше не жалуйся.

Сын проводил мать до самого Котлова.

— Сегодня не подходяще, — угрюмо промолвил он, прощаясь, — душа сбита насторону, а как-нибудь ты, матка, приходи к нам чаевничать. И не любы тебе все Вьюрковы, а я-то, а ребята-то мои тебе малость приходятся своими. Снеси от нас обиду. Сама ты ее себе накликала.

Федор Степанович нещадно выдрал Васю за глум над бабушкой, молча, с искаженными гневом глазами подошел к притихшей жене и сильно ударил ее ладонью по лицу.

Марьоника долго и безутешно плакала, проклиная бабку Афанасью.

Федор Степанович пропал на весь день и на всю ночь, покуда, прощакавшись, Марьоника не бросилась на поиски мужа. Ребята побежали вестовыми в Котлово. И там застрили.

Марьоника поняла. Под шин и брань разъяренных родителей Марьоника собралась туда же. Бабка Афанасья не знала, куда ее посадить, чем угостить. Старуха захлопоталась, таская на стол луковник, молоко, яйца, жареную рыбку из последнего деревенского улова. Свекровь и невестка, обнявшись, всплакнули вместе и помирились.

Федор Степанович вел жену домой в Пряхино под руку, прижимал к себе и, таясь от ребятишек, шептал:

— Марьоника, в первый и последний раз! Пускай у меня рука отсохнет, если замахнусь когда! Деревня теперь вся из меня вышла! Казньюсь и покоя себе не знаю!

Семейство Мещериновых через какую-нибудь неделю перестало быть невиданью в Пряхине. Деревенские высмотрели и узнали, в каких платьях ходит Марьоника, привыкли к ребяческим бескозыркам и золотым якорям на пальтишках, одобрили степенную и независимую уверенность в себе мещеринского большака, больше не заглядывали в окна избы с белыми занавесками, где оседло зажили штеряки. Все ветало на свое место.

Федор Степанович покуда приематрился в поисках самостоятельного дела и помогал тестю мельнику. Но скоро падело глотать мучную пыль на мельнице и по несколько раз в день вытряхивать запаивающий пиджак.

Мещерин не зря не сводил глаз с Кубинского моря, как называл озеро Вася. Окна избы были обращены туда. Матрос вспомнил знакомый рыбачий промысел отцов и дедов. Только начал его по-новому. Махом сколотил дуван с полсотни пряхинских и котловских мужиков. Неравнялся в Заозерье, обшмыгнул рыбачные берега и где-то с переплатой, с азартом

к будущему благополучию подхватил на лету у некоей незадачливой артели полную рыбадскую справу. Выорковская изба запахла рыбой.

На желтых отмелях, видимых из мещеринской горницы, на козлах и влажку растянулись огромные невода, мутники, ботальницы, собственные лодки-пятерики и семерики стайкой сгрудились в устьи речонки Звоцкой о-бок с промыслом, на длинном шесте затрепетал самый настоящий андреевский флаг.

— Флажок — это хорошо, Федор Степанович, — стеснительно бормотали дуванщики, побаиваясь мещеринской близости, — знак... знак и с суши и с воды! И виремъ удобство. Когда на озере буря, лодки сюды и пойдут на прямую... а только... урядник нагрянет... и сымет.

Вася и Шура сновали на отмелях, забавляясь оставляемыми на влажном песке следами ног, лазали по лодкам, усаживались под неводами, воображая себя матерями, старыми ловцами, ждущими у спасей подходящей для лова погоды.

— У нас флаг, как в Кронштадте на „Боярне“, — подражал отцовскому горделивому виду и голосу Вася.

Предостережение дуванщиков оказалось напрасным: флаг сняли и без урядника, тот не успел доехать.

Лето выдалось неловучее. Одна забава. Дуван зашумел:

— Это не тони, а уха!

— Мещерину суга на пироги, а нам ракушки!

— Дохляка более у берегов, чем рыбы в озере. Ушла вся. Видно, дурацкое дело распознала. Больно пристань хороша под флагом у хозяина. А рыбы нету.

Федор Степанович самонадеянно ободрил мужиков.

— Бери на жалованье! — кричали дуванщики. — Тогда весь твой улов. А исподу нам не рука! Твое счастье — твой прибыток, а нам натобы не ломать спины попанрасиу!

Федор Степанович вспомнил недавнюю свою власть над такими же мужиками, только переодетыми в матросские тужурки, возмутился на неожиданную самостоятельность котован и прихинцев и громогласно всыпил:

— Сукины вы дети после этого! Чего раньше глядели? Где у вас совесть? Вы смекаете, сколько я вывалаил денег на обзаведение? Не столкуйся я с вами, я бы и дело убыточное не начинал!

Мужики в свою очередь обиделись и недружелюбно загадали:

— Эт совесть при чем же? Эт у тебя-то совесть?

— Известь откуда взялась, братцы!

— Не сам ли ты выгодное дело затеял? Карман себе вздумал набить через наши руки... И на тебе — с укорами еще!

— Над своими мужиками орлом вскочил! Видишь, замыслил нас малость потянуть за жилку!

— Пошел ты к кобыле под хвост! Нам и так жрать печего! Ломим, ломим на земле да на озере для своих ребятишек, да на тебя понапрасну трудись!

— Несогласны дуванить, ежели ты в полноправных хозяевах! Отдавай сеть в артель! Чускай она станет обчая! Мы тебе за нее рыбой выплачиваем без срока. Лов будет — в лето оправдаем. Лова не окажется — не судачь! Из копейки в копейку получаешь!

Федор Степанович пришел в ярость.

— Нашли дурака! — закричал он, багровея. — Моя спра-ва, на кровные купил, а вы моими кровными ни за что, ни про что станете пользоваться?! Найдите себе подходя-щего благодетеля, подурашивайтесь! Ишь, у вас разуму сколько накопилось под волосами!

Мужики довольно засмеялись:

— Эт, видно, ему не но нутру!

— Хе-хе! Кровные у Федора Степановича, гляди, нашлись!

— Откудова, ребята? Ровно бы в Котлове у него крыша на избе не чище нашей прежде была.

— Клад поддел! Бочонок с золотом на море, поди, всплыл, он его и зачалил!

Федор Степанович глядел злобно на цепокорных дуванщиков, они явно уходили с работы.

— И ухватке кунической научился в Питере! — воскликнул мужик-сосед. — Э, братцы, дай мужику деньги, он сей минутой на своего ближнего верхом сядет!

— Панимай, Федор Степанович, в батраки! — закричал отчаянный мужичонка-котлован, с которым когда-то Мещерин гулял в молодости. — Пойдем! Твоя взяла! У тебя пазуха оттонырилась, у нас — ничего, один кисет с табаком! А впustую мы тебе не работники!

Мужики глядели несвортимо и недружелюбно па Федора Степановича. Он не остался в долгу. Сами собой стиснулись кулаки. Глаза Мещерина не уступали в силе и в напоре злобе дуванщиков.

Не сладили.

Дуван разбежался. Рыбацкий хозяин остался один с неводами и лодками. Он невесело бродил по своему промыслу. Несон усыпала прибывающая бурными ветрами дохлая рыба.

— А стариками замечено, — говорил тесть, — когда рыбий мор, рыба совсем не идет в счасти. Она под камнем сидит. Там от болезни перемогается.

Марьюшка с тревогой следила из окна за бурями на озере. Огромная, в пене, белая стена вод катилась чаще всего косяком из Заозерья и, казалось, захлестнет самое Иржино. В кипучем водовороте бросало знакомые лодки, точно они плыли на месте, как самые искусные анфаловские плясуньи. У Марьюшки даже перехватывало дыхание. А вдоль улицы неостановимо, рея ленточками на бескозырках, мчались к озеру Вася и Шура с ватагой ребятишек. Они торопились к возвращению лодок на стоянку.

Федор Степанович сдался не сразу. Большой дуван с тысячными тоннами лещей, сигов разбежался, но на холах, в ветряк, можно попробовать взять окуня ботальницами, можно перегородить озеро шестами широкоячейных оханов, в не проглядь осени можно лучить щуку и бить ее зубасто-ко-

лючей острогой. Для малого прибыльного дела нужен какой-либо десяток мужиков. Десяток нашли — и напяли. Не было и малой удачи.

В один из суровых перед заморозками дней, когда озеро внезапно затихло и молча улеглось словно огромное серое выточанное гумно, Вася задал отчаянный рев. Вся флотилия мещеринских лодок снялась от прикола, и ее погнали на сильных веслах приезжие из Заозерья мужики. Перед этим отец долго торговался с покупателями. Наконец ударили по рукам, и мужики полезли в киесы за деньгами. В устьи Звонкой осталась одна лодочка.

— Ах ты, дурашка! — дружелюбно воскликнул отец, подняв Васю на руки. — Тебе же я оставил корабль. Вся эскадра нам теперь не нужна. Мужички-дружки нам пожку подставили. Нам с тобой двоим такой невод не забросить.

Невода долго мочили осенние дожди-надсады. Покупатели не ехали. Неведомый недоброжелатель в ночь растрепал сети, отрезал мотни и тут же, искромсаные, швырнул на песок. Пришлося гсю рыбачку утварь перевезти в Пряжино, чинить, латать, запово перевязывать убытое. Так никому и не сбыли неводов. Дуван лопнул с большим ущербом. Казна Федора Степановича дала сильную трещину.

— Малость, Федя, порыбачили... без толку, — сказала, осуждая затею, бабка Афанасья. — Никого не спросили и... пожглись.

— Ты вдругорядь не опоздай на совет! — рассердился сын. — Тебя б спросили, рыбы из неводов и не перекидать!

— Да уж я б тебе не посоветовала деньги пушшать на ветер! — укоризновала мать. — Ты сторича взялся, с приезду, а третье лето у нас неловучее. Заминки бывают по пять годов. Сети твои годны ныне от куриц хоронить гряды. Огуречные да морковные.

— Нет, — неизвестно морщился сын, — не все ты сочла: ребятам моим пригодятся ловить итючек. Васютка у меня так и ладит в птицеловы. И то сказать: ребенок об огонь

обжигается раз, в другой не полезет. Мужички меня почче подмяли, а может, и мне случится порадоваться...

Обманул дуван. Но у тестя рядом с домом был амбар с зелеными широкими дверями. Освободили его от всякой хозяйственной рухляди, мучные лари по стенам пригодились, наскоро срубили прилавок — и Федор Степанович открыл мелочную лавочку. Анфаловского лавочника небили сажениной вывеской. Затейливый моряк заказал ее в городе. Вывесочный мастер, по фамилии Подыминогин, изобразил на красной жести Кубенское озеро, по бокам его ветряные мельницы, груды конфет и желтых суслеников, озеро же препоясал вдоль и поперек, как детскими свивальниками, белыми надписями:

МЕЛОЧНАЯ И БАКАЛЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ
ФЕДОРА МЕЩЕРИНА

Деревенские посмеялись над вывеской, кой-кто из грамотеев с трудом разобрался в подписи мастера, и прозвище „Подыминогин“ пристало к Мещеринам, как всыхнувший порох к белому лицу.

С открытием приходской иконы Козьмодемьянский молебствовал в амбаре, совместно с дьячком проголосили „новому делу и хояину“ „многая лета“, а пряжинские мужики взяли откупное — четыре ведра водки, перепились и сразу задолжали до урожая.

Своих мужиков — и пряжинских и котловских — задабривали и оказывали им особый почет. Федор Степанович завел толстенную, точно три Библии в разворот, долговую книгу, куда пришлось с самого начала торговли переписать все котловские и пряжинские дворы.

— Эт, пожалуй, половчее дело, — сказал одобрительно теща. — Надобно на конейку спустить все товары, чтобы и анфаловские придут... из экономии.

Спустили. Пришли анфаловские, чебоксарские, пучковцы, леснянские. Семь окружных деревень потянуло на дешевые покупки.

С небольшим через полгода, в храмовой праздник, на зимнего Николу, поп Козьмодемьянский ходил со славой. Поп покропил Мещериных и Вьюрковых походя, а самого Федора Степановича залил святой водой, встряхнув на него, не жалеючи, полное кропило.

— Святую бы троицу нам обновить во храме, — будто советовался с почтенным в его приходе прихожанином предпримчивый старичок-батя, — ризы на пей потускнели. Не то золоченья требуют, не то серебрить надо.

Федор Степанович пошел в явный рост. Святую троицу на мещеринской лошади свезли в Вологду в иконописную мастерскую, промыли, раздели золотым чекапом по полям, закрыли тяжеленными серебряными латами с мутными стразами и китайскими плашками и навесили рукodelные финифтяные нагрудники — щаты на три святых подбородка.

— Заметный мужик! — с полным поощрением распространял направо и налево опытный в полезной лести батюшка. — Такими церкви божьи держатся!

Это уже шла почетная слава о благодетеле. Федор Степанович тщеславно радовался от признания заnim достатков и выделения его во всем приходе. Мещерин надел жилетку, протянул по ней витую, кольцо в кольцо, серебряную цепь, подвесил дареные адмиралом Сепягиным за обучение гардемаринов часы массивной репкой и не выходил ни в лавку, ни на улицу в самые летние жары без пиджака.

— Подымогин! Подымогин! — кричали Вася как нечто оскорбительное деревенские товарищи во время ссор и размолвок.

Мальчик с яростью бросался на обидчиков и маленькими кулачонками, а чаще царапаньем отстаивал неприкосновенность своей родовой фамилии от заслонившего ее отцовского прозвища.

Федор Степанович покраснел и ахнул, когда Вася ляпнул ему:

— Папа, тебя мужики ругают Подымогиным.

На грех. Марьюшка улыбнулась и вдруг неудержимо засмеялась.

— Ты чему же радуешься? — рассвирепел муж. — Вон ребенок, и тот за меня в обиде, а ты — га-га-га-га! Дураки придумали глупое название, а ты в смешки!

Марьюшка насилино сдержалась.

— Убери ты эту несчастную вывеску, — закрывая глаза рукой, сказала жена: — сам себе кличку подсказал. Редко кто новый человек пройдет мимо и не оскалит зубы.

Федор Степанович страдальчески скорчился и закричал:

— Ничего не понимаешь, тетеха! Не видела хорошего! Вывеска самая городская! Первый мастер в Вологде делал!

Затем отец обнял сына и успокаивающе промолвил ему:

— Ты не сердись, мальчик, на прозвище. Наплюнь! Пускай говорят, кому не лень! Не все ли равно, как называют?

Вася не согласился.

— Да-а! — протянул он. — Тебе-то в глаза не говорят — не смеют, а нас с Шуркой дразнят. А какие мы Подыминогины? Мы ходим, как все мальчики. Мы с Шуркой проверяли недавно и тебя, когда ты быстро на мельницу шел. Ты совсем не поднимашь высоко ног. И мама тоже. У нее под платьем и не видать.

В тот вечер родители, отдыхая на кровати, под ситцевым пологом, занимавшим пол-избы, дружно и весело захочотали.

— Ну, ты, Подыминогин, — шутливо прошептала Марьюшка, — отодвинься.

Федор Степанович вскорости разочаровался в замысловатой вывеске, сходил к церковному сторожу, который писал дощечки покойникам на кресты могил, и сговорился с ним о переделке. Подыминогинская вывеска была незаметно снята. На отломанном куске ее с исподу сторож начертил те же самые слова, только без всяких украшений. Казалось, Федор Степанович почувствовал себя прочнее на земле. Но летучее прозвище осталось.

Покуда отец строил и оснащал свою жизнь, рядом с ней, переплетаясь, как кудреватые волосы, отходя в сторону, как две дороги на разноличе, задорным голосенком Вася звенела и шумела другая.

— Не мое ли это чадо кричит в поле! — нежно усмехаясь, шутила Марьушка, сидя с постаревшей и уже замужней подругой Глашкой на лавочке возле амбара. — Просто совсем сбились с ним! Такая растет отчаянная голова! Выдумка за выдумкой. Не знаешь, что и выкинет! Целый день проигрывает. В ум не войдет — где искать. Не то у озера, не то на мельнице... Глядишь, окажется в Котлове. Забежит и в Аифалово. А то отец хватится ввечеру — парня нет. Все домой пришли, а его нет. Кинется Федор, в испуге, прогоняя к озеру. Может, утон мальчишка? Аи, пайдет его в ночном: пасет чужих коней. Страшил за Васюгку, а и любо смотреть, как сорванец летает, будто стрела. Весь в отца-батюшку! Помнишь, дурной был!

Вася возвращался домой лихим удачлом, мчался по лесенке, точно пятеро сразу бежали, врывался с шумом в избу и жадно и много ел, смеялся, рассказывал. Ищо у него, в старых и новых цареницах, загорело, шелушится от солища, глазенки испасытно светятся и улыбаются, костюм разодран и замазан сверх меры.

— На тебе, как на огне горит, — сердился отец, разглядывая полуоторванную штанину. — Как ты это сделал?

Мальчик, не задумываясь, сочинял:

— На нас бросились у озера чьи-то собаки. Мы шли... только бы выскочить из прогончика... Знаешь, папа, там начинаются чебоксарские осоки. У самого огорода. Вдруг как на дорогу выползла змея-гадюка. Ребята наутек...

Шурка слушал с вытаращенными глазами. Вася взглянул на него и подмигнул: не выдавать-де... Небылицы продолжались.

— ...Ребята наутек. А я гадюку — хворостицой. Она ка-ак зашипела, да на меня! Головку на четверть подняла от земли.

Походит на конек у дедушкиной избы... Я змею того пуще
лупить. Она и издохла.

— Я гадюку убил, — вмешался Шурка, — а тебя и близко
не было. Третьего дня кончили, а не сегодня.

— Так это же другая! — возмущено заглушал голос бра-
та выдумщик. — Ту — ты, а эту — я.

Отец недоверчиво и хицро поглядывал на Васю. Мальчик
понимал, но, сделав простодушный вид, с азартом говорил
и даже дергал отца за рукав:

— Только мы, папа, змею на огороде на колышек наса-
дили, пускай высыхает, откуда ни возьмись две больших-
больших собаки! Я в них камнем... Одна меня за штанину
и куснула.

Марьюшка верила всему, волновалась вместе с сыном,
беспокойно вытягивалась, жадно слушала и не могла удер-
жаться:

— А зачем ты, озорник, в собак бросаешь камнями? Они
бы мимо пробежали и тебя не тронули.

Мальчик пренебрежительно повел плечом:

— Да-а, не тронули! Они сами на меня бросились. А мо-
жет, они бешеные? Я так смирно и стой? Я в защиту
себя бросил камень.

Шурка громко захохотал и предательски выкрикнул:

— Не было, не было! Никаких собак не было! Он через
огород прыгал, через две жердочки, да за один колышек
зацепился, штаниной повис, мы еще его снимали. У него
и ляжка в крови. Подорожник прикладывали. Подорожником
и паутинкой кровь останавливали!

Отец насильно осмотрел ногу и сердито спросил:

— Кто тебя научил врать?

Вася надулся, помолчал и с новым оживлением упорство-
вал на своем:

— Шурка известный ябеда. Я с ним пынче с полуден
и не играл вместе. Он ни гадючки, ни собак не видел.
Через огород все прыгали... — Мальчик чуть остановился и

встрепенулся с удвоенной силой: — Я, папа, хотел, как ты, прыгнуть. К бабушке-то мы ходили в Котлово, ты разбежался по лугу и перемахнул огород, сапогами не задел. Здорово высоко было!

Мальчик и лгал, и лстил, и удивлялся, и увлекал слушателей.

Штанину Вася зашили. Но Шурке не проходило даром вероломство.

На другой день, как ни в чем не бывало, братья неслись с ребятишками к озеру. Там было множество игр и развлечений. День начинался прежде всего с купанья в устьи речки Звонкой. Ныряли с разбега головой вниз, — и каждый доставал песок и камешки со дна, — плавали ногами, падали боком, спиной. А то на краешке берега по очереди становился голый, согнувшись мальчик. Выстроившись гуськом почти на полверсты, по сигналу опрометью гнали вперед и прыгали через мальчика прямо в воду.

Тут и расплачивался Шурка. Вася мгновенно подговаривал ребят отомстить брату за вчерашнее. Вася становился в середине гуська. Первая партия скакунов благополучно перепрыгивала Шурку и дожидалась остальных в воде. Вася, стремительно подбежав к брату, сталкивал его с берега. Вразнобой скакали другие, и все сворой кидались на Шурку — топить его.

Кашляя, продирая глаза от песку, хныкая, он с трудом вылезал на сушу.

— Ага! — вопил Вася. — Досталесь! Мы тебя, нечистая сила, к водяному в нору забьем! Попробуй, выдай когда опять папе и маме!

Шурка лез в драку. Братьев разнимали — и заодно обоих швыряли в Звонкую. Это называлось почему-то „опять сунуться“.

Озеро у берегов было мелководным. С подвязанными под горло штанишками и рубахами ребята шарпали под камнями и корягами палимов. Гладкий песок легко пружинил под но-

тами. Незамутимая, прозрачная вода не скрывала ровного золотистого дна. Самоделками-острогами кололи рыбу. На веревочке подвешивали ее в виде людоедского ожерелья на шею. Всякий хвалился своей удачей, подымая в крепко зажатой пятерне особо крупных налинов. На берегу их пекли. Спички и соль хранились в знакомой норке за мещеринским промыслом.

После бурных, ветреных недель, когда дуло с озера, оно выкатывалось из своего ложа на поймы. Рыба застrevала в бочагах. Здесь бродили часами, мутя воду до цвета самой желтой глины. И тогда задыхавшиеся в грязи щуки, лещи, сорожняк и налимы выходили наверх. Рыба поднимала головки, хватая воздух, и прозревала на свету от муты или перевертывалась на спину белым брюшком. Ее свободно поддавали на ладони и смаху вышвыривали на землю, брали руками или убивали палками. Налавливали подолы и приносили в Пряхино отцам и матерям. Мужики так и называли добытчиков:

— Гляди, идут мутные рыболовы!

Медленно, точно с лепивой перевалкой, катится веселое желтое лето. Как будто солнце совсем не спускается в Зазерье и не устает гореть в огромном небесном оконце. Розовая легчайшая ткань дрожит и переливается на западе и востоке. Дни длины, как летний мужицкий труд. Старается солнце, стараются мужики, старается истомленная, разомлевшая загорелая земля.

Зори сходятся. И Вася часто кажется, что он только закрыл глаза — и сразу же раскрыл их. Сна нет. Есть один и тот же нескончаемый золотой, сверкающий, как главы на церкви, летний день.

Вот те же пыльные детские сапожонки на ногах. Где папа и мама — там родина. Пряхино стало родиной. Но бегать босиком ни Вася, ни Шурка не научились. Сапожонки мешают. Их часто, связав за ушки молодой лозой, Вася таскает в руках или подмышкой.

Подозерный песок тепл и мягок для нежных подошв. Скошенная и долгогривая трава лугов и полевых меж и шероховатые дороги остры и колючи. Тут нужно подковать ноги кожей. На песке сапожонки стесняли. Вася часто терял их. Искали всей ребячьей артелью. Иногда находили на другой день. Вася на пальчиках добредал до дому.

Отец и сердился и смеялся:

— Хо-рони! Как знаешь! Новые не куплю! Ходи босой! Ты у меня, пожалуй, скоро штаны оставишь на улице. И штаны другие не велю матери давать!

У озера пустынико и безлюдно в почве точно на дне глубокого омута в лесу. Ребята возвращались затемно. Почью лил дождь. Сапожонки бывали полны воды. В сушь находили по приметам: над потерей кружили чайки.

Ах, эти милые, незабываемые станы белых чаек, словно весь яблоневый цвет сдуло с яблонь в Пряжине и понесло над желтыми отмелями.

Сразу за ними глубокой впадиной лежали кочковатые болота. Там среди кочкарей, в осоках, на усатых полынках, в укромьях чайки клади весенние яйца. Тысячи тысяч. Ребята до времени не мешали вить гнезда.

Вася следил, как прихорашивалась обвитая седеющей травой ямка и постепенно обогревалась. Чайки с унылым писком крутились над болотником белыми стремительными облачками. Так вьет ветер снежную пыль. Так треплет в грозу белёные деревенские холсты на высоких огородах.

Ребята умножали крики чаек и белоснежную пляску их над болотами.

С разных концов вдруг начинали ползти ребята. Что тогда поднималось! Белая процветально-крикливая полоса игиц извивалась над пластинами словно колеблемый смерчем полог.

Вася прижался к земле. Чайки спускались все ниже и ниже. Мальчик слышал, как совсем близко трещали и трещетали сильные и острые крылья. Чайки поровали задеть Васю и отогнать его от гнезда. Черные бусинки глаз, как

круглые пуговки на ботинках, ловили каждое его движение. На голову, на спину мальчику падал теплый белый пухомет.

Вася с криком вскачивал и размахивал руками. Вскакивали все ребята на болоте. Чайки собирались в огромную, тяжелую, как спешная вершина горы, безумолчную стаю.

Гнезд не трогали. Ждали яиц. Чайки пока плакали напрасно. Пестренькие, серенькие яички собирали в картузы жадно, торопливо, словно грибы в лесу. Чайки защищали гнезда беспомощно и неистово. Они пролегали у самых лиц зорятелей, садились им на головы, старались клюнуть в глаза. Ребята накидались и делали свое дело. Зори не всех, через кочку, не трогали гнезд на недоступных островах в осоке.

Яйца были не нужны. Они пахли рыбой. Нересчитав поживу, охотники высыпали их в те же кочки: кто дальние и выше бросит. Чайки опускались над раскиданными яйцами и, подолгу сидя в траве, жалко и жалобно вскрикивали, словно плакали. Мужики не любили этой ребячей забавы и, парвавшись на нее, с бранью гнали охотников от болота.

Но как же оставить озеро и подозерье? Тут проходит самая главная, самая важная жизнь. Вася в увлечении играми терял сапожонки. Но бывало и хуже.

Неверное северное лето вдруг среди полного безоблачья и подуденного зноя надувало губы, хмурилось, откуда-то рывком шалетал ледяной ветер, серело, как мокрый песок, пено, — и солнце оказывалось под толстым стеклом, переставая греть. Надевай шубу!

В один из таких пошатнувшихся от тепла к холоду дней Вася надел черную матросскую шинельку.

И опять припекло. Внезапно лопнула закрывающая солнце мутная пленка, и светлый диск хлынул на землю раскаленным паводком.

Вася спал шинель. Она полежала в одном и в другом месте. Мальчик потаскал ее недолго и забыл.

Погода выровнялась и простояла месяца два жаркая, за-

сушливая, с редкими летними ливнями, с ночными и утренними росами.

Шинелька понадобилась в первое нечастье. Вскоре присели мужики сгнившую выцветшую рухлядь.

— Получай, Федор Степанович, — осторожно сказал мужик, — от шинели остались одни якоря. И те с тусклинкой. Совсем одежду в месок затянуло. Мимо б прошли, да наступили, да враз зашипела и выползла из-под нее гадюка.

Вася отпорол позеленевшие якоря и присоединил их к самодельным игрушкам, оставшимся от Кулакова. От всего матросского обличья мальчика уцелела бескозырка, и та с утраченной лепточкой. Вася стал походить на обычного деревенского мальчика, только чуть понаряднее одетого. Он даже обрадовался такому опрощению.

Незадолго до потери шинели, после большой ссоры с соседским мальчиком, Вася пережил большое волнение. В слезах и ярости, с подбитым глазом, он прибежал домой.

— Нана, — всхлипывая, спросил мальчик, — почему Гришка сказал, что меня ветром надуло?

Федор Степанович резко поднялся и злобно ответил:

— Я вот сейчас пойду к отцу Гришки и скажу ему ласковое слово. Пусть посмеет еще раз его болван произнести это слово! Я ему задам, паршивцу! Негодяи! Без нас шагу не могут шагнуть, а нам же и пакостят.

Вася пристал к матери:

— Правда, мама, меня ветром надуло? Афоня настух говорил мне, кого так зовут. Это когда молодец с молодицей сплюхаются и у них без иона ребята рождаются. А что значит, мама, сплюхаются?

Мать непривычно рассердилась и велела замолчать ему.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — погрозила она. — Разве можно маленьkim об этом разговаривать?

— О чём „об этом“, мама?

— Да обо всем.

— Как обо всем?

— Вот пристал! Чего тебе нужно? Я тебе — мама, на па
тебе — папа. Ты наш законный сын.

— Значит, и незаконные бывают.

— Ну да, бывают.

— А как они бывают?

Мать недовольно отвернулась к окну.

— Убирайся вон! — схватила она сына и вытолкнула его
на улицу. — Услышит отец — до крови запорет. Ишь, раз-
болтался с глупостями!

Отец возвратился взъерошенный и красный. Вася преду-
смотрительно прижался за углом избы и пропустил пану.
Однако мальчик, взглянув на него, сравнил пану с побитым
мужиком, который украл у дедушки на мельнице мешок с
мукой; мужика догнали в прогоне, рвали за волосы и били,
а ему было стыдно, и он то делался розовым, то серым,
как мука.

— Я законный! — гордо крикнул Вася Гришке. — Я всю
подноготную узнал от мамы. Ты слышал звон, да не знаешь,
где он! Мне так бабушка Аграфена сказала.

Гришка был года на три, на четыре постарше Васи.
Гришке уже попало за брань и драку с соседом.

— Окаянщина! — рвался за волосы Гришку отец после
ухода Федора Степановича. — И знаешь, да молчи! Мы у
лавочника в долг, как в шелку, а ты евоиного парнишку
ремизишь! А через ево самого лавочника, стерва! Запорю
вожжами! Охальство какое! Лавочник на твоего отца насы-
дет — и кырк ему! Все мужики у лавочника в кулаке.

Гришка понял угрозу, он не стал снова дразнить Васю
и миролюбиво предложил ему:

— Давай помиримся! Я большие не буду.

Потом Вася еще не раз жаловался отцу на других ребяти-
шек, в ссорах называвших его обидным словом. Мальчик
завидовал Шурке. Того не трогали.

Оп паш! — выкрикнул кто-то однажды. — Он в Пряхи-
не и впервый. Он бабки Аграфены внук, а ты — пришлый!

Потерянная Васей шинель неожиданно сблизила его с ребятами и сравняла с Шуркой, хотя тот благополучно ходил в шинели, лишь без якорей и с обшитыми материей бывшими светлыми пуговицами.

Чтобы отвязаться от настойчивого мальчика, мать с улыбкой сказала ему:

— Плюнь, дурачок, расстраиваться! Тебя папа давно усыновил. Никто не смеет попрекать тебя! И Шурка такой же.

Вася сделал вывод и сообщил важно ребятам:

— Мы с Шуркой сыновленые!

Теперь иногда в драке Васе кричали:

— Сыновленый! Сыновленый!

Но на этот вопль мальчик почти не сердился.

Не счастье удовольствий, которые доставляло озеро. Пусть они повторялись каждый день, но всегда казались новыми.

Все служило пряхинским ребятам: червонные отмели, вода, рыба, звери, лодки, сети, птицы и камни.

Встречали и провожали рыбаков. Замирали с выпущенными восторженными глазами перед грудами серебристой, темной с красинкой, голубой и золотистой рыбы, когда в уловные дни выгружали ее с лодок корзинами.

Огромные широкобокие лещи с тупыми головами, точно полуаршинные пиленные тесины, прикрывали собою мелочь и перемешивались с пежными жирными длиннотелыми сигами, остроносыми, как пешни, щуками, с короткопалыми, подбористыми язями и цветистой плотвой с красноперкой. Ребята стояли тесным кружалом.

— Эй, помощники из краюхи! — приветливо и радостно кричали мужики. — Выбирай любую, кого сколько станет унести!

Ребята скромно выбирали рыбу поменьше.

— Только чур домой, — предупреждали раздобревшие рыбаки, — зря не кидать. На то и дается потачка.

Мужики не жалели рыбных подарков, но не любили возни ребятишек на лодках.

— Не трожь, не трожь, дьяволы! — запрещали они, уходя в деревню. — Счасти перепортите, всю справу... И дыр наделаете неровно. Неровно и опрокинетесь. А хватит ветер, лодки унесет, опустите на тот берег!

Бывало и так. По неделям шарили в Заозерьи в осоках и зеленых плавунах угнанные ветрами пятерики и семерики.

— Вар не отколупывать! Убьем! — грозили мужики уже издалека как последнее напутствие.

Где же утерпеть, чтобы не отвязать лодки от приколов, не помахать веслами и не посостязаться друг с другом в быстроте гонки!

Нужен и липкий и вязучий вар: из него делали блестящие ровные шарики и катали их, как яйца на красную горку, по днищам проходальных, опрокинутых на отмелях лодок. Вар бережно выковыривали из лодочной конопатки, но его нужно было много. И суда давали течи. Мужики матерились на все подозерье.

Веселый ребячий табунок, недоставало только хвостов, убегал по отмели. Случись руготня слабосильного деда или малозлобивого мужика, — всех знали наперечет, — убегая, изображали лягание и даже озорно ржали.

Подальше от всех, на какой-нибудь чисто вымытой и отшлифованной волнами каменной россыпи располагались на сидку.

Вася не сводил очарованных глаз с озера. Все, что там происходило, было глубоко интересно, нужно и значительно.

Тиши. Гигантский, сверкающий серебром и золотыми разводами лист лежал на земле. И тогда на озере пусто. Проползет серединкой пароход и протащит одну-две баржи.

Рыбакам нечего делать в мертвой воде: рыба гуляет, зорко видит невода и не смешает их с водорослями и травами. Сейчас только купаться. Мужики не любили это „безделье“. И на озере — пустыня.

На дальней кромочке, за десять-двадцать-сорок верст, по нагорьям, стоят белые колокольни-шатры, серо-сизые села

и деревни, ветряные мельницы, похожие на присевших зайцев с поднятыми ушами, и забредшие по грудь в воду леса...

Застылый покой редко расколет крик одиночной чайки, и острое крыло ее пробороздит гладь. И тогда след от крыла точно беззвучно и мелко засмеется в солнечных искрах.

Идут беляки. Озеро — как шумная конница. Гремят. Ветер поднял высоко белые завитки грив. Вода несется на Серега мельничными валами. Тысячи огромных круглобоких валов. Небо опустилось низко, как веко над усталым глазом. Озеро похмурело, песня-черно, как вечер перед ненастьем. Небо захватили в полон чайки. Точно их сдувают с берегов, как белый пух цветущих тополей.

Пошли рыбачьи лодки, поставившие паруса словно длинные ресницы. Пароходы тяжело волокут баржи с лесом, с хлебом, с сепом, живорыбки, машины под брезентами, уромы дров и строевика из мелких сплавных речек.

Порой волна закрывает их, как будто и пароход, и баржи, и уромы опустились на дно и ползут там по спокойной дороге. Канат, связывающий баржи с пароходом, обрывается. Рывучий ветер заворачивает баржи против волны, накрепляет... Суда, тянувшиеся гуськом, смешались, топчутся на одном месте, строя нет, их начинает относить в стороны.

— Разбило! Разбило! — кричит Вася. Он весь напряжение, любопытство, страх и жалость.

Ребята жадно и взволнованно вытянулись вперед.

— Сладят али не сладят? — тревожно спрашивает мальчик. — Вот мужикам-баржевикам испуг! Раскидает — и потопит.

Чувства Васи путаны и двухсторонни. Ему хочется победы над злым, разбушевавшимся озером. Мальчика берег дрожь, когда баржи беспомощно ковыляются на волнах, суда ставят на попа и вот сейчас-сейчас разломит напополам... В то же время, зажмурив глаза, он представляет, как самая огромная волна подхватит пароход и баржи, столкнет их вместе, растолчет в щепу или просто покатит с боку на

бок иоперек озера, покуда от них ничего не останется. И на то и на это можно, волнуясь, смотреть часами и потом рассказывать...

— Мне деда Степан говорил, — почти шепотом делится Вася с ребятами, — лет с десяток тому назад в этакую бурю разбило живорыбку. Ее из моря везли. Рыбы разной — нельмушки, стерлядей, нельм — до того в озере не было. Она и расплодилась. За десять годов ее выловили. Накинулись. Она, глупая, не привыкла на новом месте, ее мужики и взяли.

Шурка сказал:

— Живорыбка что!.. Пастух Афоня и почище знает. В Турецкую войну тихвинку с золотом раскатало под Спасо-Каменным монастырем. Никто золота достать только не может. Глубина. Тройные шесты из-под низу вода заворачивает. Ткнут, а шест и всиливает.

Вася напряженно ищет глазами маленький каменный островок с монастырем. В ясную погоду островок плывет по озеру точно стайка пушистых грудастых лебедей. Теперь он совсем скрывается за грядой волн, и только когда они на мгновение отхлынут, вынырнет и покажется навалю звездных маковок и белизной корпусов и стен.

— Я тоже знаю, — торопливо продолжает Шуркин рассказ Вася, — щук ловили по пуду и больше, мохом обросли щуки. Пороли их, а в брюхе у щук золотые монетки. Бочки с золотом как вывалились на дно, на камни, обручи с бочек соскочили, деньги и рассыпались. Щуки, может, все золото проглотили и разнесли по всему озеру.

Вася мечтательно вздохнул.

— Нам бы, ребята, изловить хоть одну такую щучку. Мы бы ее на берег выволокли, от головы до хвоста у нее сажень. Брюхо белое вспучило. Мы щуку тащим по песку, а в брюхе у нее звенит. Пригоршня золота в брюхе...

Чаше разбивало уроци с лесом. Вместе с осклилкой дохлой рыбой разбросанный лес густо плавал у берегов. Его выкапывали на отмели и складывали кострами. Каждый домо-

хозяин-рыбак метил своим неприкосновенным крестом-зарубкой даровую находку.

Тогда ребятам новая забава и развлечение. Все бабье, девичье и старицкое Пряхино бежало к озеру прогоном на сбор леса. Это — как в редкие праздники.

После обеден, от солнцепека до поздней ночи, на отмелях гуляли молодицы и молодцы, анфаловские плясали, чебоксарские тальяннили, девушки-голосуньи запевали хоровую, и разукрашенная пестрым летним ситцем толпа топтала песок, как коровье стадо или лошади в почном. С вечерним похолоданием жгли высокие малиновые костры. Ребята старательно таскали отовсюду дрова для тёплыни.

Вася завистливо поглядывал, как молодцы, согревая девушек, сидели с пими на песке, на кочках, на камнях, крепко прижав к себе девушек или посадив их на колени.

— Давайте, ребята, — предлагал Вася, — и мы посидим в обнимку. И попросим девчонок, чтобы пообщались с нами.

Было чего-то непонятно-стыдно. Ребятишки смущенно толклись около девочек, дергали их за рукава и платья, те отбивались, и ничего похожего не выходило на старших.

Вася многозначительно шептал:

— Нельзя, ребята! Мы маленькие.

У озера праздники — раз-два и обчелся. Но непечатый угол будней. Для рыбаков. Лодки не успевают высыхать от озерной пены и зачернен водой в бурю. Рыбья шелуха шероховато и пахуче облизывает борта. От неводов издали несет острой прелью и гниющей типой. Сломанные лабуньки — подвесы к сетям, как сердца, вырезанные из дерева, глиняная черная гирька с дыркой для продева бечевы устилают рыбачью стоянку.

Вася кажется: мужики так много возятся с рыбой, что начинают сами походить на нее. Вот пухлый дядя Павел Хрящиков — явный брюхач и головач налим. Он даже такой точно неуловимый, юркий, скользкий, налимий. Вон Семен Головиков — остроносая щука. У него всегда оскалены

зубы. Дедку Степана не зря зовут деревенские лешим. То же имя у золотобокого леща. На кряжистого окуня с красными перышками смахивает вдова-рыбачка Марфа Вершипкина. Доподлинный щеголь и красавец, весь в лоске и блеске возмужалый сиг — он же длинноногий Васька Гуляев. И все мужики в рыбьем обличье.

Они же и страшные охотники.

Ребята бегают и кричат возле рыбачьей пристани. Так всегда... И вдруг мужики зашипели, зашикали па них.

— Молчок! — крикнул Васька Гуляев. — Нишкни... Ложись на песок! Веслом отхожу!

Сами мужики присели на корточки, прячутся за лодки и выглядывают оттуда па вечернеющее озеро.

Ребята послушно легли и, не попимая, наблюдали за встревоженными рыбаками. Шурка оказался дальнозорким.

— Лось, — тревожно произнес он.

— Где? — почти ахнул Вася.

Ребячье становье замерло и точно вкопалось в песок. Не различишь.

— Глядите прямо, — шепнул Шурка, — куда мужикиглядят. Плывет с Баниного луга. Прямо держит на Звонкую. Р-ро-га-а-то какие!

Тогда и увидали все петлистый куст, будто подмыло его где-то на берегу, снесло водой и опрокинуло корнями вверху.

Мужики становились все меньше и меньше. Словно они сами собой складывались вдвое, втрое, как боры гармоньи.

Лось приближался к мели. Не доплыв немного до нее, он заметил людей, фыркнул, погрузился глубже, вдоль по воде проверил, не ошибся ли он, и начал поспешно заворачивать обратно.

— Спушай лодки! — завопили, вскочив, и дедка Степан, и Васька Гуляев, и Семен Роловиков, а Марфа Вершипкина и Паша Хрящиков уже гребли и стремительно гнались за лосем.

— Па-а-аш! — радостно воззвал дедка Степан. — Пошел в

глубь. Тут ему и мерло! Косиком дурак убежал бы но мелкому месту! И — не догадался вверь!

Скоро лодки окружили лося. Над ним замелькали шесты.

— Не бей по рогам! — орал Васька Гуляев. — По спине, по заду ладь! Ломай ему круп!

Ребята метались по берегу. Они тоже вооружились подобраными с земли палками и камнями.

Васе не досталось палок. Он смешно держал в обеих руках по черенку лабунек.

Полузабитого лося выгнали на мель. Он коснулся ногами дна. Пошел быстрее. Васька Гуляев вывалился из лодки около самого животного и со всего маху шестом пронзил ему бок. Зверь взревел, зашатался и, как пьяный, замотал головой. Шесты и весла комлями обрушились па него. Лось будто в стропилах для шатра.

— Не бейте, не бейте! — неожиданно заголосил Вася. — Ему больно! Он хороший!

Мужики даже смешались на секунду от этого произительного рева.

— У, сопля! — возмутился дедушка. — Быдто его зарезали, аль гадюка обвилась вокруг ноги! Жарь, молодцы!

Когда лося убили и с трудом выгрузили на берег, Шурка пренебрежительно толкнул брата и насмешливо бросил:

— Плакса! Охотники завсегда лосей бьют! На то и охотники!

Дедка Степан сжал в пятерню плачущую мордочку мальчика.

— Эх ты, жальчивая животинка! — усмехался дед. — Нешто лось стоит слез? Гляди, какое жаркое добыли! Язык проглотишь! Не мы, так другие мужики его б устосали. Поэтому дурень и поплыл поперек озера. От страха. С Башногого луга его согнали. Пальнули, поди. Он и в бега! Не знатьё, не знатьё! — дед засмеялся, подмигнул Шурке и обидно-насмешливым голосом спросил у мальчика: — Да уж не девчонка ли ты у меня, Васенька? Падо посмотреть!

— Баба! Баба! Васька — баба! — дразнили несколько дней ребятишки плачевого товарища.

С Шуркой вышла драка у Васи. Мальчик дрался с такой неудержимой злостью, что обратил старшего брата в бегство и подшиб беглецу ногу камнем. Обыкновенно убегал побежденным Вася.

Лося мужики продали по частям, а сами и не попользовались. О рогах метнули жребий. Выиграла Марфа Вершинкина. Федор Степанович купил у нее рога. Марьушка стала вешать на них чистые полотенца с красными петухами на концах. Вася долго был уверен, что лось продолжает жить на земле.

Лося часто вспоминали. Ребята хорохорились и похвлялись отсутствием у них всякой жалости к нему. По место, где убили зверя, прозвали на веки вечные „Лосевым курганом“

Никогда не жалели волков. Был в Пряхине забулдыга мужик Никита Резвушкин. Жил с бездетной бабой. Она крестьянствовала, он охотился.

— Поди к волчьему пастырю, — говорили мужики ребятишкам, — волков-де опять видели в Горбылевском осиннике.

Никита носил волчью шапку и поставлял такие же шапки на всю деревню. Волков он изводил нещадно. Выслеживал и гонялся за ними без устали и с ружьем, и с капканами, и с травежом.

Горбылевский осинник начинался почти прямо от пряхинских гумениников и пересекал анфаловские и чебоксарские болота у озера.

Волки зимами заходили в деревню. Никита бывал их средь улицы.

Мертвого волка Вася с удовольствием хлестал дедушкиным кнутом.

Никита Резвушкин жил несогласно с мужиками и греко дружил с ребятишками. Как только они подрастили, кончалась и дружба.

С ним-то Вася и Шурка ходили рыть клады в Горбылевский осинник.

— Жил-был в деревне Пряхино, — медленно тянул Никита свою повесть, — богатый-пребогатый прасол...

— А когда он жил-был? — спрашивал Вася.

— Перебивай в конце, — обрывал любознательность мальчика волкодав, — раз жил-был, значит без нас это было. Когда да когда!.. Жил-был в деревне Пряхино, — начинал снова Никита, — богатый-пребогатый прасол. Рыбы в те времена ловилось не по-попешнему. Брали рыбу бабы подолами и пестерками. Вгустую шла рыба к берегу. Сама в уху просилась.

Вася не мог усидеть.

— Разве рыба может сама проситься?

— Может! — вскрикивал Никита. — Рыба все может. Прежние рыбаки чуяли ее голос на любой глубине. Там и невода закидывали, там и мережи ставили. Рыбы столько набиралось, всю снасть уводила. Да что снасть! — отмахивался от кого-то черной, обожженной порохом рукой Никита. — Раз один старичок-рыбачок из Котлова, говорят — твоего роду, Васютка, пррапрадеда еще твоего пращур... О, куда скочили памятью! — лицо Резвушкина и светло, и приветливо, и лукаво сияло. — Так этот, скажем, неведомый котлован ботал рыбку на холах, на уключины ботальницу нацепил, а рыба-то вбок кинулась и ну, и ну трепать лодочонку! Старичок-дурачок обрадел — да за весла. Думает: „К берегу причалию, тут ей, рыбе-то, деваться и некуда“ Аи, и весла от качки потерял. Выбился из силов. Ботальницу было вздумал отвязать и бросить... и не может. Так котлована без памяти встречные мужички и спасли. Лежит он в лодочке пупом кверху, а вода ему до брюха, а кораблик его рыба завела на Банный луг, в осоки.

Ребятишки в оторопи жались друг к другу.

— Нуужто это верно так было? — потрясенно спрашивал Вася, и рот у него оставался открытым.

Никита с хмуростью в бровях косился на мальчика и каким-то приглушенным, с хрипотцой, голосом выводил новые узоры...

— А раз другой пёптиюх, — ронял он щедро выдуманное им слово, — щуку на дорожку поймал. Уперся ногами в кривое поперечное ребро лодочки, весельцем кормовым помахивает, дорожка в зубах... щука-то как хватит за блесну... дорожка взыграла... зубы у рыбака стук-стук — забреинчали, застучали о лодку. Пол-рота у рыбака очистило. Морда у него быдто на бойне была, по губам кровь струит, а на лету сцепа на дорожку. За руку дернуло, едва из плеча не выставило... Осилил. И давай щуку волочь к лодке. Долго ли, коротко ли — приволок. Тут рыбка и показала ему свой крутой прав. Чудо из чудищ — голова как у быка — раскрыло на него пасть и вдруг лишь скажи: „Ай!“ Рыболова всего затрясло... Лодка на рубчике стоит. Сию минуту рыболов в пасть вывалился щуке. И она его заглотнет. Он к топорику потянулся, забрал его, да где бы щуке промеж глаз, а рубанул по дорожке... Отвела! После того заклялся в лодку садиться, рыбу не потреблял, до смерти воды боялся да так и помер.

Вася слушал весь в поту и напряжении, но не поверил Никите.

— Неправда, — усомнился он.

— Чего неправда? Это я-то вру? — крикнул Резвушкин. — А ты отколе знаешь? Кто из нас постарше?

— Щука блесну проглотила, — упорствовал Вася, — мужика ей некуда и глотать. Дорожка мешала...

Никита постучал Васю по лбу, постучал кокотышками по столу и засмеялся:

— Однакой звук!

Волкодав живо повернулся к другим ребятам и, заигрывая, притворился.

— Нуиче Васятика меня сильно сбивает. Лучше разойтися. О кладах опосля. Ты, — язвительно усмехнулся Никита,—

милый человек, мне не ко двору. Без тебя мы побалакаем вольготнее. Ты, Васенька, сиди дома окол бабки Аграфены. Она у вас мастерица вшай ножичком искать в голове. Она тебе волосики почешет. Треснет вошка, значит правда. А мы как придется говорим, — где, может, и так, а где, может, и не так.

Никита обвел ребятишек хитрыми глазками и выкрикнул:

— Любо вам, сказочники, али не любо?

— Л-любо! — сорвались все с места и гаркнули ребята. — О кладах хотим, о кладах!

Багровый от зависти и смущения, Вася не знал, что ему делать, — не то уходить, не то просить прощения у Никиты за недоверие к его рыболовным рассказам.

Выручили ребята, и особенно Шурка.

— Никита Митрич, о кладах! — зашумела детвора. — И Васютка боле не спутает.

— Я не спутаю, — тихоонько и жадно вставил. Вася.

— Он мне на ухо пошептал, Никита Митрич, — приврапул Шурка, — не пикну, говорит, только б дядьку послушать.

Волчий пастырь задумывался и, промедлив достаточное время, чтобы сильнее раззадорить слушателей, а тишина была как в пустой избе, вяло и нехотя подбирал слово к слову...

— ...И вот... прасол энтов скучил всю рыбу в Заозерьи и по сю сторону. Всю Рассею завалил рыбой. Деньги у него — ноне во всей округе столько нет. И деньги все золотые, чеканные, новенькие. Старых не брал. Такой карактерный! Ваське, поди, охота спросить, — усмехнулся Никита, — где энтов прасол жил, да где его изба, да почему избы нет по сей день? Так я вам поведаю, дружки. Прасол-то нашу деревню и основал. Навез откуда-то мужиков. Выстроились. Он на них — рыбачкую лямку. А баб заставил прядсть. И тоже на себя. Его корм, а ихние труды. Так Пряхино, по бабам, и произошло. Сперва хотели назвать Прасолово, да раздумали...

— Ну почему раздумали? — задохнулся Вася.

Все ребята тревожно зашевелились. Никита, не глядя на мальчика, провел у него по губам пальцем и для чего-то прикрыл свои глаза.

Пронесло!

— Раздумали и раздумали, — пробормотал скороговоркой Резвушкин и опять перешел к медленной речи. — Откуда я знаю! Прасол денежки складал в дубовые бочонки. Полный голбец бочонков. У других в голбце картошка, а у него — деньги. На то и купец. И был у него сын мотыга. И стало купцу жалко своего нажитого добра! „Я, грит, его с мира собирал, а он, грит, его по миру опять спустит. Не жалаю!“ И воров купец опасался. Собака у него была кусучая. А раз все ж таки воры стенку подрыли — заговор от собак знали — и один бочонок выкатили. Да влипли: бочонки-то завороженные, открывались одному хозяину. У воров — нетерпежка. Где бы бочонок катить и катить себе по улочке. А ночь. Никто бы и не увидал. А они вздумали его делить. По карманам золото рассовать. Один другого вор боится. Как бы в ночном поле горло не перегрызть из-за бочонка друг дружке?! Обруч сшибли. Золото рассыпалось, а отодрать его от земли не могут. Звон поднялся по деревушке Пряхино. Купец — тут как тут. Из окошка высунулся и собаку на них науськал. „Куси их, Стрелок!“ — крикнул и в ладони хлопнул — это от собачьего заговора — купец-проныра. Воров-то и растрепала собака. А бочонок сам закрылся и в ту же дырку обратно закатился, земелька осипалась, изба пошевелилась — и купец пошел спать. Незадолго до своей смертиныки перевез купец бочонки от мотыги-сына в Горбылевский осинник и зарыл их там. В старых книгах написан купцов наказ: открываются клады бедрливому человеку, кто деньгам цену знает и никому их не отдаст, окромя купца в сороковом колене.

Тут все ребята стали дощыватьться у Никиты, какой-такой купец в сороковом колене.

— А это не иначе, — сказал Никита, — притча о вечных временах. Мне учительша карандашом подсчет сделала. Ежели надобно сороковому купцу передать бочонки, а купцы живут подолгу, годов по семидесяти, по восьмидесяти, — чего им, брюханам, делается! — то выходит боле трех тысяч лет должны денежки по земле катиться кружочками. Я, ребятки, однаже, купца маклакую обойтить! Какой-то там сороковой купец наследник, а мы-то на што, голоштанные мужички? Искать, ребята, искать! И боле никаких! Найдем, — я вас закормлю сусленниками и рожками. Так и быть, поделюсь казной с вами. На каждую гулянку стану выдавать... по четвертаку!

Накануне Иванова дня Вася и Шура ползком выбрались из родительской избы. То же сделали другие искатели кладов. Во главе с Никитой, с лопатами, шепча сорок раз подряд слово „поворырь, поводырь, поводырь...“, трясясь от страха перед предстоящими испытаниями, вступили в Горбылевский осинник. Слово „поворырь“ приказал твердить Никита.

— Так завещано стариками, — учил Резвушкин. — Это от нечистой силы. Она, проклятая, стережет купеческие клады. Чуркой может зашибить, дерево на голову уронит, в землю проглотит...

Горбылевский осинник был ровен, как накатанная дорога: ни горбылька, ни кочки, ни курганчика. Никита чесал затылок.

— Где будем копать-то? — шептали побелевшими губами помощники.

В редком осиннике, достаточно темном и в северную белую ночь, жутко падала роса с листвьев, шуршали невидимые насекомые в траве, где-то какая-то птица встряхивала спросонья крылья.

— Поворырь, поводырь, — настойчиво бормотал Никита. — Искать надо. Сразу не откроется.

Но к нему приставали снова. Из страха, ребята прилипли

к Никите. Каждый норовил держаться за его рубаху, за штанины.

— Поводырь, поводырь... — хрипел Резвушкин. — Не говорите окромя ничего. Все дело спортиш, гады! Отвались от меня. Я ж шагну вам на голову.

Копали в разных бугорках до солнца.

— Звенит? — спрашивал Никита.

— Не звенит.

— Открывается?

— Не открывается.

— Тогда на другое место.

И на другом не звенело и не открывалось.

— Наважденья есть? — шептал Никита.

— Нету.

— А я собачью харю в кусту вижу.

— А-а!.. — заревели во весь голос открыватели кладов и в ужасе, бросив лопаты, повисли на поводыре.

Должно быть, ужас пронял и Никиту. Он бежал первым к опушке и беспрерывно оглядывался. Страх его передавался дико голосившим помощникам.

На свету, на утреннем, еще холодном солнышке в открытом поле Никита остановил бегство.

— Цыц, не выть! — крикнул он, вытирая потный лоб. — Я в шутку прыснул из осинничка, а вы, дурачье, испугались. Садись залоговать оточных трудов.

Отдохнули.

— На следующий год, — убежденно промолвил Никита, — клады возьмем. Я теперь дорогу знаю. Было наважденье мне, значит бочонки тута. Никто их окромя нас не откопал ране. Чур только молчанка. Никому не поведаете?

Перед самым уходом по домам ребята вспомнили о брошенных лопатах. Без них нельзя возвращаться. Никита серчал:

— Пошто кидали? Я вот свою уберег!

Никто не шел в лес. Отдельные смельчаки делали два-

три шага и растерянно поворачивали назад. Или всей ватагой вступали на опушку и врассыпную кидались по лугу.

Никита, покуривая и побаиваясь итти снова в осинник, однако взвесил всю невыгоду своего положения перед мужиками, пересилил себя и собрал ребятишек в кучу.

— Ах, ах, трусишки! — засмеялся деланно он. — Ну, уж ладно, пойдемте вместе за вашими лопатами, а то еще отцы да матери скажут про меня — сомушаю-де ребят на опасные дела. А я и не при чем.

— Мы сами, — подчеркнул Вася подобострастно и внимательно взмотрелся в Никиту, заметив, как у того стучали зубы. — Тебе холодно, Никита Митрич?

Резвушкин поморщился и неприязненно скосил глаза на мальчика.

За лопатами шли с оглядкой. Никита громко барабанил и даже пел. Обратно опять почти бежали.

— Пора, пора! — покрикивал Никита. — Не отставай, ребятишки. Совсем я с вами запарился! Что я вам, нянька: води и выводи вас! Да еще и лопаты подбирай!

В Иванов день была гулянка в Цряхине. Резвушкин проходил с ружьем по деревне.

— Никита, — смеялись мужики отовсюду, — клад-то твой Афоня пастух нашел: кисет ты потерял с перенугу в Горбылевском осиннике!

Никита почему-то ухмылялся победителем, точно он действительно знал какую-то тайну и, может быть, откопал клад.

— Кисет что, — отшучивался охотник, — было б что в кисете.

— Ох, кажись, негусто!

— Считай — не пересчитаешь!

Вслед Никите раздавался довольный гогот мужиков.

Волкодав и кладоискатель пренебрегал мужиками. Но когда вслед за ними начинали вышучивать его ребята, он горько и злобно ругался.

— Пригрел! Змею пригрел! — бесился Никита. — Подползла! Из ружья вышалю! Мене волка скверного человека жалко!

Ребятишки подкрадывались к окнам охотничьей избы и внезапно орали:

Никитай, Никитай,
Ты бочонки выкатай...

Резвушкин высакивал на крыльце. Певцы ирыскали наутек.

— Я вас, сволочи, словлю! — ярился Никита. — Вы у меня посидите на мунике!

После разрыва с кладоискателем Вася при каждой неожиданности смешливо воскликнул:

— Клад!

Звонкое, веселое солнечное лето спадало. На задворках вьюрковской избы в дедушкином саду вызревали яблочки. Чаще стегали землю дожди. Мельницы вертелись не по-летнему, не проставляли дня: дули ветры. Отец привозил мелочевые товары из города на телеге, выкупанной в грязи. Подстригли рожаные поля под корешок; небо темнело галками и воронами. Бабка Афанаасья пришла из Котлова в вязаном шерстяном платке, и у нее покраснели руки от холода. Озерный понеречник от Архангельска затонял отмели. Озеро не знало покоя ни днем, ни ночью. Оно постарело. Седые косямы, как у бабушки на голове, запутались в валах.

Вася смотрел на озеро из окна. Словно у мальчика отняли половину игрушек, и ему было грустно.

— Прихватывает, — чему-то радовалась бабуника Аграфена. — Ионе был первый иней.

Федор Степанович старался жить на городской лад. У городского мерлушечника купил он Васе ягнятину воротник. На шубу, однако, подешевле забрал у Никиты пучок заячьих

шкурок. Пришел деревенский портной и на дому, как пастух Афоня, кортомился, переходя из избы в избу, за харч и кулек плененного сахару обшил Мещериных. На шапку выбрали особо пушистого русака. Шапка с ушами.

В тепле и заячьей холе, в бабушкиной изготочки овечьих варежках, Вася теперь слонялся по деревне. В поле на живые гонял камнями воробьев. Целыми днями гладил дущистую, в осеннем холодном соку, желтую репу.

В бочагах Звонкой на донку таскал последних заглотных окунешек. Рыбешка с наперсток, недалеко ушла от ерша, а крючок брала взаглот.

По главное ребячье становье было у мельниц. Тут дневали и ночевали. С маленькой горки виднее перелег птиц. Тут легко и просто скрыться под подол к мельнице от частых дождей. Под подолом же защита от проносных ветров. И людно и весело здесь. Приезжали на лошадях с мешками анфаловские, чебоксарские, котловские, пряжинские мужики. Лошади ржут и косятся на мельниччины крылья. По скрипучим лесенкам в мельниччины избушки будто сами собой лезут мешки, целая вереница, один толще другого.

Вася смотрит и думает:

„Мужики, как муравьи в куче, карабкаются кверху. Ни ног, ни бороды, ни корпуса у мужиков не видать. Вместо человечьей спины пухлый мешок с зерном. Мужики настоящие только спускаются с лесенок: тогда на волю голова и грудь, а за плечами лежит мешок с теплой от размола мукой“.

Никита вблизи от мельниц шагает в луга. Длинноящий дробовик, как цеп, вздымается над волчьей шапкой.

— Никита Митрич, куда? Приворачивай к нам! — кричит задорно из-под мельницы Вася. — Зачем кол из огорода утащил?

— Кто-о эт? — останавливается, всматриваясь, охотник.

— Волки, — гудят десяток хриплых голосов с зачинщиком Васей.

— Я кола не таскал, — простодушно оправдывается Никита.

— А чего у тебя выше носу подымается? — озорничает Вася.

Резвушкин мгновенно серчает, быстро сворачивает с тропки, подходит вилотную к мельницам, ставит к ноге ружье. Вася уже мышкой стрельцул под другую мельницу и осторожно выглядывает оттуда.

— Это Васька меня дразнит? — спрашивает Никита. — Где он? Выходи! У меня с руки разделка. Давно до него добираюсь, да только случая не было!

Ребята привыкли к Резвушкину и знают цену его безобидным угрозам.

— Журавли! Журавли! — смело появляется Вася из засады и тянет ручонку в направлении облаков. — Снялись за Горбылевским осинником.

— Где, где? — тревожно бормочет Никита и вскидывает свой тяжеленный дробовик наизготовку, забывая о всякой обиде и насмешке.

Долго разглядывают серые облака, смотрят из-под ладони. Никита кладет кулак на кулак, держа ружье подмышкой, но и в узкую дырку кулаков Никиты и в полные глаза ребятишек журавлей не находят.

Вася изучил повадки Резвушкина. Он нарочно и спрягался от него, чтобы интереснее разыграть доверчивого охотника.

— Ей-ей, журавли летели, — упорствует на своем Вася, — дельгий клин. Уж я-то не ошибусь! У меня глаза, бабушка Аграфена говорит, как у кошки: почью булавку вижу.

Вдруг мальчик улыбается с хитринкой на Никиту, все еще разглядывающего с загнутой головой какую-то подозрительную темень в дождливой туче.

— Они, видно, тебя увидали, Никита Митрич, — еле сдерживается от радостного смеха Вася, — испугались и поворотили обратно.

Ребята виржат от удовольствия, а Никита рассеянно твердит:

— Видно, видно! Я на журавлей и собрался

Ревзушкина пугают капли зачинающегося дождя. Охотник куда-то спешит в поле, точно его там нетерпеливо поджидают.

— Журавлей кончу, — говорит Никита на быстром ходу, — туды упадет первая пороша. А по первой пороше мы закатимся на зайчиков. Р-раздолье!

— Никита, вон, вон журавли, онять легят! — орет Вася. — Облака прорвали и вывалились. Наляй из твоей пушки!

Никита, не оборачиваясь, грозит нальцем: не приведешь-де!

Мельницы ребята облюбовали, как сказал пастух Афоня, не в добрый час.

На Покров пряжинские мужики вместе с бабами и девками выехали на озеро. За неделю Васька Гуляев отплыл недалеко от берега: захотел испытать новый парус. Только его поставил — и семерик понесло лучше не надо. Как вдруг лодочка встала будто вкопанная, и ее болтапнуло и туда и сюда, а вокруг поднялся невиданный плеск.

Васька Гуляев ненадолго оробел. По обе стороны судна из темной осенней воды выбросилось несколько матерых, как противни, лещей. Лодка застряла в какой-то рыбьей каше. Васька чувствовал живое трепетание рыбы у бортов и под днищем. Рыба шла густо, невпроворотную, терлась и скреблась о тонкое на воде, будто пузырь, дерево лодки.

Васька Гуляев опрометью кинулся в деревню и кликнул клич:

— На лещевой стан врезался! Скорей, мужики! Лещ заглег у самой пристани, хоть в устье Звонкой выводи сети! Дурём на него нарвался.

Мужики неохотно и недоверчиво раскачивались.

— Не по времени!

— Что-то Василий не в себе...

— Когда это около Покрова леща видали?

— А и был, так ушел. Не станет дожидаться, покуда Васька побежал переобувать сапоги да снаряжать нас.

— Зряшая ходьба. Рыбы в Кубинском мало ль: всю ес не охватишь.

Ваську Гуляева поддержал Степан Вьюрков.

— Мишка, — живо обратился он к горбатому старичине, своему одногодку, наставлявшему глухое ухо поближе к губам Васьки Гуляева, — а помнишь, годов сорок назад, перед зимним Николаем оттепель грязула?

— Ровно бы пять десятков, а не сорок, Степан, — шажнул горбун. — Польшия-то, — просветел от воспоминаний он, — на пять верст образовалась.

— Я то и говорю. Лещ на подводах вывозили. Ваське благодарность за глаз. Молодчина! Соббирайсь живо!

Собрались, как на пожар.

Несвоевременный улов затягивал. Мужики жадничали. В пустой деревне ревел плохо накормленный скот и хлопали ребятишки. За вьюрковской мельницей надзирала бабушка Аграфена. Ей сочувствовал, с озабоченностью в лице, Вася. Как же иначе? Он заменил дедушку. Тот впал в молодецкий азарт. Мельник забыл о годах, не ходил больше трудно, с задышкой по земле, а скакал впереди молодых мужиков. Лещей, казалось, не вычерпать никогда, точно выгружали на берег одну уруму за другой мелкого леса о пяти четвертях.

А тем временем однажды вечерком ребячья безотцовщина под вьюрковской мельницей закурила мох в цыгарках. Покурили и покашляли. Косой дождь намочил землю. Молодой хозяин простучал пожками по лесенке в мельницу избушку, захватил там охапку пакли и подосстал ребятам сухое сидение.

Покурили и заронили. С холodu Вася предовольно отогревался дома, с голоду вкусно уписывал ломоть за ломтем.

Огонь заметили ранние мужики у озера, кончившие со смоляными факелами уборку спастей. Огромное помело полыхавшей мельницы с бешено вертящимися крыльями багровым светом залило оконки задней вьюрковской избы.

— Батюшки! — охнула Аграфена, скатываясь с полатей. — И где же это пожар?

Старуха тут же, у приступка на печку, только глянув вперед, на красное вращающееся чудище, узнала свою мельницу.

— Ой, наша мельница! — с диким криком вбежала Аграфена на дочернюю половину. — Марьушка! Федя! Чго старик-то мне скажет! Не уберегла, окаянная!

Вася успел слегать в заднюю избу и кинулся искать свою шубенку.

— Это мы, — шепнул ему на бегу Шурка, — смотри не винись! Папа за курево убьет!

— Уговоримся со всеми ребятами из пожаре! — дополнил Вася. — Не мы, а прохожий странник заронил. Соврем — видели-де его, такой маленький, кудлатенький, и кос в табаке. При нас нюхал, потому мы ему ничего и не сказали, а без нас, видно, курил. А то и по злобе поджог!

— И пакли мы не видали! — заметал следы Шурка.

— Пакля перво-наперво сгорела! — пренебрежительно бросил Вася. — Ты, догада! Ищи ее в дыму под пебесами! — совсем заважничал мальчик.

— Пожар! Пожар! Горят мельницы! — кричали под окнами и барабанили по ним палками немногие бабы и мужики, оказавшиеся в деревне.

Ветер-косик хлестал, как на испуганных норовистых тройках, от Горбылевского осинника. Ветер подхватил крылья выюрковской мельницы и пустил их будто бегущие колеса с горы. Крылья рассыпали искры и головни на все семь мельниц. Ветер словно поддувалом разнесил жадный лизун-огонь огромными багровыми языками.

И все мельницы занялись, вспыхнули, будто произошло их сразу красным веретеном огня. А потом перегорело и лопнуло отводящее крылья выюрковской мельницы бревно, крылья бешено метнуло в сторону, мельничья избушка накренилась, ее сорвало с места, и все сооружение рух-

нуло на полуобгорелую соседку-мельницу. Та не устояла на ногах и повлекла за собой третью.

Шипящая и палиющая груда сухих бревен, досок, мучные черные тучи далеко отогнали грудки беспомощно суетившихся мужиков и баб с ненужными ведрами.

— Багры! Где багры? — истошно кричал Федор Степанович. — Где пожарные крючья? Какой дурак выстроил мельницы далеко от воды?

Вася глядел на суету отца и шептался с ребятами.

— Шито-крыто! И близко не были. Я и спички выкинул из кармана, чтобы папа не поймал! — уставливался Вася на завтра. — И ты, Шурка, им втолкуй!

Шурка с тревогой оглянулся на близ стоявший народ и дернул Васю за рукав.

— Помалкивай, как ни в чем не бывало, — сказал ему в самый завиток уха. — Накричишь, навертишься, всем на беду! Вон и так мама на нас посматривает исподлобья... Прoverяет.

— Какие тут, Федор Степанович, багры! В уме ты? — степенно говорили старики. — Неприступная крепость! Руки у нас человечьи. Не дотянутся. Да и растаскивать нечего. Все поняло огнем, как водой. Начисто заберет мельницы. Гдей-то и молоть станем после этого бедствия? Под рукой были мельницы.

Степан Вьюрков застал одни угольки от своего старинного строения.

— От так налещились! — горько взрыдал старик.

Он прошлакался, слезливыми глазами обвел народ и уставился на молчаливую согбенную Аграфену.

— Мать, мать, и ка-ак это ты ребят допустила на мельницу? — горько и жалобно спросил он. — От них, от баловников, печаль и раззор!

Вася дрогнул.

— Как это он догадался? — потрясенный, зашептал мальчик брату. — С озера нас не видать!

— Вася, Шурка! — плакаво укорил дедушка. — Наследство свое сожгли! Портки с дедушки сняли!

Вася был дальше не в состоянии молчать.

— Дедушка! — отчаянно крикнул он. — Это странник. Мы мужика с ноготок видели. Пакля у него была за пазухой! И... в ушах пакля... будто от ветру! И спички у него в кармане шевелились! Не иначе он!..

— Странник, странник... — зашептал народ.

На странника и свалили.

— Кожу тебе с задницы спустить, чтоб новая выросла, а не страннику! — сердито сказал отец Вася дома после пожара. — Вьюн и отчаянная башка! Куришь? Дыхни на меня.

Вася охотно дыхнул. Мальчик еще не курил, а только другим зажигал спичку. Шурка уже изредка тянул. Мужики ему давали докуривать мокрый остаток цыгарки. Но испытание выдержал и Шурка. Знали средство прогонять табачный запах: заедали его сухим чаем.

— Я, папа, курить не буду, я буду пить, — словоохотливо повторил отцовские слова наизнанку Вася.

Федор Степанович одновременно и усмехнулся и неприятно поморщился.

— Хорошим делом хвастаешься, болван! — вдруг крикнул разгоряченно отец. — Верхогляд! Чужим умом живешь! Не сметь перениматъ от всех всякое слово, как макака!

Недели две Вася не сходил с пепелища с утра до ночи. Всей ватагой ребятишки выбирали из углей гвозди. Черные от сажи, в измазанных шубенках, с руками точно у старых кузнецлов, они старательно и осторожно выпрямляли на камнях молотками перекалившиеся гвозди, были счастливы от поживы и продавали ее мужикам за свежую и вяленую репу, за яблоки и за капустные кочерыжки.

Теперь ребята грудились возле овинов с гуменниками. Собравшись там в кружок под обмолоченной скирдой, складывали в груду добычу и жадно поглощали ее.

Вася заливчатски говорил:

— А ловко мы, ребята, на мельницах подобычили! И всем мужикам нос! Думай на странника!

С дедушкой сунули овин. И тогда не выдали себя, а дед подъезжал и так и этак.

— Мишутка Четвериков мне, как на духу, открылся, — подкрадывался старик. — Я его еще за правду похвалил. „Прости, говорит, дедушка, боле не будем”.

Вася хитро опустил глаза, а Шурка отвернулся, точно ему захотелось чихнуть от едкой пыли, плававшей в супилке.

— А чего боле не будем, дедушка? — с притворной паинностью спросил Вася. — Мельницы все сгорели. И будем, да не будем.

Дед неловко пошевелился.

— Ну, так... другое строенье... Мало ли... Овины, там... сеновалы... и самая хата, когда она без призору...

— Знаешь, дедушка, — продолжал подсмеиваться внук, — ты про Мишутку Четверикова сбрехнул.

Дед кашлянул.

— Ей-ей, сбрехнул, — настаивал и наступал мальчик, — парень в тот день у мельниц вовсе и не был.

— Был, — вставил Шурка.

— Я не помню, — поправился Вася, — а ежели и был, то без меня.

— Без тебя, — поддержал брат, радуясь, что Вася вывернулся.

Дедушка вздохнул, подумал, рассердился, и ему сразу захотелось наказать неподатливых внучат.

— У вас не выведасиши! — хмуро пробормотал он. — Поди, сковорились заране. Странника подсунули. Баб странником обманывать. Вруны! Не хочу с вами сушить овин. Нечего тут сидеть зря. Вам забава, а мне дело. Только мешаете. Попшли домой!

Ребята мялись, но дедушка был неумолим и настойчив. На улице Вася в ярости предложил Шурке:

— Давай напугаем старого чорта!

Шурка не согласился.

— Так я и без тебя обойдусь!

Мальчик разыскал в темноте большой камень и с размаху швырнул его в гулкую стену овина. Дедушка там глухо закричал. Братья рванули вперед. Но бегу они огляднулись из темноты. Невидимый, но узнаваемый по голосу, дед вышел из сушилки и злобно грозил:

— Озора непутевая, я вот отцу скажу, он вам надерет марфушки, в штаны пакладете!

Куда приятнее было сушить пищий овин Никиты. Туда набралось много ребятишек. Каждый тащил из дома что можно: хлеб, пироги, шаньги, рыбу, картошку...

Мерекал маленький фонарик с радиальными разводами на стеклах, Никита возлежал посередке сушилки на теплом глиняном полу, подперев голову рукой. Ребята понеременно, кто чем, угощали хозяина.

— Я обожаю одну картошку, — отказывался Никита, — картошечки дайте.

Резвушкин чистил зубами сморщенную в золе и обгорелой грязи картошку, разламывал ее рассыпчатое душистое белое тело.

— Вася, — ласково говорил Никита и тянулся к нему с картошкой, — посоли мне яблочко, не жалей. Погуще. Брюху от сольцы не бывает вреда. Солонина доле парного мяса живет.

Аппетитно жевали все.

Горюче-тепло, сухо, глухо. Шакаленный воздух жег и словно румянил лицо. Потрескивала солома, слабо ссыпалась, под потолком что-то чуть-чуть гудело, словно шептались там незримые крошечные особые люди.

— Слыши? — спрашивал Никита, наставляя ухо. — Разговаривают!

— Кто разговаривает? — открывал Вася большие серые глаза с черными длинными, как усики цветов, ресницами.

— А домовой, — просто отвечал Никита, — овиннушко и сушилушко.

Ребята подползали ближе и теснее к Никите. Холодило спины.

— Почем ты знаешь? — уже шептал Вася.

И Никита так же неторопливо и серьезно продолжал:

— А я видел. Лонись я сушил в одиночку. Вздремнул малость. Видно, овиннушко оступился наверху да вниз и сверзился. Я ка-ак встрепенулся ото сна, только один мохнатый хвост и углядел, с крючком таким и с кисточкой. Овиннушку в ржаной споп обернулся. Я этот споник с бережностью закинул в обрат. Так уваженье надобно овиннушку делать. Он добрый и ласковый, кто с ним ласков и добр. Споник я еле-еле в руки взял, он будто сам и улетел к потолку.

— Никита, — в дрожи и оторопи шептал Вася, — он все слышит!

— Это ничего, — светло и таинственно блестел глазами Ревзушкин, — пускай пашу ласку чует. Эй, хозяин! — гаркнул во все горло, пугая ребят, Никита. — Ка-ак у нас там подсыхает зерно? Крошки много?

Вася прижался к боку Ревзушкина и спрятал под руку к нему головенку с шуршащими, подымающимися волосенками. Ребята замерли в немоте и ужасе...

— Молчит, значит все в порядке, — довольно сказал Никита. — Значит и мы любы. А то бы обошелся и по-иному. Старики говорят: кого не одобрит, усыпит ночью да целый спон в рот и запихает.

Вася задумался, как можно в маленький рот засунуть большой спон, но не посмел спросить. Спросил он о другом:

— Никита, овиннушко наши тайные мысли знает?

— Беспременно, — уверенно бросил Никита, — кажинную мысль. К примеру, кто из вас его боится, он посмеивается, кто ругает, он того на зарубку берет, кто к нему с теплым сердцем, тому он готовит удачу. Нечистая сила прозывает-

ся, а поглядеть, хорошие все мужики — черти ошинушки, башушки, сушилушки, водяные и лесные. На ногу им не наступай, они тебя ни шинь не тронут.

Ночь проходила с медлительным раздумьем. Средь ее, в страхе и в тоске, в ожидании всяких случайностей и неблагополучия, в зависти к смелому и запросто с чертями Никите, ребята валились грудой на Резвушкина. Он спал на спине, подложив руки под голову. Фонарь капал на его лицо умирающий свет. Ребятишки включнули, как лоскутое одеяло, покрывали брюхо, ноги, грудь Никиты.

Ясный свет утра, всходивший над миром, освобожденно был по привыкшим к мраку глазам Васи, когда он выскакивал на волю из темной дыры сушки. Лежал на земле бодрый, пушистый, в бахромке белый утренник.

— Ну ее к чорту, эту нечисть! — возмущенно воскликнул и охальничал Вася, радостно глянув на сверкающее доышко солнца. — Думал, вся кожа у меня за ночь пупырышками слезет. Ежели страшно, значит вредные дьяволы. Волка палят из ружья, и домовых следоваст!

Мальчик задумчиво бродил по гумнику, ожидая начала мольбы. Вон уже в белом платочеке, с корзинкой на руке — ранняя кормежка Никите — торопилась его баба.

— А, огольцы! — смеялась здоровая, сильная, упругая, точно хорошо пропеченный каравай, Маша-груздик, как ее звали в Пряхине. — Поди, натерпелись страху? Никита-чудило про леших вам залил лукошко! Ха-ха! Он у меня мастак на побасенки. Слушайте, развесив уши! Ха-ха!.. Никита-а! Лежун! Кор-ми-ись, что ль! А тэ ребятишкам поделю!

Никита высовывал довольную кудлатую, в соломе голову из приземистой дверцы овина и манил крючком пальца Марью.

Та немного смущенно оглядывала ребятишек — и вдруг с нежной лаской не говорила, а шептала сквозь белые зубы:

— Погодите, помощнички, маненько, а потом и мольба!

Ребята слышали, как изнутри к дверям Никита привалил

большой чурбан, лежавший возле порожка, а Марья-груздик о чем-то весело и звонко рассказывала мужу.

Зима и санки. У бабушки в холодной горнице, под потолком, в лукошках подвешены самые поздние осенние яблоки. Горница всегда на запоре. Изредка бабушка вводит туда Васю и Шурку. Горница благоухает, точно сад цветет зимой. Бабушка не досчитывается яблок, осматривает замок, вешает другой и пристально разглядывает внучат, пристально и молча.

Но бывают тягучие обедни у попа Козьмодемьянского: бабушка и мама молятся, а папа стоит за церковным ящиком. Вася высмотрел, куда бабка кладет ключи. Карманов у нее нег ни в стареньком старушечьем сарафане, ни в вытертой, когда-то лисьей шубе с обглоданным от ветхости воротником. Отпирают и берут понемногу, поровну, реже раскладывают ряды, чтобы бабушка не замечала убыли.

Как жаль, что яблоки не растут в лукошках!. Ребята не зевают заглядывать туда. Рано или поздно обман будет замечен. Хочется оттянуть бабушкину брань.

— Я надумал! — пробравшись в горницу, говорит Вася Шурке. — Выкладывай яблоки сперва из одного лукошка. Мы ему дно сделаем толстое. Бабушка чуть-чуть подложила соломы, а мы — наполовину. Поймай нас! Так все лукошки и вычищим. Во всех лукошках одинаково. Бабка — ай, ай, а кто ей поверит, что не она солому клала?! Скажут: „Ну, старая, занамятали, а ребятишек ни за что, ни про что ворят!“

Братаны, прыгая от удовольствия, звонко хохочут и обстранивают свое яблочное хозяйство.

Зима и санки. Почему-то с яблками в карманах хочется удрать за бывшие мельницы, на гору. И там, на стуже, на снегу, в инее яблоки гораздо вкуснее и сладче, чем дома. Да в избе и пельзя: можно уронить на пол семечки и выдать себя.

Кусают медленно, облизываясь, отдуваясь: зноит зубы.

Недоеденную перепончатую серединку с зернышком глубоко втаптывают в снег.

— Бабушка-то, — издевается Вася, — лоб крестит, кланяется, поклоны отбивает, как маятник в больших церковных часах. Молись, молись за час, грешных, старая кочерыжка!

Шурка согласен вместе уплатить яблоки, но несогласен насмешничать над старухой.

— Какой ты, Васька, злой! — осуждает он братишку.

— А ты зато добреный! — петушком скакивает Вася. — Воровать — так обворовываешь бабку, а на словах саар медвич: баба, бабушка, бабушечка, бабусенька!.. Я украл и не каюсь. На кого ей лешего яблоки? Раздавать чужим? В заговенье попу долгогривому целое решето подарила. Где бы нам, а не этому ненасытному. Брюху-то у него га три больших тыквы походит друг на дружке. Он что угодно в мешок запрятает.

Вася вдруг пронзительно засмеялся, обнял было нахолившегося Шурку и сквозь смех, запинаясь, ласково рассказал:

— Я тебе забыл тогда... Под руку не попался. Поп яблочки наши в мешок спустил да в переднюю избу пошел стены кропить. Я из мешка половину, а то и более перекачал к себе в карманы. Поп, поди, попадье дома сказал: „Ну и хитрая Аграфена Вьюркова, решето у неё сильно обманчивое, — должно, с двойным дном“.

Шурка остался и доволен и недоволен. Хорошо обмануть попа, но съесть одному краденые яблоки — совсем не побратски и не по-товарищески.

— Сука ты, — резко сказал Шурка, — сожрал впоптайне, а нынче поддразниваешь! Я тебе тоже не дам, когда придется и мне украсть.

Вася с сапками разбежался, кинулся на них брюхом, покатил с горы и закричал:

— Жди будущего года! А год-то хватит на яблоки неурожайный! А поп-то, может, кропить пойдет из избы в избу с мешком!

Хаживали в горницу, хаживали в отцовскую лавку за леденцами и пряниками.

Санки таскают за собой: они приросли, точно хвост у рыбы. Санки стоят то у одной избы, то у другой, то прыгают вдоль деревни за бегущими сломя голову ребятишками.

Санки не берут на посиденки: там они лишние. Там Вася, забравшись на полати или за трубаки на печку, в дыму от сизого зелья махры, в поту и мле, напряженно смотрит на плетущих кружева принаряженных девок, ловит перемигивания их с молодцами, слушает длинные убаюкивающие, как колыбельные, песни, любуется лихой пляской, старается сотый раз счастье, сколько боров у растягивающейся в плясовой гармони.

Висячая лампа с широким плоским аблажуром, как под поповской шляпой, высоко подтянутая в матице, весь долгий вечер дрожит и покачивается перед глазами Васи.

Мальчик подсматривает, как на улице за углами после посиденок молодцы тискают девок, а те брыкают локтями и сдержанно повизгивают. Вася тискает Шурку. Тот по настояющему лягается, сует брату за пазуху снег и валит Васю в сугроб.

— Дура! — вопит мальчик. — Девки же не так делают. Ты стесняйся и повизгивай!

Федор Степанович, если не спит, встречает совсем нерадушно своих гуляк-первенцев.

— Непаброды, куда по ночам шляетесь?! Рано привыкать повесничать по чужим дворам! Лучше бы помогали дедушке мутник вязать.

Вяжут и мутник. Дед ребячью работу порядком распускает, но лучше три вязальщика, чем один, — у мутника нарастают лишние четверти.

Вася — рукодельник. В метели, когда па улице в опрокидку валятся с неба спекшие горы и окошки в белом плотном непроглядном пуху, мальчик вышивает разноцветными крестиками по канве ворот и грудь только что спитой

ему матерью рубахи. Вася умеет штопать чулки на лобике ложки.

Когда в начале зимы приходят в заднюю избу воинские катальщики и катают валенки. Вася пробует и это ремесло. Отец смеется:

— Учись, учись. Ни одна изука не проходит без пользы. Поносить бы твоей катки валеночки!

В рождественские и крещенские святки Вася выворачивает наизнан свою зачью шубу, а з одно и шапку, прячет лицо в приклейной пос из сахарной толстой бумаги и в подвешенную за уши бороду из очесов бабушкина льна.

По все мальчика узнают, даже Никита. Вася нацепляет на шапку для украшения отметные свои якоря с пинельки, убереженные от потери в игрушках.

Шурка неизнаваем: он, заплетаясь в подоле, бродит в бросовой бабушкиной юбке. Вася и хочется, чтобы ошиблись в нем, чтобы назвали его Петрушкой, Гринуткой, но появившись в девчонкином виде он брезгует.

Над Никитой смеялась вся деревня. Осуждала и смеялась. Никита перешеголял всех ребятишек и мчался конем вдоль улицы, нарядившись чортом с коровьими рогами, с двумя волчьими хвостами, с медвежьей головой, весь в погремушках и колокольцах.

Вася позавидовал. Однако побоялся предстать в виде чорта.

Бабушка перекрестилась и загадочно сказала:

— Так одни мужичок в чорта-то играл, ровно пускесмешка и валявка Никита, да вывороченная щуба к телу и прирюла. Драть-подрать — не отстает. Выпали ать пришлось, как свинью чистят.

— Это нам не по тубе, — насмешливо произнес с улыбающимися глазами отец. — А ну. Вася, риски! Мы тебя тоже, как поросенка, малость поджарим.

— Не рискну, — важно ответил мальчик, — не потому, что бабушке верю, а потому, что на второго чорта в деревне глядеть не станут. Да я и маленький. После большого чорта

Никиты я — чертенок. Я подожду, когда вырасту. И Никита, поди, умрет, опростает место.

На масленой из года в год между Анфаловым и Пряхиным происходила драка. Тут Вася не ждал. Сходились и стар и млад в лощинке под горой, за Анфаловым.

Вася хорошо попадал в своих сверстников мокрыми комьями умятого в ядро снега. Дрались с заедалами. Ребятишки и той и другой деревни начинали перекидку снежком, потом сходились ближе, долго не решались напасть сторона на сторону, наконец валились груда мала. Стремительно на выручку подбегали постарше. За ними, размахивая кулачицами, торопились среднего возраста мужики. Старики — о на нога в могиле — распоряжались.

Бой шел до упаду. Вася гордился расквашенным носом и показывал бабушке на ручонках мускулы. Старуха шарила и беззвучно смеялась:

— Ох, и яйдо же у тебя катается под кожей, будто... из ласточкина гнезда. Эт большая сила!

Вася пренебрежительно оглядывал бабку и, отвернувшись от нее, заметно для одного Шурки изображал гримасами старушечью немощь.

В прощеное воскресенье хлопоты начинались спозаранок. В этот день жгли масленицу. Вася с ватагой пряхинской деревни от двора к двору тащил связанные одна с другой дровни. На них складывали всякую рухлядь: старые, рассохшиеся бочки, кадушки, продырявленные пестерки, ветошь, отрепье; в ином месте откупались от сборщиков дровами, дарили керосин, паклю, лен, солому...

На самом высоком горыле, подальше от деревни, чтобы не занесло ветром пыхучую пожаром искру на соломенные крыши, сооружали огромный костер.

Никита сделал свой охотничий вклад: пивную темнозеленую бутылку набил порохом и закупорил крепкой размоченной пробкой.

В центр костра поставили бочонок. В него вложили бутылку.

Весь дровяной хлам свели под высокую сахарную голову, запорошили ее соломой и закутали просмоленной паклей.

Взошла звезда над Заозерьем — низенькая моргунья, другая повыше — над Анфаловым, повыше и посветлее, и скоро небесный свод засияли, как разноцветный луг.

— Пора зажигать! — нетерпеливо просил Вася.

— Сигналу нет, — шутил дедушка.

Прихино позабыло о разнице в годах — жечь масленицу не пришли только те, кто или не мог ходить или был слеп от старости.

— А какой сигнал?

— Тьма.

Вася подождал.

— Вон, вон запылала! — ему же довелось закричать первому.

Где-то верст за пятнадцать, в Заозерьи вырвался словно из земли багряный клуб и встал столбом, как бы упираясь в нависшее облако. Большие и меньшие столбы поднимались и справа и слева.

— С широкой масленицей, почтенные старички и старушки, мужики бородатые, бабочки румяные, девки — лебедушки красные, и чeledня озоровáя! — гаркнул Никита. — Пых-пеховых!

Никита побежал вприсочку вокруг кострины, плеща из ржавой ведерной жестянки керосином. И... поджег.

Пламя окропило окрестность и заиграло на возбужденных и радостных лицах зригелей. Пошел ор, растянули плясовую тальянки, огромный хоровод, точно тин вокруг древнего городища, охватил красный пожёг.

Топтались и пели до угольков. Сахарная голова оседала, словно подтаивала снизу, расплзлась вширь. Все ждали действия пороховой бутылки.

— Никита, — подзуживали охотника, — порох-то у тебя не из дресвы?

— Из толокна! — огрызался Никита. — А шарахнет толок-

но, бороды па стороны закинет, башку в опрокидку, ножками взыграете!

— Э-хх, падувательство! Веры нет, как нет!

— При-и-дет! Фукинет! Посул взаправдашной!

Бутылку разорвало при всеобщем гвалте. Обугленный, красный бочонок взнесло, как гигантскую пробку, вверх по прямой, и на высоте с него отпринесли лопнувшие обручи, похожие на разбитые колеса, а сам он рухнул золотой шинущей кашей. Костер разметало по горбылю.

Старая деревня скоро поплелась к дому. Молодятня и челядь в перегонки, с разбегу скакала через рассеянные горящие головни почти до потухания масленицы.

Вася насчитал в Заозерьи и по сю сторону сорок костров.

Бам, бам... — слушал мальчик великопостный звон. Поп Козьмодемьянский разблаговестился не па шутку.

На первой неделе мать повела Васю в церковь. Мальчик отнекивался, кривился у клироса, норовил выскочить на улицу, уставал от долгой и тягучей службы.

— Стой прямо, — шептала мать, — а то батюшка не простит грехов.

— У меня никаких грехов нет, — недовольно отвечал мальчик, — я не пью, не курю и с девками не играю.

— Наберется, — не уступала мать. — Ледушку, бабушку огорчаешь? Мельницу сжег?

Этого Вася не ожидал. Он думал, что все давно про мельницу забыли: так она за странником и осталась. Мать, однако, сказала про мельницу совсем миролюбиво, как уже о давно прошлом, походя, к слову. Вася только покраснел, почувствовал минутное раскаяние и решил не оспаривать неожиданный укор.

— Нашу с мамой сердишь? — шептал любимый и добрый голос. — Говорить надо. На следующую зиму в школу пойдешь. — Мать улыбнулась. — Жениться будешь, батюшка не поставит под венец.

Вася довольно фыркнул. На него злыми глазами поглядели старухи.

— Сердятся, — шептал мальчик, — грехи себе и избавляют.

— Молчи, — хмурилась мать, — кто осуждает, тоже не без греха.

Мальчик торопился в Пряхино от скучной и не нужной ему обедни, порывался вперед бегом, мать удерживала.

— Из церкви говельщики ходят степенно, с молитвой, — обучала она сына. — наскакешься, успеешь потом. Как только не устанешь ветром поситься!

Никто мальчику не мог объяснить, почему ион Козьмодемьянский так редко и протяжно, по великолестному звонил.

Непонятно было Васе, что значит „говеть“ и почему он должен говорить.

— Как это так, — интересовался мальчик, — грехи прощать? Ион...

— Не поп, а батюшка, — поправляла мать.

— Ну, батюшка, — соглашался Вася, — такой же человек, старенький, как дедушка, — дедушке нельзя прощать, а попу... батюшке можно?

— Да то он и священник, — втолковывала мать, — ему от бога дана власть.

— От бога? — совсем изумлялся мальчик. — А где он бога видел? Бог, поди, с пьяницами не ведет дружбу. Он с Никитой лучшие подружится: Никита в рот не берет, никого не обижает и всех любит. А... батюшка у нас в петров день графин водки вылакал да дыячка таскал за космы. Помнишь, мама?

Говенье Васе надоело: оно мешало ему весело гулять, мальчика рано будили к утреням, он скучал за эфимонами, перениавчив название вечерней службы в „лимоны“.

— Эфимоны никто не понимает, — рассуждал мальчик, — а лимоны каждый знает. Так бы и прозвали. Кислое, желтое, пьют в чаю. Ей-ей, неподходящее прозвище.

Вася с растерянными чувствами накапуне причащения по-

допшел к попу. Тот закрыл его шероховатым узеньким передником.

— Встань на колени, — шепнул недовольно поп. — Не могли тебя раньше научить родители?

Вася опустился на холодный пол.

— Рассказывай, чем грешен?

Мальчик смешался и решительно забыл все свои грехи. Помолчали исповедальщик и говельщик.

— Отпускаются, отпускаются, разрешаются... узы... узы... — услышал Вася бормотание попа.

Передник поплыл по воздуху, мальчик увидел снова минутно погасший свет. Вася встал. Поп сделал какое-то движение рукой. Мальчик решил, что с ним прощаются, протянул свою ручонку и пожал поповскую.

Уходя в глубь церкви, Вася с недоумением оглянулся: поп вслед ему сдержанию смеялся. Смеялась и мать, дожидавшаяся исповедального череда у задней стекни под большой, в раме, картиной „страшного суда“ мастера Подымилогина, писавшего папину вывеску. Картина эту папа и подарил в церковь.

— Батюшка тебя благословить хотел, — любовно упрекнула мать, — а ты, дурашка, с рукой тянешься. Ох, еще какой глупенький!

Вася, конечно, не прозевал, когда маму позвали к батюшке и тот спрятал ее под передник. Мальчик юркнул за двери и был таков!

— Готово! Отбоярились! С колокольни долой! — крикнул он поджидавшим его ребятам. — Погодите, не уходите. Я выскочил сказать. Вместе пойдем. Вот только мама святости наберется. Мама выйдет, мы от нее и учешем!

Причастье Вася хлебнул не без удовольствия.

— И чего это попы мало дают, — жаловался он Никите, — продавали бы по чайному стакану. Я серебряный гривенник на поповское блюдце положил за маленькую ложечку да тепловой запил — воду вином сторож Пашка разбавил. Вон

папа торгует пряниками. Вешает. А поп бы меркой отмеривал, как целовальник.

Никита любил подтрунивать над попами и всегда прятался от них во время очередных обходов деревни церковными людишками „со славой“ и „со сбором“. Принимала клир Маша-груздик и скучно платила за работу. Поп, зажмурясь, иногда обходил логовище Никиты и понадал к более податливому соседу.

— Эт ты славно понимаешь, Васютка, — одобрял Никита, — попу причастье ничего не стоит. Четверть вина купит... Это такое красное причастное вино... густое, сладкое. Старые просвирики остаются от праздников. Черствеют. В ковшик вина покрошил штучку-другую, воды подольст, — в кабаках тоже всегда водку водой разбавляют, — глядишь — тюрь. Из одной четверти вина да из одной квасни с просвирами пэн выгонит деньжат... хватит ему на целое обзаведение в хозяйстве. Ох, попы знают свое дело тонко и аккуратно! Для чего, думаешь, теплотой причастье запивать? Чего записывать? Нéчего. Не солено и не жарко. А это, братчик ты мой, игрушка. Ты хлебнул причастья, шаг сделал, тебя и остановили: расплачивайся. Тут тебе и столик, и чашечка, и подносик кругленький с подстилкой. Неловко, когда монетки бренчат рядом со святым делом! Того неловчей самому попу карман подставлять — руки-то у попа обе заняты!

Вася терпеть не мог великого поста. Постничали. Варили горох. Суш — только по праздникам. Капуста. Соленые огурцы. Рыжики. На пасху копили сметану и творог. Курицы неслись тоже впрок до красной горки. У мальчика подводило живот. Не зря же Федор Степанович стоял на почетном, Богоугодном месте за церковным ларем!

— Скуснее разговеешься. Потерпи, — отгоняла бабка Васю от дойника с пузырчатым теплым молоком.

Пробавлялся удачами. Случалось подхватить в горле забытую крышку, наскоро выпить ее, холодную, с мелкими льдинками, вспучить барабаном брюхо до тяготы и сказать

на Ваську кота: наблюдал. Скучное, голодное, перевалившееся с ноги на ногу время!

Но один великий пост крепко и болюно запомнился мальчику.

Дед, потеряв мельницу, пристрастился, как в молодости, к рыбалке.

Дед ушел удить на холы в лунках. Подтаивало. А к вечеру разразилась метель.

— Бултыхнется отец сослепу в чужую дырку, — беспокоилась бабушка Аграфена, — мало ли пешими навыковырено их по озеру... и был таков. Чего ему, леншему, не сидится в избе?! Туда же, будто какой настоящий промыслениник, за добычей!

Бабка стояла сгорбившись у окошка в передней избе и напрасно напрягалась что-либо увидеть в белой чертозщине метели.

Мужики приволокли дедушку на двух связанных рыбакских чулках.

— Удар, — сказал Васька Гуллев, — ударом разбило. Быдто языка лишился. Мы это глядим-поглядываем издалека. Чтой-то больно хорошо деда удит... Раз, раз... Завидки взяли. Отошли счастье искать. Ничего. Метелица домой погнала. Тут его и подобрали. Надо быть, простыл. На льду лежал. Получайте лукошко. Фунтов тридцать ершей патаскал старик.

Бабушка причитала над молчаливо и бессмысленно лежавшим дедушкой на лавке. Вася ковырялся в лукошке с замерзшими ершами. Они так же, как деда, выпутили белые глаза и большерото и неподвижно застыли.

— Попа надо, — шепнула заглянувшая проводить Аграфену старуха-соседка, — неровно кончится без отходной.

— И-не кончусь, — вдруг ясным голосом сказал дед, — тратиться зря. З-захолода я... мне б перцовки стакан и... тяпушки!

Перцовки в доме не оказалось. Федор Степанович бесполез-

но бросился искать ее по деревне. Тяпушкой накормили больного.

— Смерть любит толокно с молочком! — радостно восклицала бабушка Аграфена. — Оскоромился в великий пост, гляди! Да ничего, бог простит. Грех я на себя приму. Как не дать? Как не побаловать старика? Только б отошел! Отойдет. Речь открылась — поправится.

Тут Вася поверил, что дедушка выживет.

Дедушку перенесли на постель, завалили его шубами, затопили печь, чтоб к утру простывшего рыболова попарить на горячем иоду и выгнать простуду.

В избе запахло летом: душистыми березовыми вениками. Дедушка даже разобрался во всех этих приготовлениях, улыбнулся и пошутил со стоявшим рядом с постелью Васей:

— З-запомни, мнука, пар да жар костей не ломит... П-печь — она... п-пользительная б-банька...

Почью дедушка, хватаясь за сердце, крикнул:

— Бо... бо... бо...

Вася это уже слышал от рыдавшей над гробом бабушки.

На поминках хлебали уху из последнего дедушкина улова.

Вася жалел деда: он ему меньше всех мешал и досаждал.

— Загнулся, — мрачно сказал Никита. — все загнемся. Отшиби себе память об этом, мальчишка! Твое впереди!

Пасху, несмотря на смерть дедушки, встретили, как и в прошлом году: пили, ели, гуляли и грелись на солнышке.

Вот они, вот они, дни ледохода — не за горами. Скотина пошла в поля. Зеленью глянул кладбищенский чернозем возле могилы дедушки. Суглинок, и тот пророс на буграх и нагорьях.

— Гуси! — цвел, сидя с поджатыми ногами на огороде, Никита. — Милости просим, гости дорогие!

Поздняя весна. Вася в первом ночном.

— Расскажи нам про Кулакова, — просят ребята.

И Вася рассказывает. И будто слушают любимые коняги, обступившие подрагивающий малым огнем костер.

Ночь острая прохладой. Слышно, как жуют кони. Плещется об отмели озеро. Ветер листает Горбылевский осинник. Туман ползет с низин, ноздреватый, густой, точно молочный хохол в дойнике.

— Шурка, посвисти, — просит Вася.

Шурка засовывает в рот два пальца, что-то делает с языком — и пронзительный свист, повторяемый эхом, испугивает лошадей. Они мчатся вскачь. Земля гремит, гудит. Где-то откликаются на гром и гул и свист разбуженные птицы.

Почное мечтательное приволье! Горят глаза, как ласковый теплый огонь костришка.

Но где-то могут в темноте итти конокрады с уздами, с заветными приговорами. Ребята попеременно шмыгают в ночи, с тревогой пересчитывают коней и подгоняют ближе к табуну шальных заброд, иоровавших жевать в одиночку.

Вася пропадает надолго. О нем уже беспокоятся ребята и громко зовут его. Мальчик осторожно подкрадывается к своей кобыле, хватает ее за гриву, подводит к высокой кочке и, прискошив, забирается коню на спину.

— Конокрады! Конокрады! — взбалмошно орет он.

У костра начинается смятение. Оно увеличивается от приближающегося конского топота. Довольный своей проделкой, Вася дико гикает, бьет маленькими каблучонками налитые бока мещеринской кобылы, и она, плеща селезенкой, перескакивает через костер.

— А теперь, пегашка, иди жуй! Заработала! — говорит хозяйски Вася, спрыгнув на землю и лаская конскую морду со вздрагивающими от возбуждения ноздрями.

Ребята гурьбой бросаются на Васю, щекочут его, сминают и катают по земле. Визгливый ребячий клубок неутомим: так часами играют лохмати-дворняжки.

Лето. Озеро. Чайки. Бури. Рыба. Звери и люди. Земля. Вася носит загар на лице. Солнце — золотой лудильщик. Теплы и нежны и хлебны ветра. Все цветет, растет и зреет. Цветет, растет и зреет Вася. Месяц за месяцем движется

ровная, прекрасная жизнь. Все вокруг хорошо и лучезарно.

Вдруг среди зноя, в удушье от предгрозовых часов, откуда-то неведомо напесет дрожащую, холодную струю и напомнит о зиме, о снеге, о санках. Но и тогда так по-летнему пахнет яблоками в лукошках бабушкина горница. Все кажется жизнь как новенькое колесо у телеги! Никита это подтверждает. Кто другой, а Никита не ошибается!

Федор Степанович не согласился и с сыном и с Никитой. Огромная долговая книга была исписана вдоль и поперек: исписать стало негде и нельзя. Лавочник слишком тщеславно погнался за почетным местом церковного старосты, поповил весь закопченный от времени иконостас, кстати починили поповский церковный домишко в два широких, вместительных этажа, а в торговле удали анфаловскому торговцу. Тот давни сидел в своем амбаре, накопил достаточно мошины, опутал мужиков крепко и верно, точно в узел их завязал, и ловко представил ножку новичку.

— От ты прозаписываешь, — сказала Афанасья, когда сын охнул в первый раз. — Мужики у таких лавочников смерть любят брать. Должаются, должны, да над тобой же и в пересмешки. Добра, добра душа, таких и обхаживают. Не по средствам живешь, Федя. Хоть и не мои, а жалко.

Федор Степанович вдруг, как отсек, перестал давать в долг.

От соблазна и книгу под прилавок сунул. Лавка запустowała. Мужики обходили ее стороной, точно в ней не было нужного им товара. Лавочник зря сидел у дверей: одни бесплатные посетители — Вася и Шурка. У дверей стало сидетьстыдно: забрался поглубже.

Федор Степанович пошел по мужицким дворам требовать долги.

— Какие деньги, Федор Степанович! — как будто смущенно принимали мужики нежданого гостя. — С ног сбились, доставаячи на прокорм. Придется обождать. Што зима покажет. Может, объявитя какая рыбешка. Осень по хлебу-то обманет. Недород, ты сам видишь. И так земли мало, и

та не родит. На одну рыбу надежа. Да и та не словлена. Должна, должна подойти к берегам с заморозками!.. Тогда — с нашим почтеньем. Как же, как же... платить...

Не в одном дворе Федору Степановичу приниженно и робко кланялись, совали в обеспечение долга всякое тряпье, последний холст, снимали с подушек кружева. Мещерин брал и печеным и вареным.

В других избах прятались от лавочника.

Федор Степанович действовал через попа Козьмодемьянского, через волостноеправление. Старшина Пегов — сам лавочник и прасол — поддерживал жалобщика.

Мужики-должники несли Мещерину нищий свой скарб, запродаив будущие рыбные уловы, будущие урожаи льна, овса, ржи и картошки.

Вот тут-то анфаловский торгаш и нажал: он развернул свою лавочонку в два разворота, навез в нее всякого тозара, временно пошел на явный убыток, чтобы только добить пряхинского соперника, — и добил.

Вася заметил, как плакала мама тайно от отца и подолгу шепталась с бабушкой Аграфеной. Мальчик подслушал.

— Сбивай его кончать эту дурацкую лавочонку, — сердито советовала бабка, — без штанов на улицу выпустят. От мужиков отстал и к купцам не пристал. Где ему, необученному! Сноровки нет.

Вася был недоволен таким поворотом в своей судьбе.

— Папа, — прямо спросил он, — у нас скоро пряников не будет?

— Каких пряников? — удивился отец, не понимая.

— Бабушка и мама говорят — пора закрывать лавку, а ты вовсе проторгуешься. А мужики смеются и говорят: „Скоро Мещерину банкррут“. Это какой банкррут?

Вася видел, как отец сильно покраснел, потом протянул руку... Дальше мальчик не видел, а чувствовал. Его заворотили вон из лавки, и горячий подзатыльник дал направление к дверям.

— Это вот и называется банкрот! — крикнул отец. — Понял?

В тот день Вася понял, что, как ни был расстроен папа, а все же несчастье его было меньше, чем у пряхинских мужиков.

Получив от отца шлепок, Вася выскочил на улицу, повернулся около крыльца и только тогда заметил в конце деревни, у прогона к озеру, большую толпу народа.

— Не ходи туда, сорванец! — приказала мама, высунувшись в окно. — Там без маленьких обойдется.

Мальчика охватило любопытство. Вася привык всегда поступать наоборот, что бы ни говорили старшие. К тому же вдали он увидел спешившего к месту сходки Шурку.

Крадясь возле изб, чтобы скрыться из глаз мамы, Вася наконец добрался к прогону.

Среди толпы, рядом с легонькой таратаикой, стояли знакомые — урядник Федькин и старшина Негов. Это были редкие гости в Пряхине. Вася сразу же решил, что поэтому с таким любопытством их и окружали деревенские.

По бабы, мужики, молодые и старые, не разберешь ни одного слова, сердито кричали и совсем прижали урядника и старшину к таратаике. Так с гостями не обращаются. Старшина Негов то-и-дело размахивал руками и старался унять крикунов. Урядник Федькин почему-то беспокойно поглядывал по сторонам и хмурился.

Вася понемногу освоился с шумом и стал разбираться в том, о чём вопили мужики. Васька Гуляев, Павел Хрящиков, Семен Головиков вместе с Марфой Вершиной иной и ступали на приезжих.

— Семен Иванович, — колотя себя в грудь, резко, со слезами на глазах, укоряла Марфа старшину, — ты-то ведь должен знать, как мы живем! Не зря тебя в старшины ставили...

— А живем мы вот как, — перебил её тоненьким, визгливым голосом Павел Хрящиков, — вокруг в клетке. От

Анфалова жмут нас земли потомочеков Кожина, с Лесного — земля монастырская, а от чебоксарского ботишка — удельные леса. Что нам остается? Донышко от лукошка.

— Мы в самый хороший урожай, — с гневом закричал, расталкивая мужиков, Васька Гулев, — хлеба собираем до нового года! Земли же от господ да от казны нам осталась одна варежка...

Кто-то из ребятишек оглушительно свистнул. Всё не отстал.

— Уймите, уймите свистунов! — приказал старшина бабам. — Это совсем не дело — мешать челяди сходке! Что такое за светопреставление! С кем говорите — должны понятие иметь! Ответствователь заставлю отцов и матерей!

Мужики и бабы цыкнули на ребят.

— Так сами и посудите, — продолжал, горячясь, Васька Гулев, — как же мужикам изворачиваться? Земли только растянуться, когда смерть придет. Да и с приработком утешенье. С третьего года ловить начали рыбу, а то десять годов был запрет. На большую дорогу, что ль, нам выходить с топорами?

— И выгонют рано или поздно, на свою голову! — вставил осторожно Никита Резвушкин, кроясь за Машу-груздика.

Вася засмеялся на слова Никиты. Мальчик гордился смелостью и находчивостью первого своего друга.

— Кто-о эт произнес такие слова? — важно спросил старшина, подымаясь на цыпочки и отыскивая смельчака в толпе.

— Ево тут нету, — нискинула какая-то баба. — Был, да сплыл. Ты, Семен Иванович, ослыпался.

Толпа легонько засмеялась.

— Не мешайте же, дьяволы! — рассердился Васька Гулев. — Дайте всё выложить и от себя и за всех. Эдак перебивать станете — одна путаница.

Народ унялся и смолк.

— Я и говорю, — покраснев и расстегнув ворот рубахи, го-

ворил Васька Гуляев: — земли горсть, рыбы всё мене и мене, промысла другого никакого — ни взад, ни вперед. В огороде живем. Хлопотали, хлопотали в Уделе нашот расчистки угодий, леса, сенокосов — восьмой год напрасно дождаемся ответа.

— Зажали! Будто волчью облаву нам устроили! Флагов не хватат! — вставил Семен Головиков.

— Да што расчистка! — возопила с остервенением Марфа Вершинкина. — Ленись десяток камней на удельной земле мужики подобрали каменку сделать, пиво варили на праздник, так солдатов да объездчиков, да лесных сторожей с ружьями на деревню посыпали. Ровно бунт вышел!

Пряхинские подняли многоголосый крик.

— Молчать! — возмутился урядник Федькин. — На самом деле бунт! Говори толком! Без глупостей всяких! Каменье ту не при чем! Зачем самовольную порубку в Уделе сделали? Об этом спрашиваем. И не своди нас на окольную дорогу!

Вася сразу вспомнил, как в последнюю неделю, едва темнело, мужики выезжали к чебоксарским болотам и рубили удельный лес. Ребята стерегли на горке и подавали сигналы свистом, когда видели в поле лесников. Мужики замирали и кончали рубку.

— До губернатора дошло, — услыхал Вася неспокойный и угрожающий голос старшины, — беззаконная порубка. Всякой понимает — лес краденой выходит у самого государя императора. За это по головке не погладят. И падобно лесу, а без спросу не бери. Вы эдак начнете, того гляди, пахать и земли чужие!

Вася долго и напряженно наблюдал, как спорили и горячились мужики, как плакали бабы, утирая фартуками глаза, как урядник и старшина постепенно строжали и грозили пряхинским тюрьмой.

— Зачинщики ответят, — раздельно сказал урядник. — А ежели не найдем зачинщиков, всю деревню засудим. Так и знайте!

Пряхинские не выдали. Вася с одобрением услыхал один общий возмущенный грохот:

— Все, все готовы к ответу!

Старшина и урядник поехали ни с чем. Мужики и бабы остались, шумя и волнуясь, у прогона, а целясь быстро перемигнулась, кинулась по задворкам к отводу и раньше гремящей таратайки успела туда.

Старшине и уряднику пришлось низко нагнуть головы. Ребята, прячась в высоком бурьяне,сыпали седоков комьями грязи и мелкой щебенки. Лошадь рванула и понесла таратайку. Вася пустил вдогонку крупным камнем и угодил в плетеную спинку.

— Вольница! Скоты! — донесся хриплый голос старшины Пегова.

Вася возбужденно прибежал домой. Он начал рассказывать папе и маме, как обижают мужиков и старшина сказывать папе и маме, как обижают мужиков и старшина и урядник.

— Я ка-ак ахнул сзади! — показал мальчик свое умение швырять камнями. — Жалко, низко взял, а то бы прямо в голову Федькину али Пегову и...

Вася с удивлением заметил, что папа резко вскочил с места. Мальчик не успел пошевелиться, как папа быстро расстегнул ремень на брюхе и, схватив Васю за шиворот, ударил его вдоль спины.

— Мерзавец! — завопил папа. — Вот тебе! Вот тебе! Скоро мужиков будут драть за дело, а до мужиков — тебе порция горячих!

Вася долго плакал после порки, забравшись в угол задней избы, к бабушке Аграфеи.

— Нишки! — требовала бабушка. — Отец тебя добру учит. Разве мыслемо в начальство кидаться! Да они нас со свету сживут из-за тебя. О! Они такие, батюшка, высокие, до них рукой не достать. Они закон блодут. Наши деревенские — воры и мошенники. Они казенный лес уворовали,

а ты за воров заступаешься. Ты б тогда был парень хороший да с понятием, когда б за начальство стоял да с худыми людьми не знался.

В этот вечер папа, расстроенный и своими делами и поступком Васи, кричал на маму и бабушку. Они сначала плакали. Пришло время спать. Папа продолжал шуметь. Он остался в избе, а мама почевала у бабушки.

— Банкррут, — шептал Вася Шурке, — надо запастися пряников и леденцов.

Братья разыскали старое, бросовое лукошко в горнице, спрятали его на чердак и принялись старательно натаскивать в него сладости. Через день они уже не поделили запасов.

— Ты берешь больше, дрянь, — защемил Шурка, — я горсть, а ты две.

— Так у меня горсть маленькая, — в свою очередь не доверял брату Вася.

Условились по одиночке к лукошку неходить и делить все поровну, счетом. Но ни разу и не поделили. Зачем-то понесло на чердак отца. Он пришел в такую ярость, в какой Вася никогда не видел его.

Отец швырнул заветное лукошко на пол, в бешенстве расплюстал крашеные гостицы, а потом мама, плача, скоблила косарем подошвы отцовских сапог. Сладкое упорно приставало к полу. Тогда, браяясь, папа разулся, вычистил подошвы бритвой, сняв целую пленку кожи.

Всю вину Шурка свалил на Васю, но выдрали обоих.

— Пять сотен всего осталось у папы, — таинственно шепнул Вася брату, когда их после порки отец запер в горнице и приказал сидеть здесь до тех пор, пока он не придет за ними, — папа почью сказал маме. Я не спал и слышал.

Братья сидели долго в столь приятной осеню и по зимам бабушкиной горнице. Теперь она была пуста. В ней нахло совсем несъедобными ситцами и махоркой: табаком от моли засыпали на лето зимнюю одежду.

Братья боролись, тянулись на пальцах, поднимали друг друга корчажкой, играли в стречки и в носки, несколько раз дрались и мирились, попеременно и вместе плакали. И конец они проголодались.

Вася подошел к двери и стал прислушиваться. Стучать он не смел. Дом как вымер.

— Из-за тебя, из-за сволочи, — резко сказал Шурка, — это ты догадался обворовать папину лавку.

Вася не оправдывался и стоял на посту. Внезапно в голове мальчика мелькнула сумасбродная мысль, в которую он крепко и боязливо поверил.

— Знаешь, — прошептал он загадочно, — папа разорился. Никита говорил, что когда люди разоряются, они жгут дома. Не хочет ли папа сжечь дедушкину избу и амбар? Все вышли на улицу... Ночью и подожгут. А нас забыли. И мы сгорим.

Шурка задумался и вдруг засмеялся.

— Ну, теперь я тебя оставлю па всю деревню, — довольно сказал он, — всем ребятам расскажу, как ты струсил и в штаны наступил. Дурак ты! Как же мы сгорим? А па что окошки? Но стеклу раз — и высокочим.

Вася обрадовался находчивости брата и тотчас же предложил устроить побег. Шурка, однако, отказался. Тогда возмущенно крикнул Вася:

— Не я, а ты трус! И хочется — и колется. А я... хоть сейчас по стеклу ударю!

Часа через три, когда ребятишки, хныкая, оба прижались к двери, осторожно скребли ее ноготками и подавали о себе сигналы, они, затаившись, услыхали быстрое приближение к горнице мамы. Щелкнул замок. Мать поспешно сунула вчерашний пирог и крынку молока.

— Папа еще сердится, — вполслуха скрограммой сказала мама, — сидите смирно, пока он вас не позвовет сам. Тише... Идет...

Ключ повернулся. Мать бегом пересекла скрипучий двор.

Близко к полночи, в одном белье, босой, со свечкой в руках, отец широко растворил дверь и недовольно приказал:

— Спать, олухи!

Братья, вбирая головы в плечи, тихохонько прошли мимо отца.

— Завтра с утра обратно в темницу, — изпутствовал папа, — я вас до осени продержу взаперти. Я вас отучу воровать, мерзавцы! Воровать и прятать краденое! У-у-у, скоты безрогие! Хорошенького добра я наплодил!

Член продолжался три дня.

— Мы не будем! — выл Вася, когда после утреннего чая хмурый и неразговорчивый отец вставал и безнадежно произносил:

— Цойдемте, я вас запру.

— Мы не будем! — вторил Шурка.

— Цыц! — кричал папа. — Поздно! Сначала наделали, а потом каяться? Не верю. Я, думаете, не знаю, как вы без меня забирались в лавку и раньше?! Таскали у отца последнее. Не ищищать! Занорю! Голодом заморю! Молчок, молчок!

Братья захлебывались слезами и старались сдержаться. Вася искал выхода.

— Не с того боку подходим, — говорил он Шурке, загораясь злобой, — сам деньги прожил, а на нас кидается зверем. Давай шарнем по окнам да заорем на всю деревню: „Спасите, спасите!“ Шарод сбежится, а мы пожалуемся: гноит в тюрьме, не хотим жить с папой. Ему сделается стыдно, и нас отпустят на улицу. Шурка, уйдем, в отместку, к Никите: он нас, право, возьмет. Будем с Машей-груздиком да с Никитой овин сушить, молотить — и вообще сделаемся ихними детьми.

Шурка пренебрежительно насмехался:

— Иди ты к черту, дурова голова! Так тебе папа деревенских и послушается. Они его обобрали, а он и постыдился мужиков... Папа мужикам враг. А мужики и того больше враги папе. Они, наверное, и нас-то из-за папы за глаза ругают.

На четвертый день отец отвел пленников и запер их особенно сердито. Но скоро они услышали под окнами горницы отцовскую возню с лошадью, скрип телеги...

— В город собирается, — радостно пролепетал Вася и заходил гоголем вокруг недоверчивого Шурки.

Скоро до ушей братьев, однако, донесся наказ отца маме:

— Ты этих воришек без меня не балуй и не выпускай. Я, смотри, за дело наказываю. Жалеть за такую подлость нечего.

Мама сразу же ответила:

— Что я, по-твему, потаковщица воровству?

Ребята прилипли к окну. Отец сумрачно проехал к отводу. Вон он поднялся к бывшим мельницам. Вон он заворотил к поповскому дому на горе и свернул на бэльшак. Мать стояла у палисадника и вместе с сыновьями наблюдала за движением подводы.

— Далеко не убегайте, — притворно грозно сказала мама. — Неровно отец воротится, где я вас найду? Мне из-за вас сымет голову!

Вася уже сломя голову мчался по улице. Шурка едва настигал его.

— Совсем бы не ворочался! — мечтательно, в обиде, бормотал мальчик.

А возвращение отца так и не уследили. Он прибыл раньше рассчитанного времени, бросил телегу у крыльца и торопливо вошел в избу.

Но отец совсем не был сердит. Наоборот, он засмеялся при виде сидящих ребятишек за столом за веселой карточной игрой в „Акульки“ с бабушкой и мамой.

— Я так и знал, — проговорил папа. — Без меня раздолбье. Но будь на дворе дождя, непутевые чада гуляли бы за тридевять земель, как ни в чем не бывало, а мать за оконицу глядела бы — не видать ли отцовской телеги!

Вывеску с мелочной лавки Федор Степанович снял ночью, чтобы никто не видел его хлопот над нею.

— Каюк пряникам, — с жалобой пробурчал Вася брату. — Не свои — сколько хочешь бери, а когда-нибудь попользуемся покупными.

Федора Степановича выручило село Верховажье. Там жили кабатчики и маслоделы купцы Шевелюхины. По дороге в город стояло это торговое шумное село. У Шевелюхиных Федор Степанович закупал для лавки.

В этот приезд, будучи наслышан стороной о купеческих поисках служащих, Федор Степанович явился искать места. И сразу сладили. Мещерин внес половину всех своих денежных остатков в залог Шевелюхиным, и его взяли.

За сорок верст от Пряхина по Кирилловскому тракту возле древнего монастыря стоял шевелюхинский кабак.

Вася конем примчался к Никиге и с порога еще закричал неизменному другу:

— Никита Митрич, а мы из Пряхина уезжаем! В Рябинки. В какие-то Рябинки.

— Знаем, знаем, — печально почему-то ответил Никита.

— Там папа будет целовальником, — возбужденно рассказывал мальчик, наслушавшись разговоров отца с матерью, — там монахи, торговые ряды, ярмарки — Петровская, Благовещенская и Крестовоздвиженская, там только два торговца живут, а остальные проезжие. А колокол в монастыре густой-густой: за двенадцать верст слышно. Папа свиней заведет, огород, корову и собаку — стеречь кабак.

Мальчика увлекал предстоящий переход: и Пряхино жалко, и на новое место хочется...

— Так гостем твоим, Вася, будем, — нежно прозожал мальчика Никита, — беспременно на конскую ярмарку буду. Коня мне не надо, а за порохом и за дробью каждый год езди. Нас там много, охотников, собирается!

Тут для Васи Рябинки стали как будто совсем знакомыми: так это туда, за мельницы и за поповский дом, нагрузив телегу товаром, ездил в прошлую осень отец, он где-то пропадал неделю, и Никиты тоже не было видно.

РЯБИНКИ

После раскаленного июльского дня, когда словно каждый камень был вынут из баний каменки, сохла и свертывалась на нем змейкой случайно занесенная ветром травинка, жар пылал над землей неугасимым солнечным пожаром, — вдруг неведомо откуда прорвалась тончайшая и легчайшая и краткая, как вздох, холодная струя. И сразу взметнулись и закричали галки над монастырем, до того изнеможенно прятавшиеся в садах и под всяким прикрытием колокольни: в замках сквозных пролетов, под карнизами. Одна несгороженная птица задела пересчитанным крылом за веревку ог повесочного колокола, и он несвоевременно и неподожденно бамкнул. Как будто был дан знак о наступающей перемене.

Вася и Шурка, еще несмело заглядывавшие в огромные монастырские ворота, саженях в ста от кабака, тоже заметили предостерегающий знак: отец махал рукой.

— Домой загребает, — недовольно сказал Вася, — рука — как весло.

Федор Степанович показал на небо. Там мгновенно появилась просвечивающая сквозь палящее солнце муть. Она быстро росла.

— Квашня всходит. чорт!.. — с раздражением пробурчал Вася. — Только приехали, дождь лезет... Сиди в заперти. Скоро, по-твоему, Шурка, се пронесет?

Брат уже послушно бежал на отцовский зов. Вася с неприязнью посмотрел ему вслед, не пожелал догонять, а пошел медленно, нога за ногу, криулинами: то ненужно сорвет подорожник и бросит, то поднимет камешек и швырнет в воробья, а то и просто так в деревянную мету, в ярмарочные ряды, пусто и глухо тянувшимся, отступя от большака, длиным строем заколоченных лагок. Федор Степанович энергично попутал его, делая частые движения пальцами.

Собиралась гроза.

Мещерины разложились со своим скарбом в новом жилье. Спертый воздух душил в пизенькой однооконной комнатушке, соединенной стеклянными дверями с обширным многосветным кабаком.

Марьюшка пакетивала на окно белую, с кружевными выемочками, занавеску.

Федор Степанович, точно весь связанный от возни с домашними вещами, потный и усталый, однако в непременном пиджаке, стоял под кабацким входным павесом.

Марьюшка попробовала раздвинуть и задернуть занавеску: все в порядке. Но она слишком спешно вытолкнула створки.

— Мать, бресь! Отдохни! — только успел произнести муж, как первым грозовым вихорьком подхватило створки и с силой захлопнуло их. Окно наполовину рассыпалось старой, зеленоватого стекла, крошкой.

Федор Степанович, как бывало всегда при всякой неаккуратности жены, должен был поднять руготню. Марьюшка не успела испугаться.

— К счастью, матка! — весело крикнул муж. — Бой посуды в первый день! Примета проверенная. Жить нам тут в свое удовольствие.

Вася и Шурка поспели во-время. Топчась на стекле под окном, они старательно помогали матери прикрывать створки.

— Рвите, рвите сапоги больше! — недоволимя собой, бормотала мать. — Мало одного изъяна, другой готовите. Не скачите на стекле: прорежете кожу!

Встречный рывок повторился. Прямо с широкого поля, открытое глазам, упиравшимся в огромное похмуровшее озеро, закручивая в винты с причудливой изрезкой ныль, сено, коленца соломы, понесло животворящей прохладой.

— Скоро будет гроза, — тревожно проговорил Федор Степанович. — Тяга. Заткни дыру чем-нибудь. Могли бы ударить! Справим тогда поселение. На пепелище останемся. Прямо на нас наваливается туча.

Где же светлый и сверкающий, как начищенные медные латы, день, — день исконачаемого мира и покоя, млея солнечного загара? Озерная темносиняя густая хмурь сравнялась с небом, и по нему беспорядочно пошли клубами, точно волны в бурю, суматошливые облака. Тусклота и течер стали над Рябинками.

Небесный бой не замедлил. Рвало в одном конце, рвало в другом, малиновые искры сыпались вокруг монгольских крестов и над флюгерами высоких угловых башен ограды. Земля вся сотрясалась, словно она становилась гигантским непрочным дрожащим зыбуном, колеблемым скачущей конницей. Небо грохотывало от безудержных врывоз. Глохнувшее пушистое разноцветное опахало вдруг показывалось на миг, и где-то по краям туч трепетали острые багровые его крылья.

По деревенской привычке выходить на улицу во время страшных гроз, — в стресении оставаться считалось опасным, — вся мещеринская семья струились на крыльце госте Федора Степановича. Мама ёжилась в шали и, как курица, закрывающая цыплят крыльями, прижала к себе Всю и двух поменьше его сестренок. Шурка звистливо терся около материнского плеча и для чего-то держался за кромку шали. Отец стоял отдельно.

— Свят, свят, свят! — твердила испуганно мама и беспомощно шевелила руками, которые у нее были заняты прикрывающей детей шалью.

Крестился Федор Степанович.

— Свят, свят, свят! — шептал Вся, вслушиваясь в систя-
щее повторение одних и тех же звуков, отдаленно напоми-
навших ему щоканье конских копыт по мокрой дороге.

Мальчику было не по себе от страха, но одновременно он
не прочь был и позабавиться над расстроеными родителями.

— Когда говорят „свят“, — вполголоса спрашивал он
у мамы, — то приключиться ничего не может? Это заговор
от чертей?

Мать предупреждающе толкнула сына локтем.

— Будет повесничать и болтать! — крикнул, рассердясь,
отец. — Вечно глупости! Швырни его, мать, на дорогу. Пус-
кай его подхватит ветер. Наленечет беду, пустомеля! Не кри-
вись! Стой прямо!

Федор Степанович бегло взглянул на свою семью, по-
крытую одной жениной шалью; под нее присев, приспособил-
ся и юркнул тогда уже и Шурка.

— Чего, Марьушка, собрала их в груду? — беспокойно
сказал папа. — Надо пореже стоять.

Мама не согласилась:

— Они жмутся... как же так... Все равно.

Вася осудил отца и не удержался:

— Это для того, папа, чтобы не всех убило молнией?
Чтобы мы или мама остались?

— Ах!.. — раздраженно прошипел отец. Но он не успел
продолжить фразу.

Невероятной силы удар с треском и вереском обрушился
на головы, словно за ним должен был последовать обвал
облаков и всего тяжело нависшего, зловещего пеба, со
всем его непонятным и таинственным устройством. Сестренки
заплакали, Вася утыкался в живот к маме, после того
как отец явственно дрогнул и даже изогнулся, а мама,
забыв о сплюзающей с плеч шали, жадно и крепко старалась
хватить цепляющими руками четверых детей.

— Плотину открыло! — восторженно и облегченно восклик-
нул отец. — О, как захлестал!

Хлынул непроницаемой теплой струей звонкий и светлый ливень.

— Пузыри, пузыри! — оправившись, засмеялся Вася. — Пузыри плывут по дороге. Пройдет — и дождя не будет. Скоро. Совсем скоро!

Опомнился и Шурка.

— Да-а, пузыри! Смотри, воду в канаве поперло, вся в пиявках, носики кверху. Это к нечастью.

В самый проливной дождь, когда стена шумящей и плещущей вокруг воды была действительно плотна и густа, как вал, хлынувший в открытые ворота плотины, где-то рядом произошло нечто странное и неожиданное. В шуме ливня зазвенели чистейшего звука колокольцы, потом как будто с высоты уронили бубен с погремушками, он разливанию шаршикнулся по дороге, вскочил на ребрышко и покатился. Вася показалось, что прямо из озера, будто опрокинутого на дыбы, вырвалась к кабаку мокрая, прилизанная, захлестанная тройка.

— Рябинки! — гаркнул ямщик и осадил смаху лошадей, ноги у них разъезжались на жидкой глине; он свернулся с облучка, схватил за удила коренного и подвел тройку к крыльцу.

На головах пятери седоков, — Вася хотелось засмеяться, — как столешница на ложках у стола, лежал небольшой кожаный раскисший передник. Седоки опрометью выскочили из-под него. Под павесом стало тесно.

— Кабак закрыт? — спросил молодой, в мятой, промоченной, скорее скомканной шляпе.

— Со вчерашнего дня, — ответил Федор Степанович. — Учет. Я принимаю.

— Новый целовальник, — пояснил ямщик.

— А мы земские статистики, — продолжил молодой. — Промокли. Нам водки нужно. Едем в Горицы на обследование.

Вася подумал, что шляпа на молодом была как жеваная, в ямочках стояла вода, протекала на лицо и капала на

землю, когда он неосторожно повертывал голову. Остальные уже сняли кепки и картузы и отряхивали их.

— Не имею прага. Время позднее, — не соглашался отец. — Начну завтра с утра.

Просить начали все наперебой, заигрывали с ребятами, улыбались маме.

— Сделай почин, — предложил ямщик, — у нас рука легкая. Пить у тебя не перепить нашему брату, езди по тракту! Уважь господ студентов! Право, засыпли. Гляди, руки ровно грабли. Такими немного напишешь бумажек! Молодцы все хорошие. Мы никому не разблаговестим: кабак-де нам, и нельзя, да открывали...

Лошади понуро мокли в ливне, жались друг к дружке, соединили морды вместе и, шевеля губами, грызли удила. Вася из-за столба доставал до конских чолок и попеременно гладил по мокрым лбам копей. Они не безразлично принимали эту ласку, порой весьма недовольно мотая головами.

— Э-эх, вычистило, выгладило! — вздыхивал ямщик, шмыгая зорким глазом по тройке. — Ровно из кишki поливало. Щеткой так не смастеришь. Всё на месте. Только брюхо да поясница остужены... Будь же ты посговорчивей, дорогой хозяин целовальничек! Ей-ей, мы тебе за год бочку сорокаведерную выпьем. Не отталкивай выгодного покупателя! Мужик в праздник пьет, а мы завсегда. Сосчитай, сколько в году праздников и сколько будней. Милай, неуступчивой, пожалей!

Ямщик добился своего. Ливень начал давиться, перебиваться, утихать. Водяная стена поредела, отодвинулась от кабака в поле, по бороздам дороги ленивее потекла мутная вода. Гром свалился в даль и урчал где-то в Заозерьи. Там же, погасая в силе вспышек, освещивало. Скоро глянул в туманной сети мелкого дождя озерный клин, раздвинулся, и выкатилось синей пашней все Кубинское. Из дырявых облаков пошел, надолго было закрытый для глаз, свет.

Статистики с ямщиком пробрались в кабак и наскоро, при

свете сальной свечи, стоявшей на прилавке, при плотно закрытых дверях и оконных ставнях, или водку.

— Солнышко, солнышко! — крикнул Вася, бродя с Шуркой по лужам возле кабака. — Кто-о прав? Ты или я? Дождь короткий, и опять вёдро.

Точно обмытое от дешевого пота, труженическое солнце еще раз сегодня показалось на закате. Земля заблестела, засмеялась, поля вздохнули, и теплый пар их дыхания начал, подгорая в закате, низко и плавко куригться.

У монастырских ворот лавочка. До угловой башни в стенах прорублены окна: одноэтажное монашеское жилье. Вася успел разведать: живут тут сапожники, какой-то старец Пафанил, а в башне — лохматый, в рваном подряснике, подхваченном широченным ремнем, садовник Обросов Илья.

Закат искоса обжег скамейку и размазал кровь по окнам. Один заблудший луч проинил кованную в форме закрытого фонаря ламиаду перед надвратной иконой в киоте и как будто вздул погасший от ливня фитиль. Золотая лампада, словно пудовая гиря, медленно покачивалась на цепях. Открылись окна у сапожников и у Ильи. Оттуда высунулись люди. Потом они оказались на скамейке. Вася дернул Шурку за рукав:

— Стрельнем туда! Папа водку продает. Мама самовар ставит. Интересно с монахами посидеть. Гляди, они сюда показывают! Подойдем и спросим: когда ворота запирают? И разговоримся. Им, поди, тоже хочется узнать, кто мы такие да откуда приехали? Папа говорит — все монахи пьяницы. Ровно тут и кабак-то купцы Шевелюхины для монастырских поставили!

К воротам Шурка, оглядываясь, пошел, по насмешливо оспорил брата:

— Знаешь ты! Кабак на всю округу, а главное для ярмарок. И для большой дороги: и пеший и конный глушит водку. Ярмарка без кабака — не ярмарка.

— Приворачивай-ка сюда, младые целовальнички, — не дал

спросить ребятам о запоре ворот лохмач Нил, едва Вася и Шура сравнялись с лавочкой. — Малость познакомимся.

Монахи потеснились.

— Ягоды любите? — неожиданно в упор спросил Нил.

Вася подумал, что садовник хотел их угостить ягодами.

Мальчик с большой приязнью глянул на неуклюжую, косолапую тушу садовника, занявшего почти полскамейки.

— А яблоки?

Соседи Нила игриво усмехались.

— Так вот, щенята, — совсем недоброжелательно и угрожающе продолжил Нил, — было бы вам известно, ежели вы по монастырским садам начнете лазить да воровать ягоды, да околачивать яблони, я вас смертным боем. Мне велено воров уечить. Я посохом по головам луплю...

Ребята почувствовали страх и неловкость от сиденья среди новых знакомых.

— Отец Нил, — сказал седобородый старик с оттопыренным рыхлым животом, натянувшим подрясник, — а я заступлюсь за целовальничков. Видать, ребятки благонравные. Сами не возьмут. В случае чего водочки приволокут склянницу за фрукты. Отец у вас сердитый али добрый?

Вася начал осваиваться.

— Когда как.

— Сам-то пьет? Али только торгуует?

— Бывает — выпивает. Завтра опочинивается в торговле.

— Как завтра? А тройка-то без седоков чего стоит у кабака?

Вася припомнил весь разговор отца со статистиками и хотел скрыть незаконную продажу водки.

— Нет, ты что-то, малец, говоришь не то, не то, не то, — твердил старик, — знакомство начинается со вранья. Раз седоки в кабаке, значит они пьют. В кабаке больше делать нечего.

— Они закусывают и сушатся, — поправился Вася.

Монахи недоверчиво засмеялись.

— Ну, так, так, — говорили попеременно отец Пил, стажник и двое сапожников — Нетр и Навел, как узнал Вася из обращения к ним садовника, — значит новоселы к нам приехали. Хорош грош, да и полушка чего-нибудь стоит!

После того как монахи вы пытали от ребятишек всю подноготную, Вася наконец спросил:

— Вы каждый день на скамейке сидите?

Монахи почему-то опять засмеялись.

— С утра до ночи, — ответил старик-пузан, — вишь, я раздобрел, — все сижу да сижу да брюхо ращу. Только нам и дела. А тебе, видно, на скамейке с нами сидеть понравилось?

— Да.

— Милости просим. Покуда не запрут ворота, мы как присели к скамейке.

— А скоро ворота запрут?

— Скоро.

— А рано их отпирают?

— Да, пораньше кабака. Тебе сон всласть, а нам пора на ноги.

— Вы в церковь служить ходите?

— Служить не служить, а ходим.

— И вам не надоедает?

— Э-эх ты, расспроса! — пощекотал старик Васю при общем одобрении. — Тебе кушать не надоедает? Не-ет! А вот нам так надоедает!

Кто-то начал возиться у ворот. Они заскрипели, загрохотали, лязгнул железный запор. Привратник с ключами выглянулся из калитки и смешливо провозгласил:

— Отцы святые, седуны мирские, а не пора ль вам в опочивальни, по гречным кельям! Поднимите шатруженные телеса и поволоките их за каменную ограду!

Монахи поднялись и простились с ребятами за руку. Руки не подал только отец Пил.

— Степка, — пошутил отец Нафанаил с привратником, —

а мы без тебя двоих мальчиков сделали. Бесспорочное зачатие. Гляди, в сапожках и порточках. Обрядили из пуповины.

Отец Илл, пролезая в калитку, погрозил ребятам пальцем и выкрикнул:

— Запомните мои слова: не видать вам монастырских ягод и яблоков! Убью!

Вася и Шурка довольно понеслись домой.

Засыпая в мезонинной светелке, куда поместили Федор Степанович мальчиков, Вася невнятно сказал:

— Не зря, Шурка, отец Илл про ягоды и про яблоки монастырские наказывал. Должно быть, у них особенные. Надо отведать. Завтра выглядим лазы и в ягоденки. Яблоки еще не спели. Одни кислые падунцы. Яблоки потом, позже. Отец Илл — увалень. Ему нас не догнать. А на скамейку можно и не ходить. Чорт с ней! Тут Илл может схватить. Скамейка и у папы на глазах...

Жизнь в кабаке началась с легкой руки троечников совсем не похожая на пряхинскую. Чем становилось темнее, тем чаще толкались в запертые кабацкие двери посетители, барабанили в окно, кричали не своим голосами. Вася несколько раз просыпался.

Рукодельница мама позаботилась о прохладном детском спанье. В оба окошка мезонинной светелки — туда не забраться ворам без лестницы — она вставила кисейные сетки, натянутые на деревянные легонькие подрамники. Светелку приятно продувало. Но ту сторону сетки пищали ночные комары, летала всякая мошкова, обсыпала белое и не могла проникнуть внутрь. Но зато Вася слышал все голоса, словно они шли из-под кровати.

Какой-то человек недовольно жаловался:

— Эй, целовальник! Очкнись! Мыслимое ли дело, вторые сутки кабак на запоре? Мне водка от пореза нужна. У меня баба на житово ходила да серпом ногу поранила. Будь милостив! Я с задку буди зайду! Возьми в тридорога, только дай четверть!

Приходили мужики под разными предлогами. Люди сначала шептали, потом говорили громче и наконец, в отчаянии от несущестивости папы, шумели и даже грозили ему.

— Ты с ума сошел, — сонным, охрипшим голосом упрекал отец, — в чужую квартиру лезешь. Ветошь в бигос стекло вставлена, думаешь, для того, чтобы легче тебе было людей будить? Заткни дыру, а то вот я выйду — и тогда по-другому разговор погедем.

Вася с любопытством приподнимался на локте и старался через сетку заглянуть сверху. Выставить подрамник — много возни, застучишь, папа поймет и, пожалуй, в наказание заставит спать с собой, внизу. Пришлось в уголку немножко прорвать сетку, как раз только для одного глаза, и пальцем можно держать кисейный лохмоток.

Мужик вертел в пятерне ватный кус старого стеганого одеяла, затягивал исполнение требования отца и не затаил дыру, а виновато и жалко просил:

— Долго ль тебе два шага в кабак сделать? Их вот деньги. И сунь мне бутылку в прорешку. Ровно парочно она соблазняет. Прости, друг, что я тебя, может, от супруги оторвал, а уж такая у меня приключилась срочность. Кум из-за тридевять земель с военной службы прибыл, блины печем, лишился жарим. Водки не хватат. И нехорошо ночью баловаться, а деньком хозяйство всего берет, некогда, люди осудят.

Вася видел, как папа просовывал в выбитое стекло белую руку.

— Давай тряпку!

Мужик неохотно уступал ее.

— Не уйду! — настаивал он.

— Стой, сколько влезет! — сердился отец. — Отгоняй от кабака комаров. Пускай они у тебя в бороде, у дурака, гнездо вьют.

— Сам не усну и тебе спать не дам. Умолю! — не уступал проситель. — Разе мысленно постоянного покупателя не уважить. Ты, брат, новенький. Не знаешь. Прежний кабатчик

с народом жил в ладу. В полночь и за полночь отпушшил. И не надбавлял за ночную продажу. Давай скорее... как тебя по имени и по батюшке величают... прости... не узан ты покедова...

— Федя, — вслушался Вася в материнский из глущины голос, — отвяжись. Сон, дьявол, прогонит, так до утра и проповедимся. Видишь, неогвязнай клячишка!

Все затихло. Мужик с опущенной головой так замер на месте, точно боялся пошевелиться. В приготовленной руке он держал медяки.

— Давай деньги, — вдруг сказал отец, — в первый и в последний раз отпускаю. Так и деревенским скажи. Я за день тоже намаялся. Сон у меня не продажный. Ходите во-время. Часы знаешь.

Опять молчание. Мужик нетерпеливо глотал слюну и усмехался в одиночестве. Вася так и хотелось крикнуть во все горло и предупредить папу не отпускать мужику водку. Пастойчивый человек явно насмехался над отцом: подмигивал на разбитое окошко и молчаливо с издевкой скалил зубы.

— Получай! — грубо сунул бутылку папа, и водка забулькала в посуде.

Вася поймал недоверчивый взгляд мужика, осторожно и жадно схватившего обеими руками бутылку.

— Т-так... и за печатью? — с большим удивлением вырвалось у мужика, и он быстро ощупал красную головку горлышка. — Благодарим покорно! Х-хороший человек!

Утром Вася спросил у мамы:

— Почему мужик хвалил папу за целую головку у бутылки?
Мама засмеялась.

— Мужик думал, что папа ему воды подольет в бутылку. Не целую дасть, а нацедит меркой.

— Это из-за темноты?

— Ну да. Ночью никто не видит. Мужик на улице. Делай, что хочешь.

Вася с гордостью рассказал на монастырской скамейке

старцу Пафанаилу о поступке отца. Толстяк, однако, проявил неожиданное равнодушие:

— Это оп, парнишка, с непривычки. Для начала торговли. Да и где тут в одних штанах да в рубахе да в ночную пору возиться! Подрастешь ты — тебя же заставит воду ему пить. Ведрами будете разбавлять бочки.

Вася неловко отодвинулся от Пафанаила и покраснел, точно мальчика поймали в воровстве.

— Я твоего отца не хулю, — всмотревшись в Васю, сказал старец. — Все кабатчики водой торгуют вперемежку с водкой. Спасибо скажешь, ежели водки больше. Другой не рассчитает, да и пересолит. Ровно бы от стакана сивухой пахнет, а на языке горечи нимало. Ты пробовал водку?

Вася в нерешительности раздумывал — сказать или не сказать.

— Пробовал, — тихонько и трудно шепнул он. — Я капельку после папы из рюмки допил.

Старец Пафанаил с довольным лицом одобрил мальчика:

— Молодец. Не соврал. Знаешь настоящий вкус. Себе-то отец твой воды не станет лить.

После этого разговора вскоре под вечерок около кабака остановились три подводы с сорокаведерными бочками. Двери кабака на два раствора широко распахнулись. Всё держал одно полотнище, Шурка — другое. Возчики и папа с мамой долго и осторожно вкатывали бочки по широкому толстому настилу из трех сколоченных вместе досок. Драги стояли у самого крыльца. Бочки, скрипя обручами, тяжело давя пол, едва влезли в кабак. Одна сочилась. Папа осмотрел течь, ковырнул ногтем промокшее место, посмотрел на смирно притихших возчиков и начал их ругать:

— Вы что же, сволочи, больно дыру большую провортели?

— Где? Что ты, запарился? — нахально закричали мужики. — Мы за разбитую бочку отвечаем, а за деревянный изъян пускай хозяин ответит. Мы возчики, а не бондари. Каждую дадут, такую и везем, хоть бы вся она вытекла.

Отец наклонился над течью и тем же недовольным голосом сказал:

— И украсть не сумели, как следовало. Вон и соломинка торчит в дырке. Это что? Не усик? Не трубочка соломинки?

Папа раздраженно совал попеременно каждому возчику под нос шелушинку от соломы.

— Принимай полной мерой! — кричали мужики. — Двадцать годов возим, такой напраслины не слыхали. Чудак-рыбак, сразу новичка видать в сурьезном деле. Качни любую бочку, живо поймешь — целая али ополовиненная.

Возчики принялись трясти бочки и катать их по полу.

— Чуешь? Не плеснет. Водка до втулки. Отпей мы, она бы заходила по кругу, ровно широкие штаны обвиваются вокруг тонкой ноги. К лешему такие разговорчики!

Горячился и папа:

— Я вас проверю! Я Шевелюхину из своего кармана тоже не горазд стараться! Вы украл, а я за краденое плати! Не беру бочки!

Возчики с криком пошли из кабака и начали собираться в отъезд. Вася подглядывал и подслушивал.

— Надо сладить с чертом! — услышал он. — Без накладной куда же денешься?

Возчики дальше щептались так тихо, что мальчик мог заметить только шевелившиеся губы.

— Последнее слово твое? — спросил один возчик, входя снова в кабак. — А то и без него уедем.

Отец стоял за стойкой, спиной к мужику, и разглядывал стену за стеклами с бутылками, полубутылками, сотками и двухсотками наливок, бальзама и вин.

— Слышишь, Федор Степанович? — давясь, затихая, добивался ответа мужик.

Отец, не оборачиваясь, бросил:

— Сколько выпили?

— Нисколько.

— Ведро, полведра, четверть?

В кабак вошли остальные возчики.

— Ну же, говорите, жулье! — с проходящей злостью воскликнул папа. — Нечего чесать в затылках. Я же должен знать, какую мне экономию надо делать?

Тогда возчики обрадованно и миролюбиво покашляли.

— Бутылки три, — сознался один, — может, меньше. В соломинку она крепче — и в голову ударяет и в носшибает.

— Вдругорядь, — улыбнулся папа, — не трогайте бочек. Я вам сам лучше поднесу. Досыта. А то меры не знаю. И опростоволосюсь.

Возчики быстро перешли от бранни к дружелюбию.

— Э, да катай безо всякого! — уже обучали они молодого деловальника. — Мы тебе доставили водку на праздник. Храмовое успен'е в Осипнике, в Пешкине и Загорном. В канун все бочки разольешь. Мужики под осень, с урожаем, берут вёдрами. Никудышний, и тот полведра тащит. А четверть — вдова-бобылка. Акцизного мы обогнали верст за сорок отсeda. Он с объезда по эту сторону в Заозерье правится. Под хмельком катит.

Возчики и папа весело засмеялись.

— Жарь только чистую холодянку, — подмаргивал самый старый возчик, — в убытке от наших трех бутылок не останешься. Холодянка — она лучше в спирту прививается. Теплая скус отбивает и опахнет тинкой.

Вася был рад примирению, но и очень удивлен, что после бранни возчиков кормили на кухне, поили чаем и в обратную дорогу папа дал им по бутылке.

— Будь, Федор Степанович, в надежде, — благодарили возчики, уезжая, — завсегда во-время станем доставлять тебе водку. Мы колесо рубим тому деловальнику, с кем сладу нет.

Папа, проводив мужиков, сказал с усмешкой маме:

— Ничего ребята, подружились теперь, не подведут. А то ведь, негодяи, так делают. Сердиты ежели, верст за пятнадцать от кабака нарочно вкатятся в грязь до трубиц, колесо

и пополам... Засели... Смотришь, где бы водку занести на праздник, Шевелюхин в спокое, а водка прибыла после праздника. Ноймай их! Придется откупаться. В согласе — не будут и бочки вертеть шильями и штофорами. Опытные старички сами через соломинку тянут, да еще и мужикам по дороге продают. Может, стервецы, и воду знают, как впустить. Вода на воду — может получиться нехорошо.

Старец Нафанаил оказался прав.

На другой день отец с мамой на подложенных круглых катках полную бочку вдвинули в проход из-за стойки, папа вышиб втулку, вставил вместо нее железный насос, надел длинную трубу на рыльце насоса и загнутый конец трубы опустил в дырку постоянной лубовой бочки, стоявшей за стойкой.

Начали качать. Водка забулькала и с говорливой песней зазвенела в трубе. Вася потрогал отпотевшую жесть: она была холодна, как зимой железо на морозе.

До того за полчаса папа несколько раз ходил на речку Студенец за торговыми монастырскими рядами и двумя ведрами носил воду. Стеклянные двери в кабак с задернутой занавеской были заперты. Вася понял, куда исчезала приносимая отцом вода. Ребят впустили в кабак, когда папе понадобилось ведра поставить на кухню.

— Знаешь, Шурка, — многозначительно шепнул Вася брату, — а ведь старец Нафанаил хотя и прогнивший жирный мешок, а человек он очень умный. Папу он в глаза не видел, а сказал про него — все кабатчики одинаковы, водку водой разбавляют. Папа одинаковый.

Шепот поняла мама, оказавшаяся рядом за печкой.

— Дурачок,тише, — пригрозила и предостерегла она, — разве можно так говорить про отца? Он для вас старается. Это вам на новые рубахи к празднику и на гостинцы и на всё. Смотри, не болтай нигде. Шныришь, баловник, и подсматриваешь! Стыдно! Во все сунь свой нос, куда тебя и не спрашивают!

Беспокойны ночи в кабаке. Как почная стукотня началась с первой, так и продолжалась всяющую следующую.

В Пряхине тишина, как зимой в голбце, тишина и тьма. Редкий петух. Лайнул пес. Где-то скрипнули ворота. Квакнула лягушка. Тугое яблоко упало с ветки в дедушкином саду, зашелестев листьями яблони. Мыкнула корова, и проплеяла овца. Пряхино спит. В нем и днем тишина.

Рябинки на большаке. „Дон-дон-диллоон...“ Как будто колокольчик, подвешенный к телеграфным линиям, пересекивает через частые столбы, то падающий с клекотом на землю, то возносясь ввысь. Это бегут с горы на гору, в лощинки и овраги почтовые пары и тройки. Трещат россыпью мосты под быстрыми колесами. Щелкает хлопушкой и свистит, как ветер в трубе, плеть. Волокут усталые шаги почные пешеходы. Скрипит в гулкой пустоте полей мужицкий тележный обоз.

На большаке только почное заташье. Неугомонный монастырский страж отбивает часы. Шумит день и ночь монастырская плотина: как не выпечет вся вода из калиусьевского желобка Студенца! Озеро дальше, чем от Пряхина, глупше, по какие-то особые редкие перекаты воли слышнее. Волна, повторенная эхом. И эти стукотливые, хрюклогорлые мужики за водкой! Они бродят вокруг кабака, скребутся в двери, шарят в окна, бренчат пальцем в стекло.

Вася привыкал недели две и научился не просыпаться в почные побудки. И он перестал считать дни, проведенные в Рябиках.

Линная-длинная нитка без узелков гаматывалась на жужжащее верстено. Вася только утром рассказали однажды, как в кабак лезли воры, папа палил из пугача, выскочил с пугачом и сувесистой березовой скалкой для перекатки бочек, насыпал на воров; двое убежали, а третьему он скалкой отколотил ноги, и тот едва уполз.

Вася показали оторванные ставни в кабаке: пришлось поверить. Было жалко, что он не участвовал в усмирении

воров, по ничего не поделаешь: сон сильнее. Мужики стучались в кабак гораздо громогласнее воров, по теперь с той же теплой слюнкой из раскрытого рта лежала беспробудно на подушке голова мальчика.

Прибыли все Мещерины.

Над Рябинками горело и плавилось то же пряхинское солнце, как большой желтый круг чуть застывшего коровьего масла. Так называл его Вася. Он был уверен, что над Пряхиным и Рябинками стояло особое деревенское солнце, отличное от городского.

Пропосились ласковые и злые ветра, опрокидывались громы и ливни, на голову дню почь надевала черный мешок.

Люди? Все они походили на давно знакомых, с бородками и без бород, кареглазые и синеглазые, носатые и носы в овечий катышек, трубачи и тихони — говорят-гримят, говорят-пришептывают, башка с овин и башка с рослый огурец, — и у всех одинаковые слова, то певуны, то рывки, то хрюпы, то дзенкалы.

— Мама, — спрашивала сестренка Васи Оля, — для чего на свете игумен Нектарий? А для чего казначей Вениамин? Почему над монастырскими скотницами большуха Марья Федоровна, а пе игуменья Нектарша?

А Вася знал уже Рябники вдоль и поперек, знал все секреты, знал все монастырские причуды и порядки.

— Зачем, мама, — приставал он, — после запора ворот деревенские бабы лазят через ограду к монахам? Мы с Шуркой видели, как отец Вениамин подсаживал около угловой башни на крышу скотницу Муху, — она маленькая, ее так все зовут. Муха отцу Вениамичу встала на плечи, уцепилась за карнизику, влезла на крышу и спряталась. Там раскидистый такой тополь. Под ветку, видно, скрылась. А отец Вениамин изловился сам. Две доски подставил, расшаранился и ловко полез за Мухой. Лезет и говорит: „Пошли, пошли, ребята, не мешайте. Вам потом“. А мы и не мешали, а только смотрели. А чего он, мама, нам обещал потом?

Марьюшка схватилась за голову и полуплачущим, отчаянным голосом закричала:

— Ох, и дети же навязались! Прямо от вас житья нет на свете! Одному скажи одно, другому — другое. А я и сама не знаю. Ничего не знаю. На что вам этот... монастырь попадобился? Провались он пропадом!

Вася шел к отцу.

— Папа, мама не знает, зачем отец Вениамин бабу почью подсаживал на крышу...

Федор Степанович вскакивал из-за столика в кабаке у окна с большим счетами и конторскими книгами, точно его подбрасывало кверху на пружине.

— А вот зачем! — кричал он, хватал Васю поперек, зажал ему голову между ногами и крепко шлепал по заднему месту. — Вон! Чтобы никогда больше не спрашивать про такие вещи!

Побитый мальчик шептался с братом в мезонинной светлке.

— Муха — жена отцу Вениамину, — говорил Шурка, — вот он ее в келью к себе и переправляет.

— Как жена? Монахи неженатые. Это попы женатые.

Шурка обдумывал ответ:

— Должно быть вроде как жена.

— Вроде не бывает.

— Нет, бывает.

— Нет, не бывает. Если не знаешь, и не говори.

— А ты не спрашивай.

— Я тебя побольше знаю. Мне тут игумен встретился в ограде. Идет такой черный весь, как трубочист, ряса раздувается, в клубуке с хвостом, как бабий подол, с посохом. Остановил меня. Думаю, в карман полезет. Я только из игуменского сада. Под калитку вылез. Помешали. Два яблока всего и сорвал с веточки. А игумен мне и говорит: „Вася, для чего, по-твоему, царь на свете живет?“ Я ему сразу ответил. А тебе не догадаться.

— Откуда ты знаешь, для чего? — насторожился Шурка. — Тебе старец Пафанаил сказал?

— Я сам смекнул.

— Не ври. Ты и Нектария-то не видал. С чего это он тебя будет спрашивать про царя? Ты маленький. Это у больших спрашивают. У матросов папа спрашивал. А Нектарий не фельдфебель, а ты не матрос. Хвастунишка! Подслушал чужой разговор, а выдаешь за свой.

Вася радостно вертелся в светелке и хлопал в ладоши, выкрикивая:

— Обошел я тебя, обошел я тебя! Я про все сам знаю. Муха-то, говорят, живет с отцом Вениамином. Монах ее, на ночь глядя, и подсаживал. А утром, как коров доить, она оиять в скотницу. К одним ходят пришлые из деревни, а к другим — со скотного двора. К самому игумену большуха после вечерни то-и-дело захаживает. Сказать, что ли, для чего царь на свете живет? Яadio уж, скажу! А для того, чтобы воевать...

Шурка некоторое время хмурился и молчал, а потом удовлетворенно соглашался.

— Ошарашил я тебя? — торжествовал Вася. — То-то. Меня так-то ошарашил садовник Пил. Про Нектария-то я выдумал. Тебе со мной никогда не потягаться. Я от старца Пафанаила знаю, для чего и царь небесный сидит на небе, на облаках. Старец говорит — бог сидит в валенцах, потому на небе холодно, ноги свесил с облака и от печего делать болтает ногами. Раз и доболтался. Валенок съехал с ноги и полетел на землю. Бог-то перепугался сидеть с одним валенком. Да, на счастье, летел орел. Подхватил валенок и принес богу. А сидит он для того, чтобы архимандриты да игумены да просто ионы дураков миран в узде держали, грехами пугали да в колокола благовестили. Старец Пафанаил мне все это рассказал за полбутылки. Он попросил, я ему принес, он пробку об руку вышиб, как мужики делают, пробка выплыела, ровно пулья, прямо в стенку, пятно там. Старец горлычико в

рог вставил, смеется, а брюхо у него в тряске. „Гляди, — говорит, — Вася, мне на шею, как она занятно шевелится, когда водка в брюхо проходит“. Бульк, бульк — а под кожей у него волдырь с яйцо. Я пальцем потрогал. Даже страшно, как живой зверек в кошельке. Старец Нафанаил повеселел, песни мне пел про разбойников и над богом смеялся. Он не хуже Никиты заливает. Тот про чертей, а этот про бэгов да про святых...

Вася помог Федору Степановичу свести знакомство и с Нилом, и с Нафанаилом, и с самим Нектарием.

Вскорости по приезде, растрепанный, кудлатый, в репнях и всяком сору на подряснике, красный и мокрый, с суковатым посохом, явился в кабак садовник Нил.

— Ты это что, целовальник, за своими разбойниками не следишь? — властно и раздраженно крикнул Нил. — Они у меня две яблони сгубили. Меньшой на ветке сидел, меня увидел, на землю полез, да и оборвался вместе с веткой. А старший с мешком яблоки подбирал. Таких воров монастырь наш искоши не видал! Иди к игумену. Игумен тебя требует. Он тебе покажет!

Отец Нил ожидал беспрекословного исполнения приказа игумена. Но того, что произошло дальше, садовник никак не ожидал. Целовальник вдруг вышел из-за стойки, схватил за шиворот отца Нила, резко повернул его к двери лицом, дал ему под задницу коленком и выкинул садовника из кабака. Нил полетел кувырком.

— Ты что, долгогривая шваль, — бешено завопил Федор Степанович, — опустил? Мои ребята у тебя яблоню сломали, набездоразличали, так ты, как маленькой, ко мне пришел тоже безобразить! Твой сад, а мой кабак. Ты сад старечь не умсешь, так в моей кабак хозяином пришел. М-марш! Скажи своему игумену, что я ему не скотница, не послушник, требовать меня в свою келью. Делать вам нечего — развоевались с ребятами. Да скажи еще игумену, чтобы тебя, старого дурака, картошку послал чистить в трапезную, а не сад тебе

доверять. И еще запомни, монастырская побродяжка, я тебе не целовальник, а Федор Степанович Мещерин!

Отец Нил пятился от крыльца и заплетался ногами в подряснике. Целовальник с яростью вырвал у садовника посох, швырнул его далеко от себя через дорогу в поле и с силой толкнул отца Нила в спину обеими руками. Садовник почувствовал, как его стремительно понесло от кабака к довольно далекому верстовому столбу при въезде в Рябинки.

— Подбери сарафан-то! — насмешливо гаркнул целовальник. — Неровно зашугаешься, брякнешься и нос расквасишь!

Вася и Шурка визжали от удовольствия в мезонинной светелке. Отец Нил постыдно и жалко улепетывал к монастырю.

— Пойдем дразнить Нила, — только что успел сказать, захлебываясь, Вася Шурке, как снизу в потолок раздался требовательный отцовский стук.

Ребята покатились по лесенке.

— Ага! Что, взял, старый козел? — смеялся Вася. — Мы так и скажем садовнику! Давай, ему в окно покричим!

Ни сказать, ни покричать в окно не пришлось. Внизу ребят встретили розги. Федор Степанович попеременно выпорол сыновей, злобно приговаривая:

— Вы на отцовскую голову срам кладете! Мне за вас краснеть! Мне за вас глазами хлопать! В тряпку исхлещу, сорванцов!

Расправа над отцом Нилом помогла Федору Степановичу завести дружбу с игуменом Нектарием и со всеми монастырскими на долгие времена. Дня через два целовальник поvidался с игуменом — и оба остались довольны друг другом.

Игумен сказал па скотном дворе большухе и старосте:

— Новый жилец у нас возле монастыря. Кабатчик, а не пьет. Его наш дурак Нил обидел. А он его и проучил. За дело. И ребят справедливо наказал, и Нилу по заслугам попало. Большого разума человек. Отпускайте ему беспрепятственно все, что у нас есть на продажу. Нам с ним в ладу

надо жить! Ильинцы-монахи и послушники от него не разживутся. Не возьмет под залог краденое из монастыря за водку. Мы с ним договорились. И в долг не даст паним пропойцам. Прежнего целовальника я за это и выжил. А дети всегда шаловливы, что с них взять?

Монастырская баня в хорошенском одноэтажном домике с зеленою крышей, с крылечком, с малыми и почему-то круглыми, как на пароходе в трюме, окошками находилась возле самой плотины.

По пятницам мылись скотницы, по субботам — монахи и послушники. Большука Марья Федоровна открывала свой банный день, а игумен Нектарий — свой. У монастырских рабочих была своя, черная баня, стоявшая на Студенце за гумениниками.

Нектарий оказал почет Федору Степановичу: игумен, казначей, старец Нафанаил, два старших иеромонаха Тит и Клавдий, кабатчик с Васей и Шуркой парились первыми. Марьюшка с дочками Олей и Дуней сначала заходила на половину к большухе в странноприимный дом, и оттуда уже вместе следовали в баню.

Семья Мещериновых привилась к монастырю, как яблоня к колышку.

Вася сначала нравилось почетное мытье и паренье с первыми людьми в монастыре, но скоро оно стало казаться скучным. Куда веселее было с послушниками и с монастырскими ребятишками — певчими и сапожниками — Тинкой, Ванцо — позвони в колокольцу, с Пакалом и со Свищом.

Вася нашел способ и почет не потерять и вдоволь пасладиться баней: ходил в нее по два раза.

Да за одно удовольствие нестись голеньким, с распаренным, как свежий веник, телом, вслед за десятком огромных красных, багровых гривачей монахов и послушников прямо из баний горячей духоты на мороз, по снегу, в сугроб, кинуться в него головой, с опаленной кожей перевернуться в снегу и снова ворваться в тепло, — да за одно можно

расстаться со всяким почетом! Там видишь только жирные „мысы“ монахов, думал с брезгливостью Вася.

Послушники и монахи мчались, ржали и фыркали, как лошади, оторвавшиеся от коновязей.

Вася визгливо подражал старшим.

В мягком сугробе катался огромный клубок тел, разгоравшихся до нестерпимой красноты, точно на него выплеснули ушат давленой свеклы.

А был регент Лавров. Он не валялся в сугробе, а шел не торопясь из бани и спускался на лед Студенца, останавливался у проруби, вытягивался во весь рост, — он знал, что на него всегда смотрели через обширную запруду, невидимо прильнув к стеклам келий, скотницы в странных примитивных домах, — и потом уже спрыгивал в воду, окунуваясь по несколько раз. Обратно он летел уже сломя голову — и прямо на полок.

Монахи и послушники и Вася наблюдали за Лавровым из всех четырех пароходных окошек бани.

— На скотном есть повенецкая скотница, — уверенно заявлял с полка отдувающийся регент. — Готово! Придет! Я нарочноостоял полминуты лишних.

Баня заливалась хохотом.

— Придет, — гудел бас Благовещенский, — дожидайся! Ее, поди, трясет сейчас, зуб на зуб не попадает. Пагнал ты огня!

Во второй баний смене был ад и содом. Послушники и монахи больше возились, хлестались вениками, окачивали друг друга из шаек и тазов водой, плясали, боролись, доставали высокий потолок, взлезал один на одного, чем мылись. Лавров управлял хором с полка, употребляя вместо камертонов ногу. Чели одно божественное.

— „Свете тихий“ Бортнянского!.. — возглашал Лавров и под общий гогот, как-то смешно выдув вперед живот, делал по нему ловкий стречок: — Бум! До-ре-ми-фа-соль!

Иногда он сажал на себя верхом Васю и заставлял

его маленькими ручонками повторять все регентские движения.

В таком положении Федор Степанович и застал банный хор. Старец Нафанаил, враждовавший с регентом из зависти к его цветущим годам, силе и редкому голосу, по злобе, нарочно заглянул в кабак и шепнул целовальнику о проделках регента.

Федор Степанович в шапке и шубе вошел в баню. Хор смылся, точно ветер задул свечу. Невцы каждый прикорнул над своей шайкой.

— Надо бы тебе по морде, Лавров, дать! — мрачно сказал Федор Степанович. — Ишь, нашел, жеребец, какую забаву над ребенком! Да, думаю, ты больше не посмеешь из моего мальчонка потеху себе строить. И вы все, — он вызывающе скжал кулаки, — игогощники!

Вася живцом юркнул в предбанник и успел раньше отца вернуться домой.

Лавров сконфуженно и покорно стоял, словно ожидал удара.

— Да, — наконец трудно разжал зубы регент, — глупость... сознаю... извини, Федор Степанович. Я, может, тебе в силе и не уступлю, а не стал бы тебе отвечать. Кругом виноват! Неладно, нехорошо разыгрались!

По субботам, покуда не забылся этот случай, Васю запирали до вечера, до конца бани. Прорывался он туда редко, лишь обманом обойдя все рогатки.

Летом, прикрываясь распаренными лапами, высекивали из бани и бултыхались в запруду даже игумен, Нафанаил и Вениамин с Титом и Клавдием.

Тогда хорошо в бане и с заглавными монастырскими людьми.

Лавров с лихвой загладил свою ошибку перед Федором Степановичем: он обучил Васю и Шурку петь. Кабатчик и регент трясли друг другу руки. Иногда мальчики носили Лаврову в келью подарок от отца: будто бы рижский бальзам помогал чистоте регентского голоса.

Маленькую, из серо-желтоватой глины с глянцем, с изыр-

чаго-шероховатой глазурью бутылочку нашивал Лаврэу Вася и сам по себе. Раз понес, в карман засунул, заигрался с Тишкой и Свищом в городки около монастырских ворот. Удалили ко всеночной, — играть не бросили, доигрывали кон. Отзвались...

Ребята проскочили на клирос, когда всеночная перевалила на вторую половину. Всеночная предпраздничная, с длинным акафистом, с елеем, с густо набитой, как рыба вnavалку на розу, церковью. Тут Вася секретно от послушников-певчих дернул за подрясник Лаврова, потянулся к нему с бутылкой и опустил ее мимо протянутой лодочкой руки регента.

Треск и как взрыв. Черная головка посудины с грохотом выкатилась по каменному полу почти до царских врат, точно с клироса пустили разыгравшиеся маленькие исполатчики волчка-жучка. Головка ударила о поддон серебряного подсвечника и осталась лежать у всех на виду.

— Пойди, возьми сейчас же! — давясь смехом, прошептал бас Благовещенский, щипнул за ухо Васю и почти вытолкнул мальчика.

Бальзамное благоухание остро распространялось по церкви. Хор поперхнулся, соврал... Но Лавров не растерялся. Он спешно сорвал с шеи вязаный шерстяной шарф, затоптал его на бальзамной луже и осколках, выпрямил хор и повел его.

Певчие, окончив ирмос, фыркали в кулаки, быстро подобрали глиняную россыпь, разлетевшуюся по всему клиросу, и с притворным равнодушием встретили дьякона, посланного на разведку из алтаря служившим Пектарием.

— Я у них по карманам не шарю, — объяснил регент. — Что тут поделать? Какую-то склянку вытащил и грохнул о пол.

— Пахнет бальзамом. Может, распивали, слоты? Не н-шли другого времени и места. Что народ скажет? Ославят монастырь.

Лавров незаметно отжал дьякона подальше от злополучного

места, укрытого промокшим шарфом. Бас Благовещенский и тенор Одинцов согласно и дружно встали на него.

— Бальзам, бальзам! — сказал с досадой регент. — Значит, мальчишка уронил бальзамную склянку. У кабатчиковых детей с розовым маслом игрушек, ясно, не бывает.

После ухода дьякона Лавров насухо вытер шарфом пол, завернул жирную тряпку в старые ноты, сунул Тишке узелок за пазуху и тихонько сказал:

— Слетай! Сунь под дверь моей кельи. Скорее! Успевай к „Господи помилуй“.

Хор отдохнул. Васю не трогали, из боязни, чтобы он не расплакался. Пуниловый, точно самый яркий ситец, мальчик осталенел стоял на том же месте и косил глаза на мать у левого клироса. На счастье, Федора Степановича не было. Он узнал бы черную головку от бальзамной бутылки.

— Шарф погубил, — горевал бас Благовещенский, сочувствуя расстроенному регенту.

— Что шарф! — морщился Лавров. — Его прокипячу, и опять можно одевать. А бальзам ноги. Нельзя будет отсосать: и я и вы, черти, топтались на нем сапожицами.

Ухо Федора Степановича ласкало, можно сказать, собственное мещеринское пение. Отец жадно вслушивался в хор и был весьма недоволен, когда голоса Шурки и Васи не выдавались из общего потока. Два детских шарика, — Федор Степанович вывёз из Кронштадта машинку и сам стриг ребят непременно раз в месяц, даже зимой, — умилили отцовские глаза.

Ребятам это умиление было хуже горькой редьки. Шаша умилялся и одновременно надзирал за благочинием: мальчики обязаны были не прятаться в глубь клироса, а стоять на виду, не вертеться, не оглядываться, смотреть вперед, на иконостас, креститься в нужное время и петь.

Федор Степанович с недоумением наблюдал за лицом регента, которое вдруг искажалось злобой и ствращением, всё передергивалось, едва Вася, по мнению папы, начинал петь особенно благозвучно, вылезал из хора, венчархивал над ним

точно птичка над стаей. Лавров стискивал зубы, совал мальчику камертоном в плечо, а Вася виновато краснел и опять вливался, как ручей, в запруду, не слышимый отдельно.

Ох, это отцовское благочестие! Густой, словно тысячи басов, как у Благовещенского, монастырский колокол звал к утрене в пять утра. Отец занят: полчаса седьмого открываются кабацкие двери. Но бог не ждет и не знает оправданий для нерадивых. По всем праздникам, по воскресеньям, по постным дням Федор Степанович посыпал взамен себя певчих-мальчиков.

Сон обманчив и вкрадчив. Только что папа разбудил, даже стянул одеяло и унес с собой, Вася приподнялся, прикорнулся к подушке лягушонком — и опять его нет на свете.

Второе пробуждение иное: брови — они густы и кудлаты, маленькие глаза пронзительны и резко-понукающие...

— Звонят, — с просонья сух и беспощаден благочестивый голос, а рука кладет на подушку медно-зеленоватый пятачок, светлую серебрушку и поминальник. — Свечку поставь. На блюдо. Просвирку.

Летом золотится и чешуется утро, как кормленный льняным маслом лещ. Поги несут легко и звонко к монастырским зеленым, в блестящей росе, воротам. Веселые главы горят. На колокольне воркуют гули. Большие светлые рамы плавятся и пылают, как жаровни.

Зима подслеповата, черна, все вокруг низко, нахлобучено. Вон в снегу, за сугробами дрожит желтенький огонь в теплой, со сводами, подвальной церкви.

Там под спудом в медной раке, напоминающей огромный утюг, — за ручку можно принять бронзовую, гирькой, висячую лампаду, — лежит какой-то святой Иоасаф, основатель монастыря.

С холодных, в шубе и рукавицах, полей несет колючую позёмку. Но пустым рядам идет невидимо мороз в монашеской мантии, и ряды трещат. Зачем вставать в эти неуютные, унылые зимние часы?

Мальчики от холода и от страха перед мглой и пасмурью окружающего, ежась, бегут петь — молиться за отца.

— Сам дрыхнет, — бормочет Вася, — досынает, а мы вставай! Ровно мы монахи или послушники! Те на то и паняты.

Шурке приходится вставать реже. Только летом, только в рождественские и пасхальные каникулы. Шурка учится в двухклассном училище, в селе Верховажье, в двадцати верстах.

— Шурка, — с насмешкой любопытствовал Вася, — почему бог рано встает? Чего ему не снится? А может, он, как папа, облегоривает монахов? Те ему поют, калят, огонь жгут, а он и не видит и не слышит, храпит себе в бороду под одеялом. Старец Пафанил страсть бога не любит, — больше, чем Лаврова. Под пьяную руку всегда богохульствует.

Шурка осторожен и незлобив. Он останавливает брата:

— Перестань. Типе. Вдруг кто-нибудь услышит и скажет папе. Отстоим.

— В следующий раз, — совсем тихо, оглядываясь, бормочет Вася, — спачала я прикинусь больным, потом ты. По-переменно. Только надо с вечера. А то утром не поверят. И отлынишь.

В церковь Вася попадал не всегда. Вместо нее он забирался к сапожникам Петру и Павлу и тут дожидался конца утренней и ранней обедни. А то помогала узенькая тропка вдоль страшных рядов. За ночь ее перемело. По ней в снежные зимы хаживали волки. Папа раз паткнулся на одного. Впереди вспыхнули две серных спички. Хорошо, у папы было жестяное ведро. Он, как барабанщик, ударил в донышко и затрещал. Волчья спичка скосило на сторону, и волк побежал в поле, освещая себе путь двумя фонарями-канельками.

По тропке Вася, крадучись, пробирался на скотный двор. Там жили при материах скотницах и в рабочей казарме несколько мальчиков. На скотном вставали с первым ударом колокола. На гумениники, на конюшни, на скотные дворы менял Вася подневольное выставивание в церкви.

По мальчик имел барыш от отцовского усердия. Богородицы и святые угодники не дополучали. Рыжая пакля, тощенький заморыш, словно ему от роду не шла пища в тук, отец Николай разбивал серебрушку и пятак на копейки и полушки. Рыжик и малыш — не падень клубок, высокий, точно лукошко, был бы не виден из-за церковного денежного ящика. Но староста отличался лисьей догадливостью и кошачьей лукавостью.

— Трепь-трепь, — почему-то говорил он с искрой в глазу, — отколупываешь от святой обители? Помельче тебе? А за размен мне сколько?

- Копейку, — шептал мальчик.
- Две.
- Нет, копейку.
- А я отцу пожалуюсь.

Было жалко такой ненужной убыли в денежных запасах. Вася с ненавистью ловил жадный свет в сереньких, пропитано вспыхивающих гляделках старости.

— Давай обратно, — довольно громко заявлял мальчик, решавший не сдаваться, — я игумену скажу, как ты богомольцев обсчитываешь, неверно сдачу сдаешь. Отец Пафанаил про тебя знает. А мне папа велел разменять, — выдумывал сразу Вася, — у него мелочи не нашлось. Я на каждое блюдо по копейке положу да на просвирку, да на свечку Флору и Лавру.

Клубок старости низко склонялся к мальчику, а глаза на-мешливо дразнили:

— Вот и разочлись. На всё пам и хватит. Пынче пойдем с тремя блюдами. Я тебе по копейке выдам.

— Это надувательство, — вдруг громко и с яростью сказал мальчик, так громко, что на голос оглянулись один и другой рабиний богомолец: старушонка, пищий-бродяга, странник-мужик и свободные почему-либо скотицы.

— На, па, — испуганно отсчитывал староста медную дробь. — Разве так можно в церкви божьей?

Получив медяки, мальчик скрывался в угол за печку, раскладывал на подоконнике свои сокровища, делил их, остаток опускал в карман, потом раздумывал и еще убавлял из отложенных в горсть на свечки и блюда.

— Клади, — шептал отец Николай, взглазывая трех монахов, путешествовавших гуськом с широкими оловянными блюдами. — А я посмотрю, на все ли положишь!

Бывало, мальчик укрывался за чью-либо спину и нагретые в ладони гроши присоединял к сбережениям.

Отец Нафанаил научил его брать с блюда двойную сдачу; тогда рыжий сборщик, поцавившись на эту ловушку трижды, стал поспешно проходить мимо мальчика и даже прикрывал от него блюдо широким балахоном рукава мантии.

— Кради, Васька, — хототал старец Нафанаил, — нашему рыжему Николе Мирликийскому меньше останется. Куда ему, уроду, деньги? Сатане в ад. Не пьет, не курит, бабы от него бегут, на всем готовом живет, кончит, гнида, неведомо для чего. Я тебе покажу в дырочку... мы у него в келье в дверях провортели... как он, гадюка, мелом серебро чистит, а кирничом медяшку. Ха-ха! Раскладывает на столике дьявольские сребренники и радуется. Ты, Васька, деньги не храни, а пущай их по ветру!

В дырочку смотрели Нафанаил, Илья, Вася, Лавров и Благовещенский. Смотрели коротко, наперебой, давясь от смеха. Васю толкнули последнего.

Мальчик прильнул — и обомлел. Рыжий мальчишка никаких денег не считал. Он голый стоял у окна.

— Всегда в этот час! — краяясь на цыпочках от двери, прошептал старец Нафанаил.

За ним следовали так же остальные по глухому и полутемному коридору братского корпуса.

— Вот ты хотел поглядеть, — сказал на лестнице мальчику Благовещенский, — и поглядел. Понял?

Монахи и послушники с удовольствием заходили над несмышленым Васей.

— Это преподобный Опаний так научил нашего церковного старосту, — разъяснил старец Нафанаил.

Мальчик приносил просвиру. Ему доставалась самая вкусная верхняя крышка.

— Не кроши, — сердился папа. — Это святые крошки. Подбери все и съешь.

Церковные деньги открывали дорогу в мелочную лавочку соседа по кабаку, Владыкина. На них покупал мальчик в рабочих казармах у кухарки костиги. Отец давал по праздникам скромной пятакочок. В именины и дни рождения — двугривенный. Это уже было богатство. Но средства увеличивал Вася по-разному.

Из жилой половины, отделенной стенкой от кабака слышался всякий шаг входившего посетителя.

— Вася, посмотри, — говорил обедавший или отдыхавший папа.

Под стойкой денежный выдвижной ящик. Его не всегда догадывался Федор Степанович запирать.

Ящик мгновенно вытащен, и пятаки уже в кармане.

Но в кармане бывают и карандаши, и грифель, и разноцветные камешки.

— Что это у тебя бренчит в кармане? Деньги? Ты лазил в кассу? — однажды резко спросил папа.

Мальчик погибал. Он только что утянул три пятака. Вася мгновенно нашелся. Он притворно, на-ура, с полнейшей обидой, дрожащим от возмущения голосом, точно сперва не мог справиться с ним, крикнул:

— И-па, посмотри! У меня к-карандаши!

Мальчик подставил отцу раскрытый карман.

— Федя! — жалобно застучилась мать. — Ты.... сам научишь!..

— Ну, ладно, ладно, — смягчился вдруг отец и не стал проверять карман.

Мещерины обедали. Вася переживал страшную тревогу. Удачные обстоятельства могли измениться каждую минуту.

А что, если все-таки папе вздумается, хотя и с опозданием, пошарить в воровском кармане?

Мальчик с величайшей осторожностью вынул пятаки, прошёл, как пана отвлекся на разрезание мяса в тарелке, **ощупал** мамину колено, — она сидела рядом с Васей. Мать сунула под стол руку и зажала деньги.

Мальчик с болью и со стыдом заметил сразу покрасневшее лицо мамы. Опа не выдала...

Таскал Вася и больше.

Перед кабаком ровный, шакатанный большак. Середина летнего солнечного дня. Вон в полях мужики и бабы. Вон они на озере. На сини и золоте белые лодки, белые крылья парусов. Владыкинская собачка Каквас, лохмач, словно она произошла от такого же густоволосатого лавочника, лежит на дороге, в жирной и пухлой пыли.

Тройки и пары не подымают пыль. Не звенят дилидоны, не гремят колеса, спит разудалая ямщицкая плеть.

Тишина. Монастырь отдыхает после обеден. Пуста лавочка у ворот. Кабак никому не нужен. Играли в городки: папа на Шурку, Вася бил в обе стороны. Мама сидела на крыльце и подзадоривала.

— Папа! — закричал на все Рябушки Вася. — Полтинник! Я нашел полтинник.

Мальчик ловко выкинул из кармана украденный раньше полтинник и тут же цапнул его вместе с горстью пыли.

— Чей же он? — смеялся и ликовал притвора.

— Ну, какой-нибудь пьяный выронил. Твое счастье! — поддержал папа счастливца и позаботился о нем: — Не потеряй. Отдай лучшие маме — на сохраненье.

Папа даже шутил:

— Мне-то не давай! Боюсь — издержу. Израсходуюсь и... захвачу твои капиталы.

Мальчик знал, что на его находку никто не посягнет. Какое удобство! Вася мог носить деньги в кармане и тратить их, как хотел.

Игра в городки стала еще приятнее. Было одно неудобство: нельзя смотреть открыто и просто на маму, чтобы не догадалась.

Удачи сменялись неудачами. Федор Степанович поверил в находку первого полтинника, а когда в следующий раз сын нашел уже серебряный рубль, — все замутилось и перевернулось в жизни.

Папа замер с поднятой для битья городков палкой, нахмурился и сказал маме:

— Слышишь?

Мать неловко пошевелилась на крыльце. Мальчик веселился и прыгал одну секунду. Он шмыгнул глазами по равнодушным к его радости родителям и внезапно начал розоветь.

— Пойди сюда, — приказал властно отец.

Мальчик разбито пошел на зов отца, выставив вперед в ручонке серебряное колесико.

— Созинаяйся! — потребовал папа. — Ты из кассы его взял? Кто тебе поверит, что вся дорога возле кабака усыпана полтинниками и рублями? Сам себя выдал. А? Почему Шурка ни разу не нашел?

Вася яростно оправдывался, шумел и плакал. Ничто не помогало.

— Пошел в светелку! — бешено гаркнул папа. — На неделю пошел! Не сметь на нашу с Шуркой игру и в окно смотреть!

Отец, дергаясь лицом, поднял с дороги грязный прут. Мальчик сжался. Прут свистнул и опоясал Васю несколько раз по ногам и по спине. Вася кинулся с воем в кабак мимо затаившей и отвернувшейся мамы.

— На тебе, Шурка, краденый рубль на гостинцы! — услышал мальчик на бегу голос папы. — Ты этого стоишь!

Вася действительно сидел в мезонине настоящим узником. Ему запрещено было спускаться вниз. Шурка посыпал брату питье и пищу.

Папа разгневался даже на самого бога: большой колокол будил одного Шурку. Заточение не делалось слаще от этого преимущества.

— Ие будешь? — спросил папа.

По мальчик неуступчиво возразил:

— Отдай мой рубль.

Федор Степанович вспылил на нераскаянного грешника:

— Ты так? Ну, так сиди еще. Всё равно не поверю. Я тебя уморю, обманщика!

А дни за окном сияли. Стояло не замутимое ни одним дождливым пятнишком вёдро. Жизнь проходила мимо мальчика.

Шурка хотел отвлечь брата и скрасить его томительное одиночество. Он недогадливо привел Тинку, Свища, Ванью — позвонил в колокольцо и Накало. Папа монастырских ребятишек в дом не пускал, но можно было играть в городки перед домом. Начали.

По тут в мезонинной светелке безутешно зарыдал мальчик. Пришлося игру бросить.

— Мало вам скотного двора, — вдруг закричал Федор Степанович на монастырский выводок, — убирайтесь отсюда! А ты, разгильдяй, — кинулся он на обомлевшего Шурку, — чего их привел сюда лоботрясить? Брата поддразнить? Подсмеяться над ним? Марш на его место!

Вася получил освобождение. Шурка, в обиде на такую несправедливость, паотмашь смазал брата по щеке в самых дверях, а тот, изловчившись, убегая, пнул его.

Мальчик успел догнать негодавших на Федора Степановича ребят и едва с ними уладил. Те гнали его прочь.

В тот радостный вечер, точно мама была в заговоре против отца, мальчик шепнул ей:

— Это я Лаврову украд. Он попросил. Ему надо. Лавров мне сказал — у папы не убудет. Папа ведро воды продает, а деньги получает за водку. Деньги эти ничыи.

Мать поколотила Васю. Он охотно подставлялся под бе-

режливые и совсем не больные удары, но для прилику даже тер кулаками глаза.

— Вот тебе и от меня попало, — сердито сказала мама. — За битого двух небитых дают. Я с твоим негодником Лавровым поговорю с глазу на глаз.

Сеора скоро прошла. Мальчик внезапно откуда-то прибежал с озабоченным лицом и с лукавостью спросил:

— Ты знаешь, мама, поговорку: пока сытый сохнет, худой едохнет?

— Ну-у?

— Это Лавров про папу. Когда просил денег, так и смеялся. Сколько, говорит, у него ии бери. он все равно тебя богаче. Сколько воды в Студенце, столько у папы денег. Я и поверил. Ты, мама, Лаврова не ругай: он бедный. Я тебе нарочно рассказал всё. Я от тебя ничего не утаиваю. Я больше Лаврова не стану слушаться. Ты про меня напе не говоришь, не говори ничего и Лаврову. А то я папе сознаюсь, как мы с тобой вместе его обманули.

Опять налаженная жизнь катилась ровно, без тресков в ухабах, как катится по синему обручу неба круглое, обточенное колесом солнце. Пробуждались из почей утре. Вечер закрывал глаза дню. Почь укладывала на покой землю, озеро, людей и владыкинского Какваса.

Садовник Иил ненавидел Какваса. Иил пришел поздно в лавочку за махоркой. Тогда-еще маленький, Шарик лежал на крыльце. Он и вцепился в длинноногого. Говорят, в первый раз кусался. Отец Иил и закричал:

— Как... как... вас? Владыкин?

С тех пор все Шарика стали называть Каквасом. Один Иил кликал Шариком.

Ванцо — позвони в колокольцо — дискант. У него голос звенит, как колокольчик, на верхнем „до“. Такой же исклячик, охрипший от старости, у казначея Вениамина. Ванцо — его сынника от проевирии Степи. Тинка — от самого игумена и от большухи. Говорят, и старец Нафанайл тут не

без греха. Тишка — спорный. Пакало — от всех сразу. Этот маленький, худенький, как обглоданное колесами деревце при дороге. Он надувает щеки, смешно вздергивает нос, глаза у него бегут в разные концы, морщится лоб, и волосы шевелятся вместе с кожей на голове. Он изображает похоже высохшего на корню дьякона Агафодора.

— Паки, паки господу помолимся! — возглашает Пакало Агафодоровым голосом, подымая в руке кончик пестрого шарфа, кинутого на правое плечо.

Монахи и послушники умирают со смеху. Еще большее удовольствие доставляет Пакало, когда, подученный, он произносит возглас у дверей кельи Агафодора. Наблюдатели заглядывают в дверную щель. Лежащий дьякон срывается с кровати, недоумевает и крестится. Туговатое ухо его не слышит шороха в коридоре. Все, кроме Пакала, уходят к выходной двери. Тогда мальчик трижды провозглашает „паки, паки, паки“ — и мчится, топоча маленькими аккуратнейшими сапожонками на высоких каблучках — дляроста. Агафодор гремит вслед:

— Жеребцы стояльные! Кони! Неймется вам, черти, и в мертвый час!

Разбуженная от послеобеденного сна братия звенят ключами, высовыvается из келий. Одни продолжают потеху, другие поднимают брань.

— Верзило Кашеевич, заткни дыхание! Гляди, в рот на тройке въедешь! Труба! Думали, на страшный суд зовут архангелы! Аи, ревет Агафодория! Клади свои моши на утлюю подстилку!

Агафодор хлопнул дверью. Коридор удущлив и полутемен в молчании, как подземелье.

Свист не идет, а сапожничает. Он, говорят, произошел сразу от Петра и Павла, от баса Благовещенского и от тенора Одинцова. Сапожное ремесло перетянуло. Мать — судомойка на черной, рабочей кухне.

Вася и Шурка вкладчицу выкупают его у Петра и Павла

на дешевую гулянку. Вечером он повесничает бесплатно. Сильяна, с пьяного горя один из отцов-сапожников проткнул мальчику шилом щеку, — дырявое место не зарастает и считается. Он клеит его свежим и молодым листом березы. Тот скоро отваливается. Священник бегает так, не прикрываясь. Он лучше всех играет в городки, плывает, удит, и никто так ловко, без промаха, не умеет попадать камнем в бегущего по дороге за мужицкой телегой щенка или в многочисленных монастырских котов и кошек, гуляющих по крышам братских корпусов и ограды.

Ваня Синичка — тонкоголосый невун — сынишка маслодела Кирсанова. Он живет рядом с постоянным двором и лавочкой Владыкина. Его часто бьют за слабосилие, за птички синеглазый вид и голос, но любят и подолгу дожидаются на улице, покуда мальчик-тихоня неповоротливо собирается в путь.

Солнце — жерло золотой трубы. Свет и огонь льются и плещут из нее. Мир — как раскрытый зонт. На каждой пылинке блеск и жар. Земля напрасно открывает потресканные и сохнувшие губы. Жажда и голод. Мрет, увядая, трава. Кто-то невидимо поворачивает трубу на гору, все выше и выше. Вот она опрокинулась на самое темя. И тогда сквозь увеличительное стекло, купленное Васей на ярмарке, зажигают курильщикам, Тишке и Шурке, прямые и косые цыгарки, прожигают бумагу, пробуют солнечный пёк на нюхте, подрумянивая его до боли, а то и на подряснике старца Нифанаила, бездельно вздремнувшего на скамейке у ворот.

Ребячий семерик несется к озеру. Как косцы с косами: по три, по четыре удочки стоят за плечами.

То же — и не то же, что в Пряжине. Рыбацкие лодки, невода, чайки. В глубоком устьи Студенца монастырская пристань для редких пароходов: раз в неделю. Это старая, полинялая беляна с двумя узорно-резными избушками на носу и на корме, с пустой, открытой серединкой, где маячит только повенецкий зеленый трап для пассажиров.

Всегда ловится хорошо с пристани. Там сторож — послушник в выцветшем подряснике, с ведерком возле себя и с пёдсашником на длиной кривой палке, постоянно сидит за рыбалкой. Кого другого, но рыболовов он пускает беспрепятственно. Те даже не спрашивают.

— Отец Увар, здравствуй, — шепчут ребята, как полагается по правилам рыбной ловли на уваровской пристани.

Они идут подальше от края, чтобы рыба не заметила такую ораву беспощадных охотников, явившихся подкалывать и подсекать ее на крючки, идут на цыпочках, чтобы не стукнуть каблуком по высохшему гулкому настилу пристани.

Увар совсем и не отец Увар, он просто ни на что не годный в монастыре послушник, сослаанный в сторожа. Увар — бывший искусный звонарь. Слушать его нарочно приезжали на ярмарку купцы. Тогда Увар и отличался. Тогда приходили звонарская слава, купеческие заказы, почет и подарки. Купцы любили особый трезвон-перебор на малых колоколишках, до чего был невиданный мастер Увар.

Пошатнулся и повалился и стал неуместен на богоугодном деле звонарь сразу. В паехальном подпитии, а больше в гордыне от своего уменья, Увар вместо обычного послеобеденного звона откатал плясовую вприядку. Парод повалил из церкви и, гогота возле паперти, не хотел расходиться. Все загибали головы на колокольню. Туда кинулись трезвые монахи и послушники снимать спятывшего звонаря.

Увар испытывал какое-то удовольствие от присоединения его к монашескому званию и величания „отцом“. Ребятам ничего не стоило сделать приятное нужному им сторожу.

— Наше вам с кисточкой, — отвечал Увар, — расскаживаЙся, знай. Пынче хватается плотица. Па хлеб. Груша с постным маслом. Мера глубины — два с четвертью аршина. Донка. Наверх чтой-то не хочет. Свищ, — приветливо усмехался рыбак, — поди, нас живенько перештабет.

— Эй вы, монастырские, — кричат проезжие на лодках

мужики, — не трожь нашу рыбу! Она скромная. Мы тута гнилое мясо кидали на приграву. Греха вам не отмолить. Мясопуст нам, а вам сыропуст.

Мужики ладили прогнать лодки как можно ближе от удочек Увара.

— Не гребись к поплавкам! — вполголоса взывал и отчаянно махал руками сторож. — Вона какое широкое плёсо. Что, право, за баловство!

— Увар, — не унимались озорничавшие мужики, — с той поры, как леший закинул тебя на пристань, вся рыба в Зазерье ушла. Должно, в обиде, не хочет плавать в монастырской ухе.

Мужики кричали издали, приставляя рупором руки к рту:

— Увар, эт твоей работы ребятишки сидят, али ты чужих пестуешь? Ишь, увесился ими, ровно напоказ.

Сторож закрывал глаза и оставался в молчании несколько минут.

Затихали и ребятишки.

— Сейчас начнет, — вдруг произносил Увар, — тута мужики завсегда шумят и стукотят. Она привыкла. О-о, у меня поплавок пошел!..

Ребята завистливо переглянулись: рыболовное счастье баловало первым отца Увара.

— А ровно мы тоже не в начете! — вполслуха горделиво бросил Свищ и начал бережно водить по кругам сильную рыбу.

— Бери, бери подсашник, — волновался сторож, — уйдет! Дай слабину! Не трожь, не трожь лапой за леску! Оборвешь, оборвешь! И-на фунт, и-на полтора сорожка!

Вытащили, однако, лучше — язя.

Солнце, кажется, неподвижно стояло в небе, точно вон тот монастырский вызолоченный шлем колокольни. Озеро в легкой шерстинке. Луч дробится и колется на зыби, как сверкающая звезда. Красноперый окунь выбрасывается по

всему плесу. Шука остроноса бороздит его резкими бросками.

Увар отсидел поги. Он предупредительно ползет подальше от края, встает и, разминая их, нюкается в обход своей рыбачкой команды. Заглядывает каждому в мешок, пересчитывает улов, подолгу смотрит на рыбу и на руке прикидывает ее вес.

Вася, кося глаз, видел, как Увар и Свищ на том конце пристани то узко, то широко расставляли руки: это они вспоминают, каких размеров в прошлый раз брали рыба. Брали и ушли.

Уходит всегда та, которую приходится вспоминать, широко разводя руками.

Вася неловко дернулся после поклевки. Рыба уперлась, точно непослушный Каква, когда он не хочет вылезать из своей будки. Мальчик оборвал лесу под самый крючок.

— Ай, ай, Васютка, — сочувственно сказал Увар, — да ты воосьмерку не умеешь делать. Привыкай. Гляди вот. Надо воосьмеркой, или то же, что морским узлом. Вот так! На такой привязке ты рыбу, как собачку на ошейнике, станешь водить. Леса лопнет, удильще наполовину, а крючок ни за что не слезет!

Мир и покой, точно на дне таинственного плеса. Солнце жарит вкось. Огромное солнечное лезвие как разрезает воду, и в ней смутно видны камни, водоросли, песок.

Тогда Увар стаскивает свой прохудаший подрясник. А под подрясником ничего нет.

— А мы свои рыбке, — орет он, — а на нас ей не лицо жаловаться! Кончила она баловаться до вечерен.

Увар низвергается с пристани, похожий на неуклюжий мешок. Ребята кренко отталкиваются ногами от маленьких перил, воизаются головами в воду, словно сстрые, с очищенными концами сван.

Увар не зябнет и не устает. Он надолго погружается вниз.

— О меха у дьявола! — восторженно воскликнул Вася и

дуршливо обманывал товарищей: — Ребята, ребята, глядите, вода убывает: это Увар пьет.

Ребята, продрогнув, вылезли и оделись. Тогда появился среди них, весь в капельках, Увар. Он сушился на солнце, повертываясь в его лучах то одним, то другим боком.

— Гляжу я на вас, — приветливо и даже жальчиво тянул сторож, — вы, нонешние ребята, противу прежних не выстоите. Мы, бывало, из воды вовсе не вылезали. А пыряли как! Через весь плес. Правда, тогда и вода была теплей. Это оттого — кишело озеро рыбой. Рыба теплит воду.

Ребята знали, что к сердцу Увара протянуты были невидимые ниточки, словно веревки к колокольному звону. Они дергали за любимую.

— Отец Увар, ты, говорят, всех рыболовов почище?

Сторож забывал надеть свой подрясник.

— Я прежде на две волосинки рыбачил, — весь распыхавшись в улыбку от воспоминаний, говорил Увар, — другие и на пять и на шесть, а я на две. Лещей по десять фунтов выводил. По поклёвке узнавал крупную. Лещ — он как берет? Поплавочек зашатается, будто пьяный, и будто пьяный — набок. Мужик ждет-пождет, покуда лещий наездку обсматривает, засосет в рот, — тогда поплавец вскочит торчком и пошел, пошел с погрузкой в глубину. Тут и подсекают. А я не так. Я напрахтиковался. Двунадесятых у нас праздников двенадцать? Я двенадцать раз „господи помилуй“ прочитаю да ка-ак пазгну: леща при лежачем поплавке и беру. На две волосинки. И ну ицу его выхаживать! Раз пять часов водил. О был денек! Рядового леща выкидывал. Накидал, поди, пудов десять. Прасолы прямо ко мне на лошадях подъезжали. Улов продам, да рыбу-то, что не выловил, запродам. Верили. Ежели отец Увар сказал — так и будет.

Рассказчик стоял голый, в забывчивости размахивал руками, приседал, подсекал, нагибался, изогнувшись почти до земли, подолгу высматривал клёв.

— Эй, чудице! — хототали бабы рыбаков, проходившие

по берегу. — Срамник! Будет представлять! Прикройсь! Увар, а Увар, подь к нам, мы тебе штаны сошьем! Из крапивы. Собак на тебя наусыкаем! Прямо в святые мученики попадешь!

Увар слушал в пол-уха. Не переставая рассказывать, он поворачивался к бабам спиной.

— Эт славно! — потешались бабы. — Ай да Увар! Всё сразу понял! Вот теперь так и на человека похож. Как все люди. Прямо живой угодничек!

Бабы останавливались, крестились и со смехом делали поясные поклоны.

— Я, — вдохновенно шептал Увар, — однажды под вечерок чудо видел на озере. Вдруг откуда ни возьмись посередке спасательная лодочка с Каменного монастыря. Она в бурю несется. А тут — не замутишь ни в воде, ни на небе. Лодочка эдак постояла да на воздухе поднялась, паруса на ней вспорхнули, и покатила и покатила она под облака. Я мужикам кричу: „Лодка, лодка на небе!“ Окол мужики невод кропали. Видение то мне одному было. А и сидел-то я, поди, от мужиков за пятнадцать шагов. Лодка прямиком на солнце полетела. Я глядел на нее, покуда и пятнадцатка от нее не осталось, а только будто след от облачка, как будто белая итица с подшибленным крылом. Одно крыло машет, другое повисло. Мужики-дураки пичему не видели. А один, гляжу, идет ко мне, сердитый такой, ведро у него в руке. Подошел. „Вон, лодка-то опять вылезает из воды“. — „Где?“ — говорю. Мужик-то меня, сволочь, обманул. Ведро мне сзади на голову вылил. Как я с перепугу закричал да почал захлебываться! „Ты, грит, Москвы теперь не видишь?“ Эдакая свинья косолапая! Не поверил в лодочку, а она, ей-ей, плыла: глаза у меня свои, а не чужие.

Увар, не скрываясь, рассказывал. Иногда ребята шли домой без рыбы, но никогда не возвращались опи, не наслушавшись от сторожа разных былей-небылиц.

— Ну и врать Увар! — охальничал Вася, утрачивая за-

думчивость по мере приближения к монастырю. — Выдумать ему ничего не стоит. Брет и денег не берет. А может, ребята, он смеется над нами от скучи? Ему делать нечего, кроме как пузом на солнце лежать да червяков пасаживать на крючок. Он раньше звонарем был на колоколах, а теперь языком звонит.

Домой поднимались вверх по Студенцу, обшаривая поры в берегах и под камнями. Это называлось — доложить осталльное. Вася так часто лазил по порам, испытывая удачи и неудачи, что все поры разделялись на любимые и несчастливые. К любимым мальчик подходил, опережая товарищей, с захолонувшим от ожидания сердцем. Вася отчаянно обманывался.

На узком перекате лежал огромный синий камень. Его называли „кормильцем“, шарили под ним в очередь, ведя точный табель. Спорили до драки с нарушителями.

— Кормилиц пынче мой! — жадно заявил Вася. — Вчера Тишка, я видел, выскочил из-за плотины и побежал вниз. Он хочет два раза сорвать улов. Это к чортовой матери! Не по правилу!

Тишка был вороват и жаден и силен. По Вася неудержим на руку: камень так камень, палка так палка. Мальчик яростно надувал губы, неудержимо кидался на противника и побеждал.

— Выгружай, толстая губа! — хмуро говорил Тишка. — Поглядим, чего достанешь! Я тут... рапьше зачистил!

Рыба любит перекаты. Под синим камнем-кормильцем дыры, как поздри в коровае. Много. В одну' входит рука по локоть, в другую — до поллоктя, в третью — одна кисть, а в четвертую — палец. Никогда все дыры не бывали пустыми. Выскользнет налим из рук: это значит — не ушел совсем, а перебрался в другую порку, по соседству. За ночь рыба шла из верхнего и нижнего бочагов. Утром поры полны.

Здесь частенько ребята почевали, дожидались рассвета. Тогда поры — для всех. Рыболовы забредали в воду, каждый

становился хозяином отведенного ему участка и по сигналу мог приниматься за ловлю.

Налим тянулся на огонь. Жгли костер у самой речки. В полночь, когда гуще мгла, даже середь лета, вздували синичку. Для растопки поджигали сухую берестинку: приносили ее из дома.

— Вздувай налимий фонарь! — кричал Вася.

Журж, журж... — лепетал Студенец.

Багровый лак костра покрывал таинственную поверхность вод, извивался по ней причудливыми разводами, точно муар по шелку. Живые цветы, водоросли, трава ползли по течению, мгновенно выступали, как румянцы на щеках; в одном месте струи гасли, в другом мешались, пропадали... Звезда уронила в бочаг драгоценный сияющий свет, и он лежал не то на весу где-то в глубине, не то на дне, в россыпи камней. Вася казалось, что к отраженной звезде подплывал налим и закрывал ее усиками.

— Идут, — шептал мальчик.

Ребята напряженноглядывались в молчально-спокойное лицо Студенца. Им представлялись толстопузые головачи-налимы, развернувшиеся по дну гуськом, будто разрубленная на части длинная змея. Они медленно, степенно, ползуче правились в норы.

Синий камень забросили после одной ловли. Еле-еле дождались утра, когда с румяных высот распространился над землей достаточный свет и легкий туманный пар окутывал синий камень, будто огромный поплавок. Вася засунул руку в самую просторную дыру.

— Захватил! — восторженно вздохнул мальчик. — Упирается. Что-то, ребята, невиданно большое! Тяну! Тяну! Тяну! Скользит! Ох, не удержать! Нет, нет, тут! Во-от!

Вася с трудом взмахнул рукой. С нее взбудораженно лила вода. Товарищи с затаенным дыханием ожидали. И вдруг сразу все с криком отпрянули от синего камня. Мальчик дико вззизгнул...

С силой отброшенная огромная черная крыса плюхнулась в нижний бочаг и тяжело погрузилась, как гиля. Вася, дрожа, тряся рукой, выскошил на берег: на мякоти большого пальца был рваный прокус.

Ох, и досталось синему камню!

Ребята вооружились кольями и долго и старательно разрушали знаменитые норы. С тех пор рыболовы никогда не проходили мимо, чтобы не наказать бывшего любимца. Вася павсегда потерял охоту шарить на лимов.

Длинных летних дней недоставало. Загуливались до ночи. Тишке, Вандо, Накалу и Свищу монастырские высокие стены напочем. За игуменским корпусом угловая башня насквозь просырела. Обступили ее вплотную мокруны-тополя. Остременная башенная головка точно в зеленых вихрах. Эдакий непокорный вихор торчит и справа и слева. Кривые ветки перекинулись через ограду и низко свесились к земле. Захолустье. Поле репья, кустарника, бросовой земли — до Студенца. Тут лазили взад и вперед.

Шурка и Вася научились спускаться из мезонинной светелки по скрипучей лестнице неслышимыми кошками.

К кабаку со светелкой приделано длинное одноэтажное летнее строение: это продолжение кабака на время ярмарок — чайная и закусочная. Там огромные комнаты-сарай с некрашенными столами на козлах и узкими скамьями. В середине чайной деревянный буфет и огромная плита с вмазанным в нее кубом для кипятка. Куб — как медная кованая избушка. Прилавок низко присел. Кабак издали напоминает монастырскую башню с продолговатым куском ограды. Монахи и послушники называют это строение не иначе как „кабацкий корпус“.

Шура и Вася, тихонько отложив крючок у входной дверцы в чайную, осторожно крадутся в самую заднюю пустую комнату. Там свободно выставляются окна. Тем же путем и возвращаются.

Это почное нападение на монастырские сады и ягодники.

Иил Обросов спит и не видит. Попадались днем. Перенесли на ночь.

Из озорства и насмешки, в траве от деревца к деревцу привязывали тонкую бечеву. Иил подслеповат, шаг у него крупный и безудержный. Садовник встает от первого удара колокола. Сматривали из-за кустарей на запруде, как бежал с беспокойным обходом отец Иил, запинался о бечеву и падал носом в землю. Точно ветром подхватывало соломенную широкополую шляпу.

В траге барахталась грузная, неуклюжая фигура, и смешно горела круглая лысина, почти равная малому блюду, с которым ходит третий сборщик в церкви. Отец Иил, поддавленный хохот наблюдателей, как говорят сорок раз подряд „господи помилуй“, вспоминал мать-богородицу и всех святых.

Монастырские сады, кладбище, мельница, гумениники, поля, конюшни, скотные дворы, братские корпуса с темью коридоров и закоулков, пустые, заброшенные башни с каменными мешками в стенах, с ржавыми кольцами от стародавних времен для монастырских узников и ярмарочные ряды — необозримая ребячья земля. Каждый шаг на ней и знаком и нов.

За версту от Рябинок деревня Осинники. Там школа. Там никогда не бывает лета: там всегда зима. Там чужая и злая земля. От Шурки перешел к Васе потрепанный черный ранец: брату отец купил новый. Такого, и погрепанного, нет ни у кого из школьников: все ходят с грязными сумками из холстины. Ранцем можно гордиться. Но недолго. Пока у всех ребят на виду. А лучше его сбросить с плеч скорее и с Тишкой, и с Пакалом, и с Синичкой продолжать привычную жизнь.

В школу Вася ходил не торопясь, простоявая лишнее на мосту через Студенец, свертывая с дороги в поле к летним вешкам-березам и елям в монастырской балке. Стоянием на коленях у доски мальчик платил за опоздания.

Обратно веселый и быстрый путь: вирисочки, взапуски с Синичкой. Ни одной напрасно потерянной минуты.

В школе хорош только желтый высокий шкаф.

Когда Вася получил первую толстую, в зеленом переплете, книгу, он крепко запомнил мутные, вымазанные ме...ом стекла в шкафу и разноцветные книжные корешки. Мальчику захотелось немедленно и как можно скорее прочитать всю верхнюю полку. Да, пожалуй, дорога в школу и даже уроки чего-нибудь стоят!

Нельзя, конечно, пропустить и редкий волшебный фонарь. Вася с удовольствием путешествовал по морям и океанам, забирался на Памиры и в Кордильеры, бил гарпуном китов, охотился на тигров и львов, гулял, вспоминая Кулакова, по заграничным огромным городам, сравнивал древние монастыри и башни с Рябинками... Но все же чудесны воскресенья и праздники, чудесны каникулы, и ни с чем не сравнимо дето, когда школа заперта и учитель Иван Иванович Чугунов приходит запросто в кабак, смеется и шутит, не спрашивает уроков и не может поставить на колени.

Зимы, весны, лета и осени. В какой-то день приехала на подводе бабка Афанасья. Чья это старуха вылезает из телеги? Вася едва узнал бабушку.

— Ты это что же, матка, больно худа-то? — тревожно спросил папа.

Бабка не приезжала давно. А когда она была? Как будто совсем еще недавно!

Мама вдруг как-то сказала:

— Три года живем в Рябинках, и времени не видали.

Потом в осеннее ненастье из Котлова пришла тетя Дарья, папина сестра; она сразу заплакала, и Вася понял без слов, что бабушка Афанасья умерла.

Через год мама вместе с Васей ездили на похороны в Пряхино: бабушку Аграфену зажонал знакомый церковный сторож, который переделывал наше вывеску. После похорон мальчик зашел в бабушкину горницу. Вои они, три лукошка

с яблоками. Бросился. Но яблоками только пахло. Йукэшки стояли на полу, а не висели под потолком. Пустые. И тогда вдруг стало жалко бабушку.

Вася помчался Пряхиным. Заглянул туда, сюда. Какая незнакомая местность! Ребята чуждались его, и он почувствовал какое-то смущение перед ними.

Даже, даже Никита изменился. И... как он постарел! Как будто бы у Никиты голос был чище и звонче. Никита явно уступал в выдумках старцу Пафанаилу. Мальчик недолго посидел со старым другом.

Года два назад, когда Никита приходил на ярмарку за порохом и дробью, друзья не могли досыта наговориться. Мальчик во всех подробностях расспрашивал о Пряхине, а Никита расспрашивал о Рябинках. Теперь они точно издали поклонились друг другу и разошлись.

Жизнь в Рябинках шла крепко и оседло. Сзади кабака Федор Степанович построил обширный свинарник в десять стойл. Игумен Нектарий святил его. Он же дал папе книгу, с картинками, про йоркширских свиней. Боров Васька походил на старца Пафанаила, когда тот спяща в одном белье выполз из кельи на четвереньках, хрюкал и старался, как настоящее животное, щипать траву. Боров был смирен и добродушен, как Увар.

Вася сделал из тонких веревок узду для борова, надевал ее и, обшарашив своего коня, выезжал на Большак.

— Ну и ахрапай! — засмеялся Федор Степанович, увидав всадника первый раз. — Смотри, Марьюшка, Васька на Ваське едет. Выдумает же игру, безобразник!

Боров двигался с таким равнодушием, точно не чувствовал на себе седока.

Но Федор Степанович одобрил затею только на первый случай. Вася не удовольствовался конем-тихоходом. В один из своих выездов он дал ему шпоры — и тогда боров взревел, разъярился, понес и бросил всадника. Вася пришлось звать на помощь. Боров вцепился зубами в пиджак мальчика,

приподнял его на воздух и припялся трепать. Отец и мать уже торопились на выручку. Едва отняли. Боров, с ошалевшими глазами, кинулся на Федора Степановича, загнал его в кабак. Мать в страхе потащила сына с прокущенной ягодицей в придорожную глубокую канаву, чтобы укрыться от борова. Федор Степанович едва справился с ним, обломав о животное палку.

Отец явился из свинарника с Васиным уздачным изделием в руке. Уздачкой он и выпорол его, приговаривая:

— Я тебя, мерзавца, в стойло к борову брошу! Пускай он тебя загрызет и обгложет. Раздикался, стервец, на свою голову!

Напротив кабака Федор Степанович получил от игумена Нектария десятину огородной земли. Ее пахали монастырские лошади. Кабатчик не сходил с огорода. Шурка и Вася с сестренками пололи и поливали огурцы, морковь, картошку, капусту — по три копейки в день. Папа вел табель и платил по субботам. За хорошую работу прибавлял.

Полнотелая корова Рыжуха ходила с ведерным выменем. Федор Степанович гордился ее густым, как иссветла-желтое масло, молоком.

— А я к тебе, Федор Степанович, на сливочки, — говорил игумен Нектарий, заходя в кабак перед монастырскими помочами: косили и жали рожь бесплатным пришлым деревенским народом.

Федор Степанович провожал нужного гостя в комнату и угощал. Клобук его, как черное ведерко, стоял на стуле. Вася вертелся около клобука: мальчику хотелось его примерить.

Папа водил игумена осматривать свинарник. Клобук удалось надеть. А потом Вася созорничал: незаметно посадил в клобук кошку.

— Помочь у нас, Федор Степанович, — озабоченно пел игумен, — житие... В прошлое воскресенье объявил я за проповедью народу... Придут, не придут? Порадеют, не по-

радеют? Гонцов послал по деревням. За неделю мириие оповещены.

— Было б только вёдро, отец Нектарий, — отвечал Федор Степанович, — осталось два дня, а погода незерная...

— Упаси боже! — воскликнул игумен в страхе. — Солько приготовлений! Обитель останется без хлеба. Своих рук не хватает. Рожь сгниет на корню.

— Уберем, — успокаивал Федор Степанович. — Я и то Марьушку пошлю жать, сам за нее справлю всю работу. Деревенские монастырь так не оставят. Вино, отец Нектарий, сколько бы ни выпили на помочи, как и в прежние годы, мое. Это мой грешный вклад в обитель.

Хозяин и гость приветливо усмехались друг другу. Игумен, устроив нужное дело, начинал довольно собираться во взяси.

— Не троинь, не троинь, Федор Степанович, — притворно не позволял игумен суетившемуся и смущенному кабатчику вынуть из клубка мирно дремавшую там кошку. — Как она туда забралась! Бог ведь облюбовала место!.. Кис-кис, прошлись!

Игумен тихонько, посмеиваясь, опрокинул набок клубок.

Марьушка в тревоге посматривала на хмурого мужа, а больше всего на притаившегося у стенки баловника Васю.

— А черт, даже принять не можем как следует первого человека в Рябинках! — бормотал Федор Степанович жене. — Откуда-то взялась эта кошка? Брысь, негодница!

Федор Степанович чем-то швырнул в нее. Кошка опрометью вылетела из комнаты. Не прозевал убежать за нею и Вася. Гнев отца мог обратиться и на него: папа, братя кошку, уже подозрительно оглядел мальчика.

Вася не умел считать проходивших лет. Но в мезонинной светелке один косяк дверей принадлежал Шурке, а другой — ему. На Васином зарубок было больше.

Шурка вставал к косяку два раза: весной и осенью.

Брата зимой не было уже давно: сначала он учился в селе Верховажье, а потом папа отвез в какой-то город Череп-

поведь, на реке Шексне, в Александровское техническое училище.

Вася заглядывал в светелку в самое неурочное время. В гнилом пазу возле косяка был воткнут зарубочный гвоздь. Он бороздил глубоко и отметно гладкое, струганое дерево.

— Меряться, меряться! — радостно воскликнул Вася, встречая приезжего брата.

Почти внезапно мальчик разглядел по-новому и старца Нафанаила, и Лаврова, и Благовещенского, и даже папу. Они ему показались другими, чем он их видел вчера. Как будто совершенно напрасно он верил каждому их слову, хотел им во всем подражать и непременно походить на них. Почему-то ему стало не приятно, что папа весь покруглел, на тяжелую серебряную цепь поперек живота навесил кисть дребезжащих брелоков, ходил с перевалкой и не со всяkim посетителем кабака одинаково здоровался.

После однойссоры с отцом, наказавшим мальчика, он сидел запертый в светелке. Пришел Шурка.

— Кабатчик! — пренебрежительно воскликнул Вася, повторяя с наслаждением много раз слышанное им слово, которое недовольные папой люди произносили с особым обидным ударением. Раньше мальчик загорался от обиды за отца, дрался с ребятами, а теперь готов был сам крикнуть это слово, если бы не боялся побоев. — Вон Синичку отец никогда не трогает.

Шурка ходил в летней форме технического училища: в коломенковых брюках навыпуск и в такой же курточке. На картузге — топор и якорь. Вася хотел походить из всех знакомых ему людей только на брата. Но Шурка не поддержал его:

— Не бьет, значит Синичка не заслуживает, — важно сказал он. — А за брань папы я тебе дам взбучку!

Шурка с некоторого времени относился к брату с высокомерием, считая себя окончательно и бесповоротно взрослым. А главное, Шурка был сильнее и од-

ним махом в драках валил брата на землю. Все пришлось смолкнуть, хотя бы и не меняя своего взгляда на папу.

Подчинение Шурке обладало какою-то непонятной сладостью. Брат был тих и скромен и аккуратен.

— Гляди, на кого ты похож! — в сердцах говорила мама. — Ниджак рваный! Лицо в царинах! А руки, руки?.. Ты землекой? Настоящая свинья-хавронь!

Действительно, братья целый день играли вместе в городки, бегали у озера, ловили рыбу, бродили по лесу в поисках грибов... И какая разница между ними! Шурка как ушел из дома в выглаженных брюках, с отжимом, так и вернулся домой. На нем ни складочки, ни пятнышка, чистюля! Даже сапоги не запыли!

Брат превосходил во всем, даже в чистописании. В школьном шкафу, в желтом переплете, в самой серединке, по широкому корешку книги было вызолочено: „Александр Сергеевич Пушкин“. Книгу открывала страничка с почерком Пушкина. Вася, из подражания, начал писать мельчайшими буквами.

Федор Степанович любовался чистенькими тетрадями Шурки, написанными ровно и четко, красивее, чем по-печатному. Тетради Васи резко отличались от братинских. Нока мальчик писал крупно и по линейкам, отец, вздохнув над неровными и кривыми буквами, хотя сам был не особенно горазд в чтении, все же разбирал отдельные слова. Теперь письмо сына не поддавалось: отец был не в состоянии его осилить.

— Как ворона набродила! — сморщил раздраженно папа брови, сунул мальчику тетрадь в руки и приказал: — Читай!

Вася заинтриговался на первой строчке и безнадежно умолк.

— Вот, вот у кого надо учиться! — закричал Федор Степанович. Он бережно разложил на столе тетрадь Шурки, ткнул в нее носом мальчика и заставил его по линейкам переписывать непреодолимый чернильный бисер в новую тетрадь. — Кончишь, покажи! Каждый день мне подавай твоё

бумагомарание. Я тебя, подлеца, вышколю! Шлея несчастная! Я тебе покажу мелкое шитье!

Вася был упорен не менее отца. Мальчик отказался от мелкописания только в подконтрольных тетрадях. Зато он старательно упражнялся на стенах, на лоскутках бумаги или просто на гладком столе грязным ногтем, воображая перед собой бумагу. Отец ловил его и беспощадно таскал за уши. Беспощадно порол.

Шурку все любили. После вечерни игумен Нектарий, прикладывая крест к губам брата, иногда приглашал его к себе на вечерний чай. Это была особая, редко доступная для Васи честь.

Тут Шурка не выдавал брата. Итти одному домой Васе было нельзя. Он дожидался у игуменского крыльца или у ворот. Братья возвращались вместе с гостини у игумена.

Летом школьный шкаф на запоре. Летом дождливые дни, и проходящие грозы нависают темным потоком над землей. Вася не умел сидеть без дела. Выручал тот же игумен Нектарий.

У него свой книжный шкаф: тяжелый, с зеркальными стеклами, с задернутыми изнутри темномалиновыми занавесями. Нектарий отдергивал на золотых колечках по медному пруту занавеси. В глаза Васе было крупное, глазастое золочение корешков: „Кормчий“, „Четын-Минеи“, „Жития святых“, „Троицкие листки“, „Преподобный Нил Сорский“, „Сказание о неопалимой купине“, „Пантелеимон-целитель“, „Симеон-столпник“, „Варвара-великомученица“, „Божья мать семистрельная...“

Игумен Нектарий сначала проверил Васю на тоненьких дешевых книжках о святых и потом уж стал охотно выдавать дорогие, в переплетах.

Иногда посещение игумена кончалось чаепитием с вкусными монастырскими булочками из пшеничной муки. Двойная выгода. Мальчик старался ускорить обмен книг. Обманул один раз — и попался. Нектарий попросил рассказать прочитанное,

а мальчик только покраснел. Теперь он, возвращая книгу, уверенно говорил:

— Сегодня спрашивать будете?

Игумен Нектарий чаще усмехался и отказывался и только изредка отвечал:

— А ну, попробуем!..

Он не спеша перелистывал, подолгу копался в книге, отыскивал самое сложное.

Вася складно, без запинки барабанил какое-либо житие пречестного и преславного Пафнутия, мученика Сосипатра, старицы Ефросиньи или Прокопия, Христа ради юродивого чудотворца.

У мальчика была цепкая память. В трапезной монахи и послушники обедали и ужинали в две смены. В низенькой сводчатой трапезной всегда горела огромная висячая лампа над огромным столом. В углу, в киоте, от полу до потолка стояла икона, словно за стекло поместили высокую продолговатую дверь, покрыли ее красной краской, а на ней расписали во многих клеточках „Житие праведного Иоасафа“. Серебряный подсвечник со свечой, толще самоварной грубы, курил перед Иоасафом копоть. Направо, у окна, на аналое раскрытая книга Четыи-Миней.

Монахи и послушники охотно уступали Васе место у аналоя. Мальчик зарабатывал право садиться за соблазнительный монастырский стол. Вася читал в первую смену при игумене. Ели чинно, молча, крестясь перед каждым людом. Мальчик заранее узнавал у кухарей, когда были четыре перемены и стоило ли за них долго, до хрипоты в горле, читать Четыи-Минеи.

Страницы закапаны воском, кто-то во многих местах сковырнул воск до дыр, но можно легко и свободно читать Четыи-Минец даже наизусть.

Игумен Нектарий сидит в голове стола. По бокам — казначей Вениамин и Агафондор. Дальше — все остальные малые монастырские люди.

Игумен всегда кончает первым блюдо. И ждет, держась за колокольчик, пока последний из братии проглотит остатки с тарелки. Игумен делает вид, что он внимательно слушает звонкий голос чтеца, летящий по Четыи-Минеям.

Иногда Вася перепутывал количество звонков перед подачей следующих блюд и захлопывал книгу раньше времени. И... остолбеневал: братия оставалась на местах.

— Мы не кончили, — с усмешкой говорил игумен, — ты рано торопишься за стол.

Краска бросалась в лицо мальчика: Нектарий раскрывал тайные желания чтеца.

Вася накапливал за Четыи-Минеями аппетит: жующие и вкусно чмокающие монахи раздражали его.

Во второй смене было весело и оживленно. Лавров или старец Нафанаил садились на игуменское место, хотя ему и полагалось быть пустым. В звонок звонили только тогда, когда хотели, под общий хохот, передразнить игумена. Требовали смены блюд проще.

— Степаница! — гудел бас Благовещенский, коверкая имя кухаря Степана, — посытай служков! Есть там в котлах выплески от синедриона?..

В стекле открывалось небольшое окошечко из кухни, в него просовывалась красная, потная рыжая образина Степана.

— Кто имя жены произносит во святой трапезной? — забавляясь, провозглашал кухарь. — Изыди, поганый женолюбец!

Прячась от внезапного появления игумена, поспешно доставали из широкополых подрясников скляницы с водкой и пции чайными стаканами, поставленными для кваса.

— Вася, — кричал Лавров, — побарабань шам монолог из Четыи-Минеи! Вали житье старца Нафанаила али отца Иила, кустодия монастырских древ и кущей!

Мальчик упирался за обе щеки, не вставая с места, по охотно жарил па-память почти любую страницу из прочитанной несколько раз книги.

Шурка с некоторого времени подсмеивался над божественными книгами и не читал их. У Шурки был крокодиловой кожи толстый альбом, привезенный из Череповца.

Недостижимым для Васи почерком в альбом были переписаны разные стихи. Брат подолгу углублялся в перечитывание своего чистописания. Альбом хранился в столике под замком. Вася изредка с трепетом получал этот альбом: на руки ему Шурка не давал, а читал и пел вместе с ним одно стихотворение за другим.

Почему-то этот кожаный альбом казался Васе таинственным и необыкновенным. К обладателю его мальчик постепенно проникся чувством преклонения. Вася желал быть вторым Шуркой.

Толку получалось мало. Мальчик вдруг раздражался и взрывался внутри против медлительности и спокойной уверенности брата, тащил его, покрикивая, за собой в поле, к озеру, за монастырскую ограду. Вдруг с неприязнью разочаровывался в его разутюженных, аккуратиеньких брюках, курточке, картузе с белоснежным чехлом, в начищенных смазных сапогах.

Вдруг в неудержимой отчаянности он начинал ковырять зарубочным гвоздем в замочной скважине стола, чтобы достать Шуркину книгу, напачкать в ней, истрепать ее или совсем выбросить. На зло. В насмешку. Разозлить Шурку. Заставить его плакать, бежать за ним со сжатыми кулаками, с хохотом смотреть, как смешно трясется у брата от ярости нижняя губа и глаза вылезают из лоб.

Дрались в кровь. Но никогда не жаловались они друг на друга отцу. Федор Степанович наказывал за драки обоих: и правого и виноватого.

Была одна песня в Шуркиной книге. Ее переписал тот на отдельном листочек, дал выучить Васе, а Вася — Синичке с монастырскими ребятами. Ее полюбили и пели хором каждый день. По ней Федор Степанович и Марьюшка узнавали, где пребывают их дети-певчие.

— О, — говорил с улыбкой Федор Степанович жене, дожидаясь ребят обедать или ужинать или на поливку огорода, — пдут! Опять король поехал...

Хор с увлечением заунывно и медленно пел:

Когда-то жил в Англии король молодой,
Имел он двух дочек, не равных собой.
Белее, чем майский день, была младшая дочь,
Сестра же смуглее, чем черная ночь.
И старшая младшую манила тайком:
„Пойдем погуляем на бреге морском...“
И черен был моря покров...

Дальше рассказывалось, как старшая дочь, из зависти к красоте младшей, столкнула ту в море. Из косы утопленницы сделали арфу. Бродячий музыкант пришел в королевский замок, заиграл на арфе, все узнали в пении арфы голос королевской дочери. Тогда преступница побежала к морю и утонула. Но уже из ее косы никто не сделал арфы.

Вася со слезами на глазах переживал грустную гибель несчастной младшей царевны и негодовал на старшую. Событие ему казалось достоверным и будило в нем потаенные чувства любви к красавице. Мальчик воображал себя рыцарем, он дралился на турнирах, всех побеждал, пробирался в королевский сад, в десять-двадцать раз больше игуменского сада, царевна выходила к нему на свидание, но злая старшая сестра тоже любила Васю, подглядывала, из ревности завлекала Васину возлюбленную на морской берег...

Тут мальчик поправлял песню по-своему, более решительно, чем вначале. Он внезапно появлялся среди обеих царевен и громовым голосом кричал:

— Остановись, презренная!

Старшая сестра не успевала погубить младшую. Наоборот, Вася хватал злодейку и легко, как перчатку, швырял ее на острые зубцы скал. Потом он приказывал из косы преступницы сделать телеграфные провода и протянуть их по Кирилловскому тракту от Вологды до Кириллова.

Слушая из окна мезонинной светелки, как печально пели провода в бури, мальчик считал, что ревнивая царевна уже наказана.

Много лет эта песня из Шуркина альбома звучала в ушах Васи и будила самые причудливые мечтания о подвигах, о любви, о добром и злом на свете, о чудесных далеких странах, о где-то бушующих, сильнее чем озеро, морях, о славе. Мальчику хотелось быть красивым, кра-си-и ее всех, красивее Шурки, умнее игумена и папы и учителя Чугунова, гордым и выносливым, как все герои в книгах и в песнях, а главное — знаменитым, как президент бурской республики Крюгер и генерал Бота.

В то время шла война буров с англичанами. Федор Степанович читал почти по складам. Вася даже еписходительно жалел отца, не умевшего читать, как он, бегло и без запинок. Папа, однако, выписывал газету „Биржевые ведомости“, „Сельский вестник“ с приложением книжек „Бог — помощь“ и жадно слушал чтение сына.

Почтовая пара неслась мимо кабака два раза в неделю. Почтальон не мог не заехать. Федор Степанович наливал ему бесплатный грязеный стакан с верхом. Папа ненавидел англичан и горой стоял за буров.

— Вася, Шурка! — нетерпеливо звал он ребят. — Газеты! А ну-ка, валите скорее, как там наши буры колошматят англичанку. Где генерал Девят со своей армией? Где Бога?

Удовлетворив нетерпение, папа уже сам садился за газеты, радовался неудачам англичан и делался мрачным при отступлении буров.

В дни прихода почты ребята делились на два лагеря, воинственно сражались на пустыре в лопухах за монастырской оградой, переправляясь через Сгуденец вброд и вплавь, с ревом и криком рубили самодельными деревянными саблями и просто палками лопухи и крапиву. Сражение разыгрывалось не на шутку, если Вася удавалось утащить и пустить в дело отцовский пугач.

Песня о королевских дочках сама по себе и незаменима... Но в сражение и после сражения шли с другой.

Делая воображаемо страшные и кровожадные лица, каким полагалось быть у обиженных буров, ребята грозно и зловеще, почти басовито гудели:

Пахнет кровью над лугами,
Битвой душу веселя,
Буры храбрыми рядами
Ходят, бритвов шевеля...

Сверкало солнце в Оранжевой республике. Широкополье шляпы буров надвинуты на лоб. Но разве закроет шляпа мужественное лицо бойца от пали солнца? Лица должны быть загорелыми, как начищенная медь.

Ребята терли кирпич, мешали порошок с желтой глиной и наводили на лица загар.

Вася мечтал быть Крюгером, Деветом, Багой. Мир населен героями. Мальчик плакал от обиды и несправедливости в день разгрома бурской республики. Но он же не годовал и ненавидел, когда Девет и Бота сделались послушными английскими генералами, а Крюгер поехал гостить в Лондон к английскому королю.

— Измениники! — рыдал мальчик. — Продажные шкуры! А мы за них стояли! Не хочу я походить на Крюгера, на Боту, на Девета!

Отец посмеивался и с сожалением говорил:

— Ничего не поделаешь! Идетью обуха не перепибешь! Нужда заставила! Они, поди, съели бы англичан, да тех не разжуешь. Раз поддались — помалкивай!

Героев почти не убавилось после потери бурских военачальников: дядя Том из „Хижин дяди Тома“, Роланд, князь Михаил Скопин-Шуйский, Наполеон, Микула Селянинович, Добрыня Никитич, генералиссимус Суворов, кривой князь Кутузов, Барклай-де-Толли, Негр Великий Иванушка-дурачок и конек-скакунок.

Вот только святые отцы и мученики, и митрополиты, и патриархи, и апостолы не годились в герои. Читать о них было очень занимательно, но они обременительно всю жизнь постились, ходили в рубищах нищих, жили под землей, в пещерах, как крысы живут в поре под синим камнем, — эти в воде, те на суше, — или в тяжелых, пудовых ризах и разукрашенных горшках-митрах на голове подолгу служили утруни, обедни, всеночные, не смели любить красивых принцесс и просто девушек, ходили по земле в неудобных подрясниках, рясах и мантиях, точно бабы в сарафанах и платьях.

Таким же был и преподобный Иоасаф, старец Нафанаил, отец Илл, игумен Нектарий, казначей Вениамин, такими же — другие монахи. Вот из них и выходят святые.

Вася смеялся.

— Отец Илл, — говорил неугомонный весельчак старец Нафанаил, — сказывают, наш игумен затевает открытие мощей Иоасафа из-под спуда. Архимандрита думает получить. И богоугодного старца разыскивает по монастырям. Обитель скучает по святым. Все угодники от древности, а новых никак не сыщут! Ты б Нектарию шепнул словечко, как он к тебе придет ягоду пробовать: Нафанаила-де пора в почет, настоящий прорицатель, за всяkim все грехи видит, большое прославление Рябинок может получиться. Али тебя в преподобные? Ни одного огородника и садовника не бывало во святых! Мы с тобой вместеях потрудились.

Вася слушал, и запоминалось...

Шурка в сонном бреду бормотал:

— Открой топку! Дай пар!..

Это он готовился стать машинистом и водить по Волге пароходы.

Машинист — тоже герой. Но Вася где-то прочитал о взрыве котлов на пароходе и о гибели под водой затонувшего судна. Страшно. Жутко. Да и никто не видит в машинном отделении героя. Там так жарко и душно, точно в печке у

покойной прихинской бабушки, когда Васю парили на огненном поду. С машиниста льет пот, как масло с маховиков. Это уже просто скучно!

Вася решил отказаться от звания героя-машиниста. А когда это случилось, Шурка показался ему менее интересным, чем раньше. В конце концов мальчик остановился на заимствовании от Шурки одной коломенской курточки, легко подхваченной широким ремнем с золотой бляхой, и на брюках с проутюженным рубчиком.

Скоро завладели вниманием Васи другие герои. Подражание почерку Пушкина засело крепко. Но этого было мало. Захотелось вот эдаким неразборчивым, пушкинским почерком, даже с нарочно зачеркнутыми словами, самому сочинить Четын-Минея. Мальчик на одной страничке перекладывал длиное житие какого-нибудь святого. Память помогала.

В начале зимы на неделю приходил обшивать семью кабатчика старик портной Налимов из Загорного. Ему-то, тайно от отца, мальчик и читал свои запретные сочинения.

Налимов, бородатый, седой и кругловатый, как апостол, сосредоточенно думал, разглядывал старый, проданный пиджак, отмечал на нем мелким какие-то знаки, перелидовывал его. Сверкающая игла Налимова ловко и умело насекала ровный, красивый бисеричный шов. Старик внимательно слушал, ласково поощрял мальчика и приветливо усмехался. Между делом он много рассказывал Васе сказок, опять же о святых, но мало похожих на четын-минейские и во много раз занятнее. Мальчик садился перекладывать их по-своему. Налимов раскрывал удивленно глаза на маленького сочинителя.

— Эг ты... как же... как же... слово в слово... О башка у парнишки!.. Прямо-таки... хотя бы в волостные писаря... О уставляет! Писарек с ноготок! Ты, малой, старайся, старайся! Боле отца свою добудешь харч. Я те говорю серьезное дело!..

Теперь Вася вообразил себя писателем.

Черная лакированная коляска, запряженная парой белых лошадей. Раньше чем кучер Никита шагом проехал на ней в монастырские ворота со скотного двора. Вася и Шурка уже дождались ее у игуменского подъезда. Вот и оп, в черной легкой рясе, в знакомом клобуке, с посохом, игумен Нектарий. В коляску внесли коричневый сундучок: там лежат неведомые угощения.

Вася и Шурка чинно подошли под благословение к игумену. Тихонько коснулись худой и сухой руки.

— Садитесь, — сказал Нектарий. — Шура со мной, а ты, Вася, на сундучок. Ты нас поменьше. Тебе удобнее.. Кстати сундучок не будет прыгать.

Все приятно и на сундучке, но еще приятнее на козлах с Никитой. Мальчик медлит. Игумен с недоумением смотрит на него.

— А можно мне туда? — спрашивал неуверенно Вася и показывал на козлы.

— Конечно, конечно, — отвечал Нектарий, довольный тем, что любимый мальчик не стал оспаривать места у Шурки.

Кони взяли. Мальчику очень хотелось свистнуть на все Рябники, как делали ямщики. Но мешает игуменский клобук.

Зато никто не мешал Никите гнать лошадей по узкому зеленому проселку. В пяти верстах Брюхачевская поскотина. Монастырский хутор с особыми игуменскими покоями. Летние скотные дворы. Желтый копанный коровий пруд. Лесные сенокосы.

Приехали на сенокос. Завелось: игумен делал приятное полезному Федору Степановичу, беря его ребятишек к себе в коляску. Деревенские старые бабы умилялись на клобук, окруженный детьми.

На огромных лесных полянах несколько сот наемых и бесплатно-богоугодных косцов и косиц в рубашечной пестрят весело и споро кладут душистый коровий корм.

Игумен с часок прогуливался, направо и налево кивая своим клобуком на приветствия косцов. Кой-где игумена задерживали бабы, кидавшие косы и стремглав подбегавшие под благословение.

Тогда Вася незаметно ухмылялся и шептал Шурке:

— Нектарию это нож вострый. Гляди, сердится: где бы косить, а они бегают!

Тем временем игумен как будто находился в смущении и всем прикладывавшимся к нему говорил:

— Не надо, не надо! Работайте с богом! Я не для того приехал! Я не хотел бы мешать!

На ущербе дня, под белым шатриком, точно ба॒дахин на четырех молодых березках, игумен с ребятами чаевничал и закусывал. Коричневый сундучок открывался. Почему-то белые баранки, такие, какие давали на закуску в кабаке, здесь были вкуснее, как и конфеты, пироги и тройное варенье — малина, клубника и поляника.

Поодаль дымились котлы для косцов.

— Смотри, — шептал Вася брату, — папицой водкой обносят мужиков и баб. Папа у нас жертвователь...

Косцы располагались прямо на земле, хлебали из больших деревянных чаш-хлебниц суш. Монахи с четвертями водки, просвечивающими сквозь низевшее солнце, обходили пестрые груды потрудившихся и каждому наливали по зеленому стаканчику.

— Стаканчик-то зеленый для обману, — не унимался Вася, — в нем ничего не видно. Будто он и большой, а у него дно толстое.

Шурка пугливо отодвигался.

— Какая божья благодать! — воскликнул Нектарий каждому из проходивших мимо людей. — Воздух райский! Животворящее солнышко! Святое божье вёдро! Прямо для обители и для всех православных христиан-тружеников!

Староста радовался проще:

— Щипе повалили, отец Нектарий, боле трех четверок

покоса. Ровно бы, по дыму из труб, погода выстоит, сено не смочит, и убрать можно во время. И без беды не обошлось. Подляки какие-то в траву каменья нашвыряли. С целью, негодники. По всем полянам около трех-четырех десятков кос поломали косцы. У другой зазубрина с пятаком, у другой кончик отвалился, иную напополам...

Игумен Нектарий всплеснул руками, как крыльями:

— Ты, Барашков, это так не оставляй! Надобно уведомить урядника. Пускай он пошарит по деревням. Народ — дурак. Шила в мешке не утаит. Озорники непременно не утеряют и... похвастаются. Тут их и возьмем за длинный язык. Ах, злодеи, ах, завистники! Это из лесных деревень. Это старая тяжба из-за покосов.

Вася только ради почета и редкого удовольствия прокатиться на игуменских лошадях и мирился с этим стеснительным для него сенокосом.

Пакануне они были здесь своей ребячей компанией, явились пехтурой, с корзинками для грибов, нагрузили их, шлялись весь день, вертелись под косами, подъедали выкошенные ульи в траве, гребли, боролись и засыпали друг другу за пазуху сухое, колючее сено. Вот это сенокос!..

Игумен Нектарий собрался в обрат с первыми хмельными выкриками быстро подпоенных с устатку косцов.

— Ну, ребятки, с божиим благословением, — сказал он, поднимаясь, — погостили с мирянами, и будет. И лошадки наши отдохнули. Благорастворение воздухов и несмышлённых скотов равно ублаготворяет! Лошадки побегут весело и дружно.

Вася описал сенокос с полной насмешкой над игуменом. Мальчик увлекся и не заметил стоявшего за плечами отца. Папа понял не больше половины, путаясь в неприятных караулях, строго посмотрел на сгоревшего сразу в краске мальчика, разорвал листок на мелкие части, смял в крепкий комок и швырнул за окно.

— Неблагодарное животное, — сурово сказал папа, — тебя

игумен в коляске возит, а ты про него пакости пишешь. Это ты на потеху послушникам делал? А? Чтобы ты больше никогда не смел! Я тебя когда порол? Неделю назад? Да? Так я тебя буду скоро каждый день! На задницу не сядешь. В свеклу ее раздеваю!

Мальчик никак не мог угодить строгому отцу, любившему чистописание Шурки.

В житие, когда желтая саженная монастырская рожь топила Рябинки со всех сторон и они казались маленькими, захлебнувшимися в золотистой тьме хлебов, деревенские приходили на помочь.

После торжественной обедни с проповедью о семи тощих и семи тучных коровах, о пяти тысячах, насыщающихся от одного маленького хлебца, сотни подогретых и разжалобленных баб, девушки, мужиков и даже старух со своими и с монастырскими серпами кидались на поля.

По загонам ковыляли корешастые раззолоченные иконы в киотах. Иеромонахи в клубках, с серебряными крестами на шеях, бродили по межам. За черными с ног до головы попами с бабьими гривами Тишк, Пакало, Свищ, Вапцо и другая челясть со скотного двора несли небольшие водосвятные чаши. Монахи размахивали кропилами и поливали жнецов святой водой. Игумен Нектарий на разных концах монастырских плодоносных земель, с хором и с двумя диаконами в легких золотых и серебряных ризах, служил молебны.

К вечерням поля далеко отошли от Рябинок. Суслоны, как солдатские ружья в козлах, обступили неоглядными лагерями монастырь. Глухой вечер, июльская густая пртемень заставляли разгибаться жнецкие спины. Тогда только догадывались подавать сигнал к окончанию: небольшой колокол трижды раздельно гудел над положенным замертво хлебом.

— Начистую! — кричал с колокольни вестовой-наблюдатель игуменскому келейнику, высланному Нектарием на балкон. — Щепоти нигде не осталось! Шариком! Народ пошел!

На широкой улице между страшноприимными домами и скотными дворами из свежего пахучего леса были заранее нарублены дия за два, за три длинные козелковые столы со скамьями. Тут и сям на столах среди горок хлеба стояли пузатые зажженные фонари с лампами. Монахи с поклонами встречали подходивших жнецов и жниц.

— Доброхоты! Радетели! Кормильцы! — возглашал громогласно игумен Пектарий. — Прошу покорно откушать! Поздравились! Обитель славит вас и вместе с вами ликует! Слава отцу и сыну и святому духу! Многая лета труженикам православным христианам!

Игумен давал знак Лаврову. Вася и Шурка любили петь многолетие. Звон камертопа. Лавров поднимал высоко руки, как он делал, когда нырял зимой в прорубь в башни дни, резко бросал их вниз, и хор ревуче многолетил.

Бульк, бульк... — плескалась мещеринская водка в четвертях. Четверти плыли над головами много и жадно ужинавших жнецов. Скотницы разносили огромные чаши с капустной и картофельной похлебкой, с кашами, со сладким луковником. Деревенские молодцы с молчавшими покуда тальянками стояли кучами недалеко от столов. Девушки принимали от монахов стакан с водкой, подавали знаки молоцам, те стремительно побегали и наскоро опрокидывали разбавленное водицей мещеринское зелье.

Шабашили. С громом и треском качались столы. Парод подымался. Монахи исчезали, точно их по ошибке жнецы и жнеи скушали вместе с кашей и луковником.

Вдоль монастырских стен по широким дорогам, возле стыдливо закрытых ворот начиналась веселая и пьяная тальяпочная топотня, песни, драки...

Девки и бабы шли в разудалую частушечную дробь:

Шила милюму кисет,
Вышла рукавица,
Меня милый похвалил:
— Какая мастерница!

Рядом другой табунок отплясывал под свою гармонь:

Я сидела на комоде,
Шила юбочку по моде,
На боках карманчики,
Чтоб любили мальчики.

Молодцы не удавали. Они скакали в облаке теплой и пухлой пыли, словно вытряхали из мельницы из мешков черную муку, и неистово голосили:

Серы уточки летели,
Во все горло крякали...
Мы с миленком целовались —
Только щеки брякали.

Рядом, обласив девок, озорничала другая артель.

Как на речке, на ручью
Целовал не знаю чью,
Думал — в кофте розовой...
Вижу — пень березовой.

Не выстояли перед общим весельем даже пожилые бабы и мужичьё с бородами. Знакомый Все шкользыи с орёж, запьяниловский краснопос Федя, почему-то прозванный ребятами „чулапом“, отчебучил свою песню:

На столе лежал арбуз,
На арбузе муха.
Муха злится на арбуз,
Что не лезет в брюхо.

Не забыли монахов-хозяев и послушников. С помощью нагрузились из остатков и они. Несколько смиренных ишаков откуда-то выбрали в самый разгул и, подхватив подрясники, заскакали на дороге:

В огороде у забора
Два подкидыша лежат:
Одному лет сорок восемь,
А другому пятьдесят...

Пылили до полочки, унося за собой в мрак полей голо-
систые, смирающие вдали песни, пытые тальянов, тонут рас-
ходившихся во-всю ноги...

Вася записал новые для него частушки-коротушки. Но
только он запел и топнул раз ногой в мезонинной светлице,
вызывая Шурку на плясовую, папа уже позвал винз.

— Новое дело! — пренебрежительно бросил Федор Степано-
вич. — Плясать, дурак, у меня над головой выдумал? Песни
дурацкие петь? Паслушался вчера! Ну, так я тебе говорю,
разгильдяю: довольно, забудь! Ной своего короля. Этот и
не больно складен, но все же не деревенщина!

Вася не посмел открыто возразить, по втайне усмехался:
он и без записи помнил поправившиеся ему частушки. Отец
был бескончен вытравить их из памяти.

Мальчика одергивали на каждом слове, оспаривали каждый
его поступок, редко Вася угощдал огнью своим поведением.
Мальчик научился укрывать свои чувства и переживания. Он
умел уже разбираться в окружающем, любить и ненавидеть
его, отбирать хорошее и быть недовольным дурным.

В Рябниках в году три ярмарки: на благовещение, на пет-
ров день и на воззвишение креста. Ярмарки по пяти дней.
В подторжье приезжал купец Шевелюхин с тремя взрос-
лыми сыновьями. В канун подторжья вся мещеринская семья,
кроме папы, выбиралась из кабака в странноприимный дом.
Мещеринские нижнюю и верхнюю комнаты занимали хозя-
ева; они спали на папионе и ребячье кроватях, завладе-
вали всем имуществом кабатчика.

Раздоле пожить без отца! Раздоле не оглядываться вза-
пятки, в страхе увидеть папу! Но одновременно непависть
к купцам Шевелюхиним. Они выше и сильнее. Папа побе-
ждал всех, кроме Шевелюхиных. Он беспокойно торопил
маму:

— Укладывайся, укладывайся живее! Перовно раньше
времени прикатит. Велено вычистить комнатушки и провет-
рить от жилья.

Игумен Нектарий давал лошадь. Она стояла у кабака и поджидала кладь. Мама всегда печально бормотала:

— Бездомные мы какие-то в эти проклятые ярмарки. И чего Шевелюхину не жить бы в монастыре? Гляди, проживется у Нектария в палатах? Дорого, видишь! А тут бесплатно. Три копейки сбережет. Сколько даровой посуды набывают, табачищем стены продымят, нагадят в каждом углу. Не комната делается, а второй кабак. А мне потом мой и скреби скребком...

Мальчик рано понял унизительность этих ярмарочных переездов, и негодование клокотало в его маленькой, тщедушной груди. Монахи и послушники растравляли его.

— Иди, Васька, к нам в монастырь насовсем, — издевался старец Нафанаил. — У тебя Шевелюхин глава, у нас Нектарий. А над Нектарием повыше шишка — сам архиерей. Я хоть без толку, а могу архиерею на Нектария жалобу подать, а па Шевелюхина некуда. Вытряхивает вас — и баста! Сироты! Келейку тебе дадим, Васька!

Редкостное ярмарочное зрелице, с балаганами, каруселями, качелями, с тысячами цветистых сарафанов, платков, шалей, с тысячами ржущих лошадей, вытаптывающих поля вокруг, померкало в блеске. Точно рывун-ветер срывал с него таинственное покрывало, и обнажалась грубая правда Васиной жизни, которую распоряжался чужой дядя Шевелюхин, распоряжался, как хотел: мог выгнать маму с сестренками из пизу, а Васю с Шуркой — из мезопинной светелки, мог оставить. И не оставлял. Не помогали и Шуркины парандые брюки и модный с белым чехлом картуз.

Вася пробирался с заднего хода в кабак, чтобы повидать отда и получить с него депег на необходимые закупки сладостей, пряников, рожков, халвы. Папа давал каждый день по двугривенному.

В кабаке были ор и шум, как на ярмарке, та же толкотня и давка, вопяло водкой, дымом, гарью, закусками. Звенели стаканы, плескалась и булькала в бутылках и стаканах

водка, звенели медяки, серебро. Папа худел с подторжья: на ногах за стойкой — двадцать часов, а ночью перекачка водки в дубовую бочку, подготовка к торговому утру.

— Па, — поспешил совал папа монетку, — не шляйся сюда больше. Скажи матери — пусть она вам дает. Иди, иди! Хозяин увидит, он не любит!

Вася улавливал тревожный взгляд отца, обращенный на закрытые двери комнатушки. Мальчик вспыхивал от стыда и боязни показаться на глаза хозяину.

На ярмарке забывалась обида. Пахучие ситцы, вкусные шинуны-пышки, сладкий медовый запах палаток с пряниками, леденцами, карамелью, винными ягодами, вяленой и сушеной грушей — покоряли все чувства и все неприятные мысли.

Они всплывали позже, после закрытия ярмарки, в сновидениях...

Веселая и шумная ярмарка с сотнями незнакомых купцов, с приезжими помещиками в синих поддевках, в чесучевых и белых нарядах, а с ними барыни и барышни в легких кисейных платьях, в хвостатых шляпах, какие-то военные, — все это сборище и сливалось с тысячами простого народа, отставало вместе обедни и вечерни, толклось между торговых рядов и в то же время держалось отдельно.

Вася разглядывал этих людей и с клироса и на улице. Он безошибочно определял их: это игуменские гости.

Они высовывались из окон игуменских покoев, выходили на балкон, лазили на колокольню, бродили по ризнице, гуляли в саду, они первыми подходили в церкви к кресту.

Среди них мальчик замечал озабоченную огромную лошадь — купца Шевелюхина. Васе нравилось, что кабацкий хозяин здесь был совсем другой, чем в кабаке. Там он тяжелоступ и неприступен, а здесь и ласковый, и вертлявый, и даже низко кланяется.

Мальчик видел и понимал, что на ярмарку собирались совершенно разные люди: одни явно властвовали над другими. Хотя Шевелюхина Вася ненавидел и презирал, но все же ему

больше правилось гоститься с игуменом и быть вместе с этими красивыми, нарядными, чистенькими, чем с неряшливыми деревенскими, тащившими на себе узлы с покупками, чем с бабами-скотницами, целыми днями неопрятно жевавшими пряники, и даже с монахами, должно быть, опять же маслившими свои гривы только для этих знатных.

Федор Степанович незадолго до какой-то из ярмарок положил перед мальчиком „Сельский вестник“ и мечтательно сказал:

— Видишь вот эти клеточки? В них разные чины. Называются эти чины „табель о рангах“. Будешь хорошо учиться, тебе дадут чин. Я чина не выслужил. Я податного состояния. А ты прилежанием в господѣ попадешь. Понял, дурак? Ежели и не в господа, то в чиновники. И будут тебя называть: Василий Федорович Мещерин, коллежский регистратор или губернский секретарь, личный гражданин. Так обозначают и в паспорте. Никто мужиком не назовет. Не кабатчиковъ-де сын Мещерин, а сам себе с усам. Хорошо?

Знатных ярмарочных людей Вася считал коллежскими регистраторами и губернскими секретарями. Желание отца и сына совпало. Мальчик поделился своими мечтами со старцем Нафанаилом и с Лавровым. От тех пошло дальше.

— Ты, Васька, — с притворной серьезностью подзуживал Нафанаил, — ладь прямо в дворяне. Отец твой сильно скромен. Чиновники маленькие — все пищие. Ты, Васька, не этого конца начинаешь. Ты денег добудь в жизни гору. За деньги чинов себе накупишь, они недорого и продаются, медалей, орденов. Увешивай, знай, грудь, ровно иконами божицю. И в писатели не ходи. Писателю, не будь у него поместья, без денег тоже тяжко. Он вроде нашего брата под игуменом-хозяином ходит. Одни деньги, Васька, главное в жизни. Деньги добудешь — до всего ход. Купец да богатый дворянин первая спица в колеснице. Попишки там, игумны, архимандриты — это слуги, это помощнички! Им — чего из кошелька вывалится!

Бася охотно соглашалась стать богачом. Он даже принял
копить выдаваемые напой пятаки, продавал выигранные ко-
стяги ребятам на копейку двадцать штук, готов был во-
ровать... Только негде. Федор Степанович после истории с
рублем всегда держал на запоре денежный ящик под стойкой.

Однако мальчик оказался не прочь помечтать о богатстве,
а деньги его не любили и скоренько поступали в мелочную
лавку Владыкина.

Ярмарка кончалась под колокольный звон к поздней все-
ночной. Лавки в рядах начинали закрываться. Новсюду на-
изготовке дожидались подводы под недопроданные купече-
ские товары.

Скрипят телеги. Ржут кони. С лязгом и звоном разбирают
карусели. Ребята на последние гроши раскупают кустики
из красных и синих детских шаров, колеблемых ветром над
головами.

И снова в Рябинках молчаливо и уединенно. Только скачут
мимо редкие пары и тройки, ползут тихоходы мужицкие
обозы. После пасхи мужики с котомками побредут на отхожие
промысла. На тропках канав остается скорлупа от крашеных
пасхальных лиц. Зимой, в ноябре гонят рекрутов по боль-
шаку, и они стараются разгромить кабак. Папа запирает
кабацкие двери, берет в руки скакалку и мрачно стоит за двер-
ями, поджидая недругов, если бы они сломали засолы. Остав-
ши, о двери стучат кулаками, палками, покуда не надоест.

Проносят чудотворную монастырскую икону со сбора. Не-
сметная орда баб и пустоволосых мужиков, в поту и в пыли,
тащит тяжелую киотную усыпальницу с царицей небесной.
Игумен Нектарий с духовенством в ризах, с золотыми метал-
лическими хоругвями, с фонарями, с семисвечниками до-
ждается ее в монастырских воротах. Так по чину надо
встречать монастырскую домоправительницу. Она с цветами
для до успения ходит из деревни в деревню по дрезнему
Кирилловскому тракту, собирая мужицкие копейки на укра-
шение обители.

В тех же воротах со всем монашеством, в тревоге и бледноте, встречает игумен Нектарий обезжающего епархию архиерея. Тогда скачут мимо кабака монастырские верховые и кричат:

— Выехал из Евстигнеева!

Это за три версты. Но уже раскачивают язык у большого колокола. И пошел встречный звон...

За длиной всепочной седенький архиерей Павел Обпорский, горячка и кипяток, читает Евангелие. Дьякон Агафодор криво держит книгу, архиерей сердится, тычет краем Евангелия дьякону прямо в лицо... Вася видит, как Агафодор покачнулся, из рассеченою губы сочится кровь; дьякон незаметно слизывает ее и прячется от народа за раскрытый серебряный сундук Евангелия.

И спова Рябинки пустынны, точно вымороочные. Жизнь остановилась, как сломанный маятник. Владыкинский Каквас хождяничает на дороге.

Он же заставляет ожигать ненадолго Рябинки.

У Федора Степановича пропала бесследно кошка Мурка. И Вася, и Шура, и папа обыскали весь монастырь, ряды, чердак в кабаке. Нигде!

— Будет искать, — решительно сказал Федор Степанович, — заведем другую. Не плачь, Васютка. Да и не верю я тебе, что любишь Мурку. Любил бы, не дразнил ее и не дергал за хвост, пока жила кошка с нами. А теперь разлонился. Она от тебя и ушла. Не захотела терпеть муки. Чорт с ней! Подумаешь, беда и потеря какая!

Но через день Вася пришлось затаиться за углом в пустых ярмарочных рядах. Папа бродил тут же. Он ловко лазил из одной лавочонки в другую, отдирая щиты, заглядывал под пол и тихонько, ласково звал:

— Мурка! Мурка! Кис-кис!

У мальчика сладко и тепло сжалось сердце: отец звал Мурку со слезами на глазах.

И Мурка нацялась. Она залезла в будку Какваса, принесла

пятерых котят, а хозяин помещения дневал и ночевал около. Но нему и заметили неладное в собачьем жилье. Особенно, когда Каквас яростно кинулся на бродячую собаку, заглянувшую в окошечко будки. Каквас проспал врага, но и вознаградил же он себя за оплошность, изорвав нахальную собачонку в клочки. Каквас никого не допускал к будке и лаял на самого Владыкина.

День на третий, на четвертый появилась Мурка и стремительно попеслась в кабак. Владыкин побежал за нею следом, а Каквас остался сторожить котят.

Он так и не залезал в будку, покуда Мурка по одному не перетаскала за шиворог своих подросших детей в мезонинную светелку.

Рябинки зашевелились. Смотреть и хвалить Какваса приходил сам пгумен Нектарий.

Тихо. Звонят. Шумит озеро. Раз в неделю приходит пароход и мешает Увару целый день удить. Отвальный свисток слышен глухо в Рябинках.

Вася принес похвальный лист из сельской школы. Кончил ее. Учитель Чугунов подарил ему книгу в желтом переплете, на корешке которой знакомые три слова: „Александр Сергеевич Пушкин“. Вася узнал после, что учитель купил на Благовещенской ярмарке другого Пушкина и поставил его на место школьного.

Лето. Солнце. Зреют на земле хлеба, ягоды, яблоки и люди. Вася сделал на косяке еще одну зарубку: она подкрадывалась к Шуркиной.

ВЕРХОВАЖЬЕ

Село Верховажье, как олены рога, кужляло и путало. Оно на высоком берегу крутонравой реки Ельмы. Широкий падром на канате. На той стороне большак сразу ныряет в мелколесистые остатки прежнего волока. В Верховажье земская почтовая станция, рекрутский стан, двухклассное министерское училище и кулаки-prasолы, купцы, кожевенники, маслоделы, торгаши крупной и мелкой бакалеи.

Училище двухэтажное, широкое, опушка у него сизо-серая. Такие бывают голуби. Это единственный в Верховажье дом с большими, городскими окнами. На крыше жестяной петух-флюгер. Училище на краю села. Темнозеленый сквозной тын городит десятину школьной земли. Яблони, березы, малина и крыжовник. Пчельник с желтыми колодами. Пруд — как десятисаженная круглая пчелиная сота. Бока до дна выложены крупным булыжником. Родник. И вода ясна, точно свежий мед в соте. Это живорыбка. Сюда заведующий школой Владимир Матвеевич Набалов пускает живых щук, лещей и окуньё. Рыбаки привозят улов живьем.

По следам Шурки Федор Степанович поместил Васю на хлеба и на жительство к Набалову. Сначала папа доставил в подарок супоросную свинью. Она развела хрюкающее на всю школьную десятину семейство. Вася со всех ног мчался к пруду от рыбачкой телеги с широконадлонными корзинами

и бережно погружал рыбу в незамутимые, даже в пору дождей, воды. Набалов наметкой вылавливал рыбу к обеду.

Во втором этаже, окнами на большую дорогу, сельская и двухклассная школы. Две комнаты. Широкенный светлый коридор во весь дом отделял заднюю половину. То квартира Набалова из нескольких небольших комнат.

Внизу, под ними жил другой учитель — Николай Дмитриевич Фирлей-Канарский. У него два горба на спине. Одни из ребят называли учителя Верблюдом, другие — Двухснасым.

Против жилья Фирлей-Канарского похаживал старичок на ножках кренделем, в полотняном фартуке, с засученными по локоть рукавами. Он похаживал среди десятка столярных станков, похожих на конские стойла, распиленные в ширину надвое. Душистая стружка шуршала, обвиваясь вокруг сапожков Чичагова, и волочилась за ним, свертываясь в колечки.

Чичагов — мастер-столяр, обучающий двухклассников столярному ремеслу.

— Ты не столяр, а сапожник, — услышал Вася в первую же неделю своего жительства у Набалова зычный голос последнего на лестнице, ведущей сверху в столярную, — ты пятнадцать лет нам на экзамен одни шкатулки делаешь да дурацкие, никому не нужные сундуки. Ты ни одного столяра из ребят не мог подготовить. Они только лес портят.

Клавдия Сергеевна, жена Набалова, маленькая, кругленькая, толстенькая, швырнула шитье на диван и стремительно побежала к дверям.

Вася все это видел из соседней комнаты, где он жил с семидесятилетней матерью заведующего, Александрой Павловной. Сморщенная и белая, точно березовая губа, бабушка с поларшинным чубуком затянулась и сказала:

— Чичагов опять пьян.

Старуха подумала.

— Третьего дня — тоже. Пропил казенный фуганок.

— Волodya! — раздался умоляющий голос Клавдии Серге-

евны. — Володя, ты ужасно гремишь! Ты забыл, как это дурно влияет на твой больной желудок?!

— Пьяница! — вопил Набалов. — Я на цепях буду держать инструменты! Я на тебя колодки надену!

Внизу, под лестницей тоненько и визгливо плакал человек, и через одинаковые промежутки времени что-то пеуклюжевалилось и поднималось.

— А, — выходил из себя учитель, — ты в ноги мне кланяться?! Ты пятнадцать лет кланяешься! Ты покорностью меня хочешь взять?! Не-ет, не-ет, не-ет! Достаточно! Достаточно я от тебя натерпелся! И-не прощу! В-вон! Д-долой!! Нет! Шалишь!

— Володя, оставь его! Пускай проснится, — уже тянула за рукав мужа Клавдия Сергеевна. — Ему это — как с гуся вода, а ты будешь страдать! Опять грелки, горячие бутылки, бесконная ночь!

Бабушка запыхтела в свой черный чубук, лукаво улыбнулась и заговорщицки шепнула подглядывавшему через дверную щель в коридор Васе:

— Ну, теперь наши колобки покатятся из комнаты в комнату. А и виновата во всем она: давно бы надо выгнать Чичагова, а он ей, святоше, поплачется на свою судьбу, — бабка с сердцем поставила дымящуюся трубку в уголок на окно и вполголоса насмешливо протянула: — а Клавдинька у нас милосердная! Добродетельная христианка! Жалко пьянчужку! Букашечки, таракашечки жалко! А Вольдемар — каша и квашня. Она скажет слово в защиту, он и простит вора, себе на шею...

Низеньких и полненьких, одинакового роста Набаловых, но ребячье му прозванию, именовали „колобками“. Вася уже понимал взаимное недоброжелательство свекрови и спохи: обе они ревновали Владимира Матвеевича друг к другу, и каждой хотелось быть при нем главной.

— Пошел в свою берлогу! — гаркнул из всех сил Набалов и, почти плача, вбежал в квартиру, чтобы долго и неутомимо

суетиться, шуметь, продолжать бранчивое распекание отсутствующего Чичагова.

Клавдия Сергеевна следовала за ним по пятам с рюмкой и напрасно предлагала выпить какую-то желтенькую мутную водицу.

— Дай кошке! Дай кошке! Она тебя позабавит! — почему-то долго отталкивал лекарство Набалов, пока жена не добилась своего; муж проглотил, фыркнул и сунул обратно рюмку. — Какая гадость! Л-лекарство домашних врачей!

Поздно вечером Вася, уже с нетерпением дожидаясь ужина, вдруг услыхал откуда-то тягучую, неясную и жалобную песню.

— Это Чичагов поет, — сказала старуха с трубкой. — Он после бани Вольдемара ложится спать, через три часа просыпается, потом начинает стругать. Если водка не вся выпита, он ее допивает и поет песню. Одну только и знает. Беспутный человек! — воскликнула старуха с большим осуждением всякого беспутства на свете и даже со злой добавила: — А хитрец! Он чтобы к уроку показаться пьяным — ни-ни! Всегда на месте!

Вскоре Вася, дружа с Чичаговым, подтягивал ему. Пьяный столяр лежал в копне стружек. Бутылка была спрятана тут же. Это на случай появления Владимира Матвеевича. Чичагов пел с закрытыми глазами:

Ох, вы, славные русские кислые щи,
Вы медвяные щи, нузырные!
Для чего вы, щи, скоро киснете
Середи поры-время теплого?
Что поутру вы, щи, запелилися,
О полудни, щи, поспевали вы,
А при вечере и скиснули.

Ах, ты, молодость, моя молодость!
Ты разгульная и веселая!
Для чего скоро, ах, проходишь ты
Середи житья да привольного?
Что давно ли то было времечко,

Как я молод был, молодешенек,
И легок и бодр, будто добрый конь.
А теперь я начал уже стариться:
Проскакал конек поле чистое,
Доскакал конек до крутой горы,—
По горе коньку, знать, шажком итти...

— Вася, милай! — воскликнул Чичагов, обливаясь слезами. — Ни отца у меня нет, ни матери! Сирота я! Жана — у другого. Ни кола, ни двора у меня! Столляр я с рубанком да с фуганком, и больше никаких! Ка-ак тута, милай, не потешить себя водочкой? А Набалов меня ремизит. А ведь я под Набаловым на аршин вижу! Я дале его в жизни вижу! Он ребят обучает: аз, буки, веди, глагол, а я ребят на корм в жизни ставлю, руки у них золотые делаю. Сто-ля-ры!

Эх! Проскакал конек поле чистое,
Доскакал конек до крутой горы,
По горе коньку, знать, шажком итти...

И вдруг Чичагов осталбеневшими и недоуменными глазами долго и приметно разглядывал мальчика.

— Ты кто? — кричал он. — Как твоя фамилия? Ты... чорт в образе младенца?!

— Я... Вася, — отодвигаясь, произносил мальчик.

Чичагов начинал хитрить. Он лёгонько тянулся рукой к фуганку, закрывал один глаз, следя другим за неподвижным Васей. Но не тут-то было. Мальчик успевал выскочить.

— Свят, свят! — бормотал столяр в страхе. — Да воскреснет бог и расточатся врази его!..

Чичагов поспешил доставать водку, делал несколько глотков, оглядывался во все углы — и внезапная улыбка разливалась по его лицу.

Доскакал конек до крутой горы,
По горе коньку, знать, шажком итти...

Вася смело входил и садился на свое место: все повадки Чичагова были изучены.

По однажды мальчик подобрал выброшенный Клавдией Сергеевной лисий хвост от выпущенной горжетки, засунул его в карман и явился к пьяному Чичагову. Когда тот дошел до отупения и увидел перед собой черта, Вася юркнул вон и нарочно защемил хвост в дверях.

Чичагов так страшно и дико взмыл, что мальчик опрометью кинулся наутек, забыв о хвосте. Столяр вышиб раму, выскоцил в окно и в ужасе понесся вдоль села, покуда ошалелому старику не подставили ножку ямщики у земской станции и не схватили его. С хохотом и пинками опрокинули кстати на Чичагова кадушку с дождевой водой.

— Тону, тону! — биясь на земле, позвал на помощь Чичагов, но тут же растерянно опомнился и замолчал.

Фирлей-Канарский жил напротив столярной. Чичагов досяжал ему больше других. Николай Дмитриевич владел секретом усмирения старика. О секрете никто не знал, покуда Вася не открыл его и не рассказал Александре Павловне. Фирлей-Канарский отличался редким терпением. Он только в крайности ёжил уродливыми плечами и покидал свою комнату.

— Конёк-горбунок! — орал Чичагов, встречая Фирлей-Канарского. — Верблюдик в брючках! Двухснасный барин!

Учитель молча подходил к старику и мокрым шлепком клах ему на лысую голову полотенце.

Чичагов вздрагивал, как будто захлебывался от стекающей с полотенца холодной воды, мгновенно смирялся и в совершеннейшем оцепенении смотрел в глаза горбуну. Когда Фирлей-Канарский заставал Чичагова в картузе или шапке, он сначала снимал их, бросал на стружку, а потом уже прикладывал компресс.

— На сегодня достаточно! — приказывал горбун. — Не слыхать больше?

— Не слыхать, — соглашался Чичагов.

— Мне надо поправлять тетради учеников?

— Надо.

- С меня спросят?
- Спросят.
- Ты мне мешаешь?
- Мешаю.
- Понял?
- Все понял, — торопился, расцветая неожиданно от удовольствия, старик. — Вот твое и полотенчико! Просветлею у меня в мозгу.

Чичагов дрожал от озноба.

- Ложись и не вставай, — повелевал Фирлей-Канарский, — я тебя проверю. Станешь бродить по мастерской, я услышу — и тогда приду с палкой.

Вася узнал, как лег десять назад Фирлей-Канарский обломал о Чичагова палку, — с тех пор старик всегда послушен горбуну. Чичагову дозволялось только безнаказанно бранить укротителя.

Вася первый раз жил с чужими людьми.

Федор Степанович, прощаясь с Набаловым в каждый свой наезд, подчеркнуто говорил:

- Владимир Матвеевич, будьте отцом родным, порите вы этого шелопая, как сидорову козу. Только благодарность вам от меня. Дома от рук отбылся. А хочется человеком сделать.

— Сделаем! — гремела набаловская труба.

Мальчик никак не мог ни понять, ни объяснить себе, откуда такой голосище у Колобка?

- В ежовые рукавицы! У меня карцер для таких младчиков, — делал грозное лицо Владимир Матвеевич. — Я голодным пузом лечу от шалостей. Он уже зна-а-ет!

Так установилось, что Вася провожал отца по лестнице до калитки.

- Сидел? — любопытствовал папа.
- Да.
- За что?
- Уроков не знал.
- Почему?

- Не мог выучить.
- Долго сидел?
- Целое воскресенье.
- И... не кормили?

Вася заметил, что отец недовольно нахмурился. Мальчик замялся.

- Отвечай! — крикнул папа.
- Мне Александра Павловна по секрету... всего принесла. Вася с недоумением наблюдал папу: он и просветел и одновременно нахмурился.
- Значит, Владимира Матвеевича и Клавдию Сергеевну обманули?

На это не нашлось ответа.

— Хорошо, потом поговорим, — пригрозил отец, — неохота ворочаться, чтобы вывести тебя и бабку на свежую воду. Вдругорядь приеду, я вас проучу.

Мальчик ожидал всего, но только не такого оборота. Надо было выручать Александру Павловну, помогавшую Васе в темнице. И он сразу решился:

- Я... сам...
- Как сам? — не понял отец и заинтересовался.
- Федору Степановичу почтение! — прошел мимо и раздущио поклонился Чичагов. — Чего эт наследника строгашь? Ни за што, поди, ни про што? Нарень у нас Вася золотой. Поручусь!

Федор Степанович остановил Чичагова, взял его под руку и немного отвел от сына в сторону.

— Подожди меня за калиткой, — приказал он Васе.

Мальчик охотно вышел. Встреча отца с Чичаговым была понятна: папа давал столяру рубль за обучение сына столярному делу, а Чичагов этого рубля дожидался во всякий приезд Мещерина.

— Обучу лучше не надо! — слышал мальчик за калиткой торопливые и ликующие взглазы Чичагова. — Екзамен сдаст на полную пятерку. Как говорю, так и будет. Прямо возле

кабака твсего открывай столярную мастерскую. Мастером выпущу. Он у меня и шынече лучше лучшего. Нарень — сама сметка. Фуганит али рубанком очко мие вперед скоро дас.

Федор Степанович простился и вышел к сыну, внимательно посмотрел на него, как будто припоминая прерванный разговор, действительно припомнил его и сказал:

— Пойдем отсюда. А то Чичагов опять помешает. Пророди меня по улице до Ельмы и рассказывай.

Пошли.

Мальчик не знал, как начать.

— Карцер у Владимира Матвеевича в кладовке?

— Да.

— Это рядом с квартирой, по коридору?

— Да.

— Там тепло? Ну да, печка выходит туда одним зеркалом...

— Холодно, пана, — прибеднился с хитрецой мальчик, — я в шубе сидел.

— Так тебя и следует, — не посочувствовал и не вполне поверили пана. — Откуда холодно, когда одна стена теплая и кладовка среди дома? Выдумываешь! Обманываешь!

В конце концов где-то недалеко от Ельмы мальчик совсем забыл Александру Навловну.

— В кладовке, — покраснев, сказал Вася, — стоят стеклянные банки с вареньем и... с рыбками и с капустой...

— Ах ты, негодяй! — прошептал в негодовании отец. — Чем же ты достал? Прямо рукой?

— Рукой.

— И тебе не стыдно добрых людей? После твоей грязной лапы они будут кушать!

Долгое и тяжелое молчание прекратил подплывший к берегу паром. Отцу надо было переезжать на тот берег.

— А еще тебя Чичагов хвалит! — пренебрежительно прошептал пана, прячась от людей, спешивших на паром. — Иди, иди, мазурек, домой. Вгонишь ты меня в гроб своим поведением. Я вот опять буду в Верховажье, я тебе тогда

припомню. Никому, смотри, не болтай, воришка, как ты в чужие банки лазил. И не сметь больше никогда лазить!

Мальчик не стал глядеть на отпывающий паром: отец нарочно повернулся к сыну недовольной спиной. Вася, тая усмешку на губах, весело поскакал вдоль Верховажья.

В действительности мальчик пользовался и вареньем, и соленым, и приносами бабушки с чубуком.

Васю перестали сажать в кладовку, догадавшись по низко осевшим в банках запасам о сытном и вкусном питании заключенного. Теперь мальчика запирали в класс.

Осталась на свете одна Александра Павловна. Старуха не забывала малого своего друга. Она шлепала по коридору туфлями и тащила под шалью съедобное. Все было предусмотрено. Из соседнего класса двери можно раздвинуть, чтобы просунуть в щель передачу.

— С...с...с... — слышал знакомый шепот мальчика, — на, ешь скорее... не накроши... Клавденька востроглазая. Классы метутся после ребят. Чистые. Она живо подглядит. Съедят меня, старуху, за баловство тебе. Ешь да учи уроки. И не будут наказывать, шалый.

Федор Степанович находчиво загладил ошибку сына. В один из зимних приездов он вошел в учительскую квартиру, неся в обеих руках по пудовой пирожнице, да еще поменьше — подмышкой.

— Ах, что вы, что вы, Федор Степанович! Зачем это? — воскликнула Клавдия Сергеевна. — Это лишнее. У нас и своих приспособов достаточно.

— Не обижайте, — усмехался папа, не замечая такой же усмешки сына, прикорнувшего в углу. — Моему же озорнику достанется... Он живет у вас, как сын. Лучше! Воспитание благородное получает. Я рад хоть чем-нибудь отблагодарить.

Клавдия Сергеевна между тем помогала Федору Степановичу ставить пирожницы на кухонный стол.

— Осторожнее, Федор Степанович, — в полной тревоге хлопотала хозяйка. — Посуда с мороза делается хрупкой, не раз-

бейте! Никак, это варенье? Сышен запах клубники, малины, крыжовника... И такую бездну привезли! Да нам тут на два года.

Федор Степанович и слышать не хотел об отказе Клавдии Сергеевны.

— Кушайте на здоровье! Варенье зимой вместо летней ягоды.

Вася как будто так сосредоточился за уроками, что не слышал этого разговора. Он что-то усердно писал на лоскутке, готовый в любую минуту сунуть его в пачки трепаных учебных книжек. А писал он с азартом и увлечением только два слова: „Клавденьку разобрало, разобрало Клавденьку, разобрало...“

Заточение в классе с некоторого времени сделалось очень приятным.

Уроки мальчик должен был готовить на глазах у Владимира Матвеевича. Набалов изредка выходил из своей комнаты и проверял усердие нахлебника.

— Я кончил, — нетвердо заявлял Вася.
— Сколько прошло времени? — спрашивал Колобок.
— Два часа.
— Мало. Посиди еще полчаса. Повтори выученное, и можешь отправляться на улицу. К ужину — домой.

Это называлось проверкой.

В дни наказаний Вася освобождался от докуки и опеки. Классное окно, выходившее на небольшие три окошечка в соседнем двухэтажном доме прасола Курочкина, приковывало. Мальчик через силу придвигал сюда тяжелую парту, ставил ее боком, залезал на скамью коленками и на подоконнике раскладывал книги и тетради.

Саша Курочкина, маленькая, пестренская, — таким бывает бледнорозовый ситец горошком, — ученица трехклассной школы второго отделения. Но на утреннюю молитву перед началом занятий сходились все пять классов. Молитву читали попеременно.

— Динь-динь! — передразнил Вася голос Сани Курочкиной в одну из больших перемен, носясь по коридору вперегонки с товарищами.

Саня покраснела и взглянула сердитыми глазами.

— Курочкина, молитву! — сказал однажды утром Владимир Матвеевич.

И вдруг в рядах ребятишек произошло замешательство.

— Что-о?! — крикнул Набалов. — Ты молитвы не знаешь?

Саня Курочкина всхлипнула, вышла наперед перед иконой, произнесла с дрожью два-три слова и отчаянно зарыдала.

— Останешься после обеда! — побагровел Колобок. — Не знать молитвы во втором отделении? Читай следующий!

Саня весь день просидела безвыходно в классе, все перемены. Вася заглядывал на нее несколько раз в щелку дверей, позвал ребят с одной парты с ним; они пронеслись мимо Саня, громко топоча, взлягивая ногами, изображая коней, высовывая языки...

Но почему-то Вася, с бьющимся сердчишком, едва дождался утра, чтобы увидать снова Саню Курочкину. Так и начались мгновенные, таинственные, украдкой, с огнем на щеках, переглядывания.

Саня и Вася теперь не могли сказать друг другу ни одного слова. Мальчик весь превращался во внимание, розовел, едва слышал за тонкой перегородкой диньдиний голос Сани, отвечавшей у доски. Владимир Матвеевич грохотал:

— Сто яблоков разделили между тремя мальчиками, двум девочкам досталось в три раза меньше. Сколько...

— Мещерин, — язвительно спрашивал Фирлей-Канарский, — ты что мух ловишь? И глаза у тебя, как у пьяного, а уши оттопырены, как у некоторого... у некоторого... — учитель, морщаась, не договаривал. — Повтори, какие последние слова я сказал!

Вася вскачивал, сотрясая парту и неловко гремя откидной доской. Фирлей-Канарский неприятно вздрогивал, и пиджак у него на горбу двигался, как неуклюжий армяк.

— У некоторого, у некоторого, — робко бормотал мальчик, — вы сказали... у некоторого... у некоторого...

— Осла! — неистово завизжал Двухсиасный.

Ребята предательски и угодливо и громко засмеялись.

— На колени к доске! — вонил учитель. — Двойка за внимание. Молчать все! Что за смех? Кто позволил смеяться? Шаров, Купреянов, Осмеркин — туда же! Но-двое у каждой доски!

Фирлей-Канарский, бледный, с трясущейся челюстью, с глазами, горевшими страшным блеском, точно в глуби их вздулся настоящий красный огонь, распределял наказанных, переставлял с места на место и долго не успокаивался.

— Три яблока... — слышал какие-то обрывки ответов Санни мальчик, — две девочки... нет, один мальчик больше... — нежное, тонкое динь-динь звучало в сердце и заставляло его замирать странным беспокойством.

Мальчик не решался сказать Сане о своих чувствах почти до рождественских каникул. А тут в последние недели, запираемый через день в классе, он бесповоротно осмелел.

Саня увидала его в окне. Она выглядывала из-за белой занавески и тотчас пряталась.

Вася с дрожью вырвал лист из тетради. В три четверти листа по-печатному, задыхаясь, написал одно слово, каждую букву отдельно:

„ЛЮБЛЮ“

Написал и приkleил к стеклу. Саня вдруг перестала выглядывать из-за занавески. Прошло с полчаса. Мальчик, как истукан, но только со слезами на глазах, стоял позади наклейки и обожжено ждал ответа.

Вася испугался молчания. Ему было непонятно стыдно и больно. Но внезапно высунулась маленькая беленькая рука, одна рука, и наклеила на стекло крошечный бумажный лоскуток. Вася ничего не мог прочесть на нем, он видел только белое пятнышко. Однако оно значило для Васи больше, чем написанные им по-печатному огромные буквы.

На другой день Сания не пришла в школу. Вася это заметил тогда, когда решился поднять на молитве глаза от полу. Щеки мальчика рдели, как раздавленные на белом ягоды.

Не до занятий. Фирлей-Канарский, столовавшийся у Набаловых, резко и озабоченно сказал за обедом:

— Он лентяй. Он штаны протрет на коленях. Он отстает от всех!

— Вася! — сразу же загромыхал Владимир Матвеевич из соседней комнаты.

Александра Навловна с мальчиком обедали отдельно. Вася поспешил оставил ложку. Старуха нахмурилась. Она дружила с мальчиком так, как дружил бы с ним одногодок.

— Ты знаешь, у кого живешь? — закричал Набалов. — Ты лодырь! Воспитаник заведующего не сидит в классе, как все ученики, а... ползает по полу. Дрянь, паршивец, нерадивый мужлан! — пришел в ярость от собственного голоса заведующий, и Клавдия Сергеевна не успела удержать мужа. Он почти подпрыгнул, схватил со спинки стула полотенце и несколько раз с силой опоясал мальчика. — На неделю под запор! Без воздуха! Без прогулок! Я тебя в кабак отправлю!

Какой казалась прекрасной верховажская жизнь без папы, но только сначала! Мальчик без особого труда разобрался, что жил он не просто у чужих людей, но эти люди без всякого укрывательства презирали его и считали не равным Леньке и Борьке — мальчикам земского начальника Леонида Николаевича Орловского.

Это высокий, с проседью человек, как саврасый конь. У него вставной стеклянный глаз. Чичагов спьяна лукаво подмигивал, прикладывал к глазу пятак и говорил:

— Орла мужички попотчевали в Саратовской губернии. У дружил. Сказывают, больно лютовал. У нас живет на замирепи...

Ленька и Борька проходили прямо в учительскую комнату, как-то особенно противно шаркали ножками перед Клавдией Сергеевной, и она улыбалась им совсем иначе, чем Васе или

даже папе. Леонид Николаевич на поклон мальчика вращал целым глазом и снисходительно и свысока бросал:

— Здравствуй, здравствуй, нос красный!

Вася чувствовал обиду, что его называли, правда — редко, в горячке „мужланом“. Но зато он вполне одобрял мужиков, выбивших глаз саврасому. Это была справедливая месть, — может быть, за таких же обиженных саратовских мальчиков, как Мещерин. Стало еще больше понятно желание папы сделать Васю коллежским регистратором.

— Мы мужички дурачки, — жаловался и негодовал Чичагов, распивая бутылку и не закусывая, — круглые дураки! Мужик наш, Васька, то громит, то глаз вышибает, то попрошайничает и в ножки кланяется. Ох, и скотинка же он безрогая! Барину на ём, любому барину, Орлу одноглазому, и тому садись в обшарашку и повозничай! Набалов учителишко... В услуженьи у мужика... Обучай, сукин сын, сопляков деревенских! От барина в ём одна бумажка на барство осталась, а ба-ар-рин! И вся земля ему нипочем! Нипочем! Будто выше и человека нет на свете!

Вася старался подогнать запущенные уроки. Он зубрил, ничего не понимая, и тотчас забывал прочитанное. Перекличка белыми флагами продолжалась до потемок. Мальчик только и видел ручку Сани. Девочка упорно не подходила к окну. Изредка она останавливалась где-то в смутной глуби комнаты. Но этого было мало: Вася хотел видеть ее всю, для него одного, а не как в школе, когда Саня пряталась среди других девочек, а те ее прикрывали от мальчика.

Зато в окне появлялся порой Васин недруг Степка, из третьего класса, брат Сани. Мальчики не ладили, несмотря на все попытки Васи помириться с братишкой возлюбленной.

— Жердь! — кричал произительным голосом Степка, завидуя высокому росту Васи.

Снести это было выше сил.

— Коротышка! Городок! — делаясь свекольным, отвечал мальчик маленькому непокладистому задире.

Они кидали друг в друга книгами, смятой в комок и смоченной под краном бумагой, а на школьном дворе — снегом, глиной, камнями, чем попало.

Стешка делал рожи у окна, почему-то хватался за живот и хохотал, а несколько раз, загнув на спину пиджачишко, забирался на лавку и прижимал к стеклу маленькие ягодицы в штанишках.

Так, с двойками и с неизвестным письмом к отцу от Владимира Матвеевича, на попутной лошаденке Вася отправился в Рябинки на рождественские каникулы.

Проезжая мимо жилья прасола, мальчик скосил глаза из желтого и жесткого отцовского башлыка на окна любимой. Скосил без всякой надежды.

И вдруг в одном из окон он с трепетом увидел беленькую Саню, как на шкафу у Фирлей-Канарского стоит, выбеленная мелом, большая статуэтка какой-то молоденькой девушки с кучкой волос позади. Вася раскрыл рот, забыл о всякой осторожности, повернулся весь к окну и не сводил с Саней очарованного взгляда. Девочка, не мигая, уставилась на проезжающего и некрасиво сплюснула носик о стекло, так что видны были две растянутые дырки.

Мальчик, вглядевшись, вспыхнул от растерянности и негодования: ему показалось, что Саня смеялась.

Но Вася тут же был вознагражден. Подвода уже проезжала. Мальчик съскоса явственно заметил, как Саня осторожно приложила губки к стеклу, поцеловала его и моментально присела на пол. Видение исчезло...

Мальчик опомнился далеко за Верховажьем. Всю дорогу он зажмуривал глаза, и тогда в сладкой тьме все повторялось сначала.

О набаловском письме с тревогой и боязнью Вася вспомнил в Севастьянове, откуда были уже видны Рябинки. Мальчик долго не размышлял, открыл ранец и выпул письмо. На счастье, мизинец пролез с уголка в заклейку, и конверт открылся непопорченным.

Письмо не сулило ничего доброго: Васю ждало неизбежное наказание вместо радостного свидания с мамой, с монастырскими ребятами и послушниками. И письмо Вася утаил от отца.

На этот раз каникулы показались мальчику бесконечными. Он рвался в Верховажье, вызывая одобрение Федора Степановича, оценившего сыновнее усердие.

Петернекку Васю отправили за день раньше. Обычно с побывок дома по праздникам мальчика со слезами увозил отец. А тут папа нашел ненужным свою поездку, раз сын едва дождался конца продолжительных каникул.

Вася выиграл. Теперь когда-то соберется отец в Верховажье, и о письме все забудут.

— Почему ты так рано? — удивилась Клавдия Сергеевна, встречая нахлебника. — И один? Федор Степанович не приехал?

Владимир Матвеевич закричал издали:

— Порка тебе была?

Мальчик всего этого ожидал, подготовился, притворно смущаясь и почти шепотом ответил:

— Была...

— Не слышу! Громче! — засмеялся Набалов.

— Была, была! — досадливо выкрикнула Клавдия Сергеевна. Она смотрела на мальчика и чего-то ждала от него.

Вася уловил ее взгляд и засуетился, быстро доставая из ранца отцовское письмо. Дома ему папа сказал при прощанье и несколько раз повторил:

— Тут деньги. Не потеряй. Передай Клавдии Сергеевне. Но не говори ничего о деньгах. Просто передай. Как будто и не знаешь, что в письме.

Мальчик поступил наоборот.

— Вот вам, Клавдия Сергеевна, папа послал деньги за харчи.

— За хлеба, а не за харчи, — неприязненно поморщилась, поправляя, Клавдия Сергеевна.

С письмом как будто процесло. Был вечер в тусклых огнях и в начинавшейся метели. Вася побежал к заветному окну в класс. Окно замерзло. Мальчик спустился в столярную к Чичагову. Там в окне нашлась маленькая чистая лазейка для одного глаза. В нее Вася увидел красное жилое пятно света в Санином домике. Метель скоро скрыла его и пушистой стеной встала в проулке.

В последний свободный день, перед началом ученья, как только Вася показался на сельменской ледяной горке, ватага школьников встретила его подозрительным заташьем. Мальчик насторожился.

А потом и началось. Вася прокатился на лубяном лыке. Мальчика обогнал на гремящих и свистящих санках Степка Курочкин. Обогнал и свистнул. Артель ребятишек собралась внизу.

— Эй, жердь! — вызывающе кипул Степка. — Слушай, я про тебя песню сложил!

Ребята оживленно закричали и засмеялись. А Степка ухарски сдвинул рыжую собачью шапку на ухо и с ужимками, с приплясом запел:

Санька-каселька идет,
Белой юбкой машет,
Второклассник Васька жердь
У окошка пляшет.

— Люблю! Люблю! — гаркнуло сразу несколько десятков голосов. — Л-ю-б-л-ю! Ха-ха!

Вася без памяти бросился домой. Он на лету усвоил частушку, и она преследовала его.

Мальчик забрался в класс, сел в угол и горько заплакал. Все погибло. Теперь ребята должны были задразнить его. Они уже подготовились. Не может быть, чтобы это подстроила Саня! Тогда зачем она краснела при встречах, и усики ресниц у нее опускались на глаза, чтобы не показать Васе, **о** чём она думала? А **ночё** в дорогу?.. Мальчик вправе

надсмеяться над Саней, как делают большие ребята, когда девки их обманывают.

Проплакавшись, Вася, в негодовании на Степку, долго выдумывал частушку про своего врага. Посрамить его не удалось: шинела, как известка в яме, пенависть, а в частушке — ни складу, ни ладу. Бросил. Задушевный друг Чичагов тоже не помог.

— Раненько ты в любовь играешь, — серьезно сказал столяр. — Эт дело притчатое. Окол рекрутчины любвишка, там, ребятам в голову приходит. А до того... пожалуй, и дратъ следовает! Не грамотей, не столяр, а любовь?! Хи-хи! — не удержался Чичагов, пощекотал Васю и провел против щерсти по голове.

Школа неистовствовала неделю. Из боязни учителей, частушку в здании не пели, а шушукали по углам, на лестнице, писали на бумажках и распространяли по партам.

Вася ожесточению дразнялся. Он подстерегал одного, другого из своих противников и лупил их ремнем с бляхой. Были мальчика скопом друзья Степки. Но Вася паконец упорством сопротивления победил своих недругов. Битва обошлась ему недешево: мальчик носил под левым глазом шиншуку, пос был рван и дран царапинами, курточка сразу постарела — много ее шаркали о стены и катали по полу.

Пастоящая расплата пришла после. Саня попрежнему любовно взглядывала на молитве и в перемены и на ледяной горке. Вася из-за оконного косяка наблюдал за оконком любимой. Она шевелила занавеской и делала щелку. Пакленить бумажки боялись оба. Степка сторожил. С улицы подглядывали другие школьники.

Бессловесная любовь распалила мальчика. Он однажды столкнулся с Саней почти наедине. Набалов и Фирлей-Канарский подготовили в классе волшебный фонарь и позвали ребят из коридора в широко раскрытые двери. Вася и Саня отстали и очутились вместе. Праздничный вечер был темен для других. Он для Васи сверкал и сиял, как солнечное озеро

в ветер, — мальчик коснулся плеча Саши и почувствовал сквозь свою рубашку чужое тепло.

Ребята отпрыгнули друг от друга точно два ударившихся легких камешка. В тесноте и давке у дверей Вася осмелел. Он пашел руку Саши. Пущевые, светлые и горячие, отвернувшись, держась за руки, они сделали два шага и кинулись в разные стороны.

Это прикосновение к руке Саши вдруг изменило все. Мальчик до сих пор не догадывался, что так, незаметно для посторонних, в какой-то из вечеров с волшебным фонарем можно взять руку любимой и вложить в нее письмо с признаниями. Мальчик решил, что потому Саша и не отняла руки, рискуя попасться на глаза Стенке: она дожидалась письма.

Бессловесные чувства были проще и яснее. Вася выскрал из стола Владимира Матвеевича пачку белой бумаги. Но и на целой пачке, оказалось, нельзя высказать того, что хотелось и как хотелось сказать. Мальчик исписал множество листков и перечеркнул их. Не то.

Выручил Чичагов. В клетушке его, за перегородкой внутри мастерской, валялся на полочке письмовник. Столляр привес его из солдат, когда у Чичагова где-то были в деревне родные, и он выбирал по письмовнику нужные ему слова.

Дело пошло быстро. Вася проглотил письмовник в один вечер, остановился на одном письме и тщательно переписал его. Потом он выстриг с последней страницы хрестоматии, которая должна была понадобиться ему в конце года, картинку, изображающую перелет журавлей, наклеил ее в конец письма и подписал под ней одно слово „печаль“ в знак своих сомнений, ответят ли ему на пылкую любовь и не придется ли ему кричать и плакать, как журавлю.

В ожидании удобного случая для передачи письмо Вася таскал в кармане. И выронил. Письмо подобрали. И кто же? Фирлей-Канарский.

— Тише, Верблюд идет! — вполголоса выкрикнул последний из ребятишек, вбегая перед уроком. — Колобок уже пошел!

Двухглазый никогда не входил прямо лицом. Он спачала раскрывал дверь, зачем-то оглядывал коридор и потом уж нытился в класс горбом вперед. В это время за спиной его весь класс поднимал над партами по два пальца закорючками, чем-то напоминавшими двугорбие учителя.

А сегодня Фирлей-Канарский появился с Набаловым.

Тишина середины ночи. Ученики окаменели. Набалов — редкость в двухклассном училище. Два пальца, показавшиеся Вася несоразмерно длинными, уставились на него.

— Жалко, у нас нет гороха, — оглушительно громыхнул Владимир Матвеевич, — на горох бы тебя, Мещерин, поставить!

Вася с ужасом увидел в руках Набалова знакомый листок с полетом журавлей. Мальчик сунул руку в карман: пусто.

— Иди сюда! Стой перед всем классом! Потом поведем тебя на смотр ко мне в школу! — кипятился Владимир Матвеевич. — Может быть, вы, Николай Дмитриевич, почитаете?

И он подал письмо Фирлей-Канарскому.

Учителя сели за столик, выдвинутый в проход между двумя рядами парт, поставив между собой обвиняемого.

Красно-багровый Вася выдержал подчеркнутое, издевательское чтение, подхватываемое ребяческим бессмысленным хохотом, только до полстраницы.

Набалов и Фирлей-Канарский никогда не могли предполагать, что произойдет дальше. Мальчик внезапно вскрикнул, завыл, смаху рванул из рук чтеца письмо и немедленно исчез из класса. Двери так и остались настежь.

Шока смеялись ребята, а втайне они смеялись над одуряченными Верблюдом и Колобком, а те оба зарозовели и растерянно поднялись из-за стола, — мальчик в одной курточке выскоцил на мороз, метался по двору в поисках укрытия и спрятался в набаловский свинарник.

Там он в клочки уничтожил смятый листок. Для верности, чтобы никто и никогда не мог сложить листок из кусочков, Вася начал было жевать их и проглатывать. Но догадался

поступить проще. Кучку растёрзанной бумаги с дорогими любовными словами с подставленией ладошки, похрюкивая, слизнула свинья. Мальчик даже улыбнулся с приязнью к животному, сразу освободившему его от всяких улик.

Владимир Матвеевич выгнал Васю из свинарника часа полтора спустя, когда испуганно и Чичагов и учитель обыскали всю школьную десятину, доступную для обозрения и не залененную снегом. Двор был весь избеган, в ребячих следах; искавшим пришлось лазить через сутроны и всматриваться в каждый черневший за тыном предмет. Чичагов с палочкой прошел двор от начала до конца, начерпав в высокие валенки снега.

Сания на придирчивом допросе рассказала все. Она и мальчик по своим классам несли недельное наказание: он стоял на коленях, она стояла в углу.

Вызвали Федора Степановича. Вася подслушал из коридора, приползя к дверям пабаловской большой комнаты. Мальчик очень удивился, что Владимир Матвеевич и Фирлей-Капарский только спачала говорили громко и жаловались, а потом утихли; громко до конца говорил один папа.

— За что же мальчика исключать? — недовольно сказал отец. — Я так думаю, он никого не оскорбил. А вот маленького оскорбили большие — это признает каждый. Вора в суде, и того на посмешище не ставят. Моего сына вы, Владимир Матвеевич, и вы, Николай Дмитриевич, вольны наказывать за шалости, за непослушание, за лень, но...

Папа не договорил. Три голоса стали совсем тихими.

— Во всяком случае, — опять донесся до ушей Васи на-баловский, сдерживаемый сейчас, голос, — я не хочу держать на хлебах вашего сына. Я с ним сбился. Прасол Курочкин приходил ко мне на квартиру, искал Васю и хотел его за свою дочь даже побить. Я едва его выпроводил. Мальчик ставит меня в смешное положение как заведующего...

Федор Степанович твердо и не задумываясь ответил, вызывая в подслушивающем сыне гордость и восторг:

— О Курочкине что же можно сказать, Владимир Матвеевич? Хотел связаться чорт с младенцем. У Курочкина нет ума на грош...

Папа недолго просил Набалова оставить Васю на хлебах.

— Владимир Матвеевич, — подольстил Федор Степанович, — вам виднее, а мне как родителю почег и гордость, что около вас живет мой непутевый сын. Я день и ночь благодарю вас. Не может быть, чтобы мой парнишка около вас, благородного человека, не обтесался и с Васи не слезла вся серость. Я знаю, что главное его образование в вашей семье, а не в школе.

Тогда и сдался Набалов.

— Хорошо, — доеально засмеялся Владимир Матвеевич, — попробуем еще немножко. Забудем эту... дерзкую историю. Вы в свою очередь внушите Васе, что так поступать нельзя. Ну, как умеете!

Мальчик радостно подмигнул в темноте, щелкнул пальцами и юркнул в класс.

— Ты, дурак, у меня влюбился, — придя через некоторое время навестить сына, сказал папа с растроганными слезами в глазах. — Что из тебя выйдет, не знаю! — покачал папа головой. — Драть тебя? Деру. Не драть? Нельзя. В монастырь отдать в монахи? Не возьмут, мал. Помин, — погрозил папа, — если ты еще раз провинишься и на тебя Владимир Матвеевич пожалуется, я тебя возьму из школы, свезу в город и отдам в мальчики к знакомому сапожнику Цветаеву. Тот из тебя колодкой выколотит кислую шерсть. Оставайся пьяничкой сапожником, а Шурка будет жить барином, с образованием. Выбирай!

Владимир Матвеевич узнал об утаенном письме, но за него Вася уж не пришлось отвечать: большая вина поглотила меньшую.

Любовь к Сане Курочкиной стала запретной. Мальчик никак не мог простить девочке, что она рассказала большим, как он ей жал руку и как пакливал бумажку на стекло.

И все же крошечная пеструшка чем-то осталась Васе мила. Он не подавал вида, что замечает ее, когда Сания проходила мимо, но слышал всегда ее голос, когда она тоценко и звонко дипьдинькала у доски. Сания старалась перед всеми показать полное свое равнодушие к мальчику.

— Жердь! Васька жердь! — кричали Стенка и Сания на улице и на горке и в школе, дразнили Васю.

Мальчик горделиво отвертывался, не отвечал, а дома подолгу сидел за бросовым листком бумаги и разными почерками, от верхкового до бисерного, вдоль и поперек строчил дорогое имя в обратную сторону: яна с яа ли м...

В тот год была ранняя весна и ранняя пасха. Возвращаясь с пасхальных каникул, Вася едва не застрял за Ельмой. Вез мальчика Владыкин на собственной лошади. Лавочник поехал в Верховажье за товарами и захватил с собой соседского мальчика.

Темная дорога с глубокими провалами, в которых стояла полая вода, пугала. Вверх по течению, за кривым мысом звенел лед, шумела и переливалась вода, оттуда несло холодом.

— Э, да не оставаться же здесь! — отчаянно крикнул Владыкин. — Не домой же ворочаться! Ты, Вася, не боишься?

Мальчик находился в тревоге и в не меньшей досаде, чем Владыкин: Верховажье рукой достать, а спо почти недоступно.

— Мне торговать нечем! — кому-то пожаловался лавочник.

— Махнем! — решительно сказал побледневший Вася.

— Чему быть, тому быть, того не миновать, — подбодрил себя Владыкин, — товары схвачу у Киринчева, перекидо в сани и перескочу в обрат... час какой-нибудь пройдет времени.

Лошадь унурялась и спускалась с крутого берега нога за ногу.

— Не езди! — кричал из-за реки паромщик, готовивший у своей будки летние снасти для перевоза. — Велено дорогу закрыть! Слышишь? Тебе говорят! Кулькинешь, дьявол! Коня сгубишь!

Но, зажернув в сани, переехали. Вася из страха не успел, поднялся, уцепился за плечо Владыкина и быстро соображал, с какой на какую лыдину ему прыгать, чтобы выбраться на берег, пойди лед.

Паромщик глядел на переезжающих. С бранью и криком он схватил за узду владыкинскую лошадь:

— Сволочь несчастная, тебе али пию я рычал?! Отвечай за вас! Видишь, трогается. За мысом затор, а то б пошла! Тоды и покатил бы напрямик в озеро, дура беспонятная! Ворочай назад, ежли не слушаешься! Не пущу!

Паромщик начал заворачивать коня.

— Фекла! — рассердился Владыкин. — Чтой ты не признал? Не впервой разлив видим! Может, дорога неделю простоит так, а ты движенье закроешь! На-ко вот тебе полтину за труды. Поди, в сердке разравияй, бугорок не па месте, да дощечек подбрось, а то я мигом с возом поворочу, так не опрокинуться бы и лошадь не надсадить!

Паромщик терпеливо и молчаливо подождал, пока Владыкин не торопясь достал и отсчитал деньги.

— Прибавь, — с некоторым конфузом в лице и в движениях попросил присмиревший дядя. — Строчная работа... неровно доски унесет...

Владыкин уж попукал коня, не ответил и только издали предупредил:

— Сей минутой буду!...

Паромщик лениво побрел с топором и лопатой на реку.

Часа через два половина Верховажья выссыпала на берег. За мысом образовалась вертушка. С верховьев насыпал лед. Он доходил до мыса, и его завертывало по кренделю в самом широком месте. Вода тут все больше и больше понимала низины. Вся изгроможденная, раскрошенная, рабитая углами, целыми сверкающими скалами, ледяная гора с безумолчным шорохом, осыпанием, звоном и ломом раскачивалась и шаталась на воде. Гору подталкивали с разбега звенящие лыдины, отплывали от нее, подлезали глубоко вниз и опрокидывались

на ребро. И тогда реку городили точно иессиня-исчерна-серебряные щиты. Бурлящая струя колыхала их, словно кто-то живой управляем щитами.

— Поле, поле! — закричали звонко первыми ребятишки.

С верховьев хлынул лед огромным плесом. Льдины ломались на ходу, устанавливаясь острыми широкими бивнями, огромной песокрушимой лестницей. Перед толчком этой напирающей ледяной машины не устояла громада горы и повалилась, как скошенная на корню. Ельма ёрзнула вперед, как будто поскользнулась, лежащий лед затрещал, воды брызнули из трещин и кипуче зарокотали поверх, темный дорожный переезд перекосило и перерезало кривыми клиньями. Ельма пошла, зашумев па все Верховажье, как несколько соединенных вместе летних ливней.

На самом высоком береговом выступе, откуда ледоход был виден и в ту и в эту сторону версты па три, в толпе мужиков и баб глазел на реку Вася. Недалеко от него стояла Саня с подругами и братишкой. Люди приходили и уходили.

Зазяб и ускакал Степка. Разошлись подруги. Мальчик и девочка перестояли всех. Они чувствовали присутствие друг друга, но ни разу не встретились взглядом, вяло разговаривали с соседями, мерзли, грели руки в рукавах, стеснялись, как делали другие, поскакать на месте и согреться.

Вася наконец повернулся к Верховажью и спачала неловко пошел, но чем дальше, тем шаг становился крепче и увереннее. Вот какое равнодушие и безразличие показал мальчик Сане, пускай видит и знает! А она что-то воображает о себе и чего-то дожидается! Промерзла, зябуля, а стоит! Степка пойдреме — и то убежал!

Сердце Васи, однако, мгновенно согрелось. Он услышал догоняющую его на торопливых пожках Саню. Вася представил, что девочка сравняется с ним, они пойдут вместе, пока никто не видит, и он опять ее возьмет уже за побежденную руку.

Саня обогнула мальчика, на него дунуло разреженным воз-

духом (это он вспомнил из последних уроков по физике перед каникулами), и в глазах замелькало темно-синее пальтишко, трепавшееся вокруг полусапожек с приставшей к ним желтой глиной. Саня, не оглядываясь, отбежала далеко, должно быть устала, передохнула и пошла тише.

Вася злобно не сводил с нее глаз. Он негодовал на хитрости и увертки девочки, которая неизвестно зачем подразнивала его. Обида переполнила мальчика, точно неждано и негадано и совершило несправедливо кто-то засмеялся ему в лицо.

— Д-ду-ра! — в ярости вырвался крик навстречу холодному ветру половодья.

Мальчик рассчитал самую ярость: он крикнул не раньше, чем девочка скрылась за первым жильем. Точно Вася хотел и разрядить свои оскорбленные и неразделенные чувства, и чтобы Саня все-таки не услышала брань. Для чего?

Мальчик жестоко ошибся и поплатился. Услышала ли Саня или нет, но Вася вдруг за углом избы, заслонившей девочку от него, заметил ее выглядывавший носик и краешек тепельного головного платка.

Постала очередь Васе догонять девочку.

С обнаженных и потеплевших полей перед началом половодья несло приятные и только прохладные струи; теперь они встретились с остуженными струями, наплывавшими от ледохода, и ветер напитался холodom, одичало рвал павстречу и рубил лицо затвердевавшими на лету каплями дождя.

Шадернув глубже на лоб шапку, головой вперед, бычком кинулся Вася со всех ног. Никто мальчика и не подумал дожидаться за углом: Верховажье опустело. Саня, паверное, была уже дома и залезла на печку к бабушке, греться, вспоминая ледоход.

На весеннем переволном экзамене, стоя уже возле экзаменационного стола с восседающими за ним учителями, Орловским, батюшкой Питиримом Кубенским и попечителем, верховажским купцом-кожевником Книжаловым (ребята звали

его Резалов-Безножалов), Вася с испугом подумал, что из-за Саньки он ничего не знает, ничего не учил, ничего не помнит и непременно провалится.

Должно быть, вид и состояние мальчика сразу стали понятны экзаменаторам. Они лукаво переглянулись, а Резалов-Безножалов наклонился с улыбкой к батюшке Чигириму, и поп и кунец о чем-то зашептались, взглядывая на Васю. Мальчик почувствовал, как он устал стоять и как ноги мелко и противно задрожали. Ошарашил Орловский.

— Сколько в треугольнике углов? — внезапно спросил Леонид Николаевич.

Мальчик остолбенело не понял, казалось, какого вопроса и очумело, бессмысленно, чтобы не молчать, ответил:

— Одни.

Все за столом пошевелились.

— Подумай, — поддержал Владимир Матвеевич, готовый выручить нахлебника.

— Два, — вдруг как-то обрадованно почти вскрикнул Вася, словно теперь-то уж правильно разрешил задачу и торопился не забыть ответа.

— И-да! — покраснел за своего оплоумевшего ученика Фирлей-Канарский. — Это штука мудреная...

Чичагов припарядился в потертый пиджачок, надеваемый раз в год, во время экзаменов. Сапоги на Чичагове начищенные. Бородка расчесана. Чичагов стоял возле окна, среди груды изделий. Шкатулки, сундучки, лакированный стол с разводами под березку, какое-то луконико, этажерка окружали его, как учителя ученики. Чичагов покашлял.

Вася испуганно повел на него глаза, точно желая проверить, неужели даже друг любимый Чичагов смеется над ним? Чичагов загнулся на руке два пальца, а тремя словно проткнул и освежил голову мальчика, выставив их напоказ.

Владимир Матвеевич заметил телодвижения Чичагова, на морщился было, не удержался и прыснул.

— Конечно, три, — развязно сказал Вася и как будто удивился смеху Набалова. — Я знаю. Только... спутался.

Фирлей-Канарский, немножко удовлетворенный, но все же еще злой на едва не просыпавшегося ученика, захотел показать его и с хорошей стороны.

— Позвольте мне, господа, — сказал он. — Я беспристрастно... хотя и мой ученик...

— Еще один вопрос, — весело ухмыляясь и войдя в охоту, не уступил Леонид Николаевич. — Историю проходят? Русскую? — обратился он к Набалову.

Тот кивнул головой.

— У какого великого князя рука была в полтора аршина? — строго отчеканил Орловский.

Вася испытал подлинный ужас: все великие князья в сильных круглых и островерхих шапочках, в латах, со щитами и без щитов, с кужлевыми бородками и без бородок, святые, равноапостольные и Святоиолки Окаянные и грешники сбились и смешались в кучу. Выбрать нельзя: неизменно ошибешься.

Мальчик открыто уставился на Чичагова. Владимир Матвеевич осторожно наблюдал. Чичагов сделал грустное, полное отчаяния лицо, хотя и покашлял, но беспомощно развел руками, как будто поправляя съезжавшую набок шкатулку.

Уж если Чичагов не выручил, то что же делать? Мальчик, еще бы немного, кинулся вон из класса...

— Юрий... — уловило ухо Васи крадущийся шепот товарищней, дожидавшихся за партами очереди экзаменоваться.

Юрий? Но какой Юрий? Юриев было писько. Кто мерил длину руки? А может быть, она не полтора аршина, а два или аршин с четвертью! Чорт их там разберет!

Фирлей-Канарский решил сам спасаться от позора. Двухспасный отодвинулся со стулом из-за стола и, хоронясь в своих товарищней, стремительно нарастил к левой руке ладонь правой.

— Юрий Долгорукий! — опять овладел собой мальчик и помарил голову.

— Нечего, нечего притворяться! — громко сказал Фирлей-Канарский. — Никакая голова на экзамене не должна болеть. Она должна соображать в десять раз лучше, чем в обычное время!

Горбун быстро и ловко задал несколько вопросов, на которые все его ученики проворно отвечали, защурив глаза, получил ответы и, скомкав экзамен, обратился к товарищам:

— Пожалуй, довольно?

— Довольно, — махнул рукой Владимир Матвеевич, — кое-что все же знает...

— Еще одно маленькое испытание? — не унимался Орловский.

Вася уже радостно отошел от стола. Мальчика вернули.

— Что у меня в руке? — Леонид Николаевич взмахнул рукой, точно загребая воздух, и сжал кулак.

— Воздух! — небрежно бросил Вася, даже удивляясь такому вопросу.

— Воздух-то воздух, но какой? — торжествовал экзаменатор. — Надо ответить: сжатый воздух.

И вот опять настало ровное, безобидное время. Привет тебе, летняя мезонинная светелка в Рябинках! В угол свалены изживанные до омелы зимние книги. Отец не любит беспорядка, — и учебники прикрывает ранец с оторванными ремешками.

Шурка проводил последнее лето в Рябинках. Он кончал техническое училище и должен был отправиться куда-то на камские или волжские пароходы практикантом. Два безвыездных года, плавание кочегаром, масленщиком, помощником машиниста...

Шурка нагуливался. Он совсем большой. Под его ответственность не страшил отпускать Васю на ночь: к озеру, в лес.

Теплынь. Горел спокойно, как в большой печи, костер,

играли и возились на отмелях волны, где-то на болотах вскрикивали дежурные журавли, и паслись на заливных лугах кони в ночном. Даже Увар не спал.

— Шурка, как в Пряжине, посвисти! — просил Вася.

Свист Шурки возмужал. Он с оглушительным переливом рвал ночное безмолвие. Кони испуганно ржали. Долго был слышен их торопливый, задыхающийся, убегающий топот. Согревали чайник, варили яйца, пекли картошку, прыгали через костер, кидали головки в озеро и радовались, как закипала вода от них. Ночь текла ласково, тепло...

Молодой Увар и говорил каким-то непривычно звонким тоненьким, ребячным голосом. В расстегнутом подряснике, который смешно треплется по воздуху и летит, как будто догоняя, Увар посыпался от одной дошки к другой и проверял за пятнутые лесы, не сидит ли на крючках рыба.

— Наголо пусто! — воскликнул Увар и беззаботно улыбался. — Хватит на заре!..

Вместе с ребятами Увар подкрадывался к лошадям, изображая конокрада. Деревенским ребягам в ночном платили за езду пряниками и копейками. Увара подсаживали на старую кобылу.

— Чик! Чик! — орал Увар, обшаршив ее и в страхе держась за гриву.

Ребята покатывались со смеху. Кобыла старалась бежать, но только две-три сажени трусила и, равнодушная к седоку, мотала головой и тянулась к подножному корму.

В баловстве и увеселения ради ребята расправляли подрясник с двух сторон. Увар и конь напоминали крылатое чудовище.

— Вельзевул! — потешался Вася. — Глядите, такой чорт сидит на картине „Страшного суда“ в монастыре!

И года брали свое. Под утро Увар засыпал на песке. Подол подрясника сторожа осторожно связывали в толстенный узел. Так Увара и оставляли спать с конским закрученным хвостом.

Нарочно переходили с удочками подальше. Наловившись досыта, издали будили Увара криками.

Сторож вскакивал, протирал глаза, не замечал тяжелого привеса за спиной, усматривал ребят и поспешно ковылял к ним.

Тут Увар незлобиво развязывался и хохотал первым.

— Как вы отца Увара, выдумщики, обмаклачили! Не надо лучше! Первый сорт! Эг я хвалю! Потеху люблю! Сам бывало...

Увар грустно махал рукой, как будто хотел сказать — да чего уж тут вспоминать прошлое!

Почевали в Брюхачевской поскотине. Лес багров возле теплицы и уютен, как шалаш. Страшное, темное — там, за угасающей в кустарниках чертой огня. Оттуда доносится звук упавшей, как яблоко с яблони, еловой шишкой, а кажется — кто-то идет опасный, сильный, мохнатый... Там многозначительен и тревожен даже шелест листвы. Вспыхивает — будто катится по полям высокая вода и вот-вот пачнет топить поскотину.

Грибы шарили ползком, до деревенских, чтобы первым сплыть почной урожай. Берегли впрок грибницы, осторожно выкорчевывая грибы и стараясь сделать на деревьях и в кустарниках заметы: сломанный и очищенный от кожицы прут, податливая молоденькая лоза, завязанная в узелок, старая коряга с насечкой на ней зарубок.

Озеро, лес, сенокосы, помочи, ярмарки, монастырские сады... Кто же все это может отнять? Жизнь ребятам представлялась устойчивой, постоянной, как сама земля, как озеро, как лес...

Гулкий почной звон. Озеро шумит в теплом мраке. Фонари и задуваемые ветром свечи в полях. Звезды в куполе. Идут по тропам, по межам, по проселкам богомольцы. Крестный ход вокруг ограды. Черные клубки шатаются над разноцветной толпой, как всадники в седлах. Смоляные бочки пылают жадно и треско и неугасимо, словно пламя вырывалось из земных трещин и поднялось на сажень мягкие,

трепещущие лапы огня. В этот день празднуют пятьсот первый год от основания обители.

Кабак закрыт пакануне: то началось ночное беспрерывное бдение в монастыре. Но кому только не отпирал Вася крючок на заднем ходу в кабак? Водка неисчерпаема: неисчерпаемы монастырские ходоки.

Федор Степанович смеялся:

— Ну, завтра после обеден монастырь — влежку! Придется Нектарию посыпать за урядником. Монахи перепьются и передерутся. Праздновать, так праздновать!

Старец Нафанаил не в почете, он всегда беззенежен за злюзые, даже в праздники. По приказу Нектария, ему дают из общей монашеской кружки самую малую долю.

Нафанаил опрокидывает на-попа украденную Васей у отца сотку водки, несколькими глотками проглатывает ее, сосет и хлопает, а потом, отбросив посуду, зажимает рот ладонью для крепости. Лицо старца наливается какой-то черной кровью. Из глаз, как из раздавленной сочной груши, брызгают слезы.

— Слава, слава святителям и строителям сей обители! — покряхтывая, забурчал старец Нафанаил. — Насквозь прошло, будто шашлык на вертел посадили! О, Вася, чтим Иоасафа и прочих! А боле всех тебе поясной поклон за ласку.

Старик хмелел и оживлялся.

— Я, мальчик, с преподобным Иоасафом в родстве, — хотел он, — а ты отпрыск от древнего кабатчика. Кабак прежде обители в Рябинках был. Иоасаф по житию был молодец и выпить не дурак. Кантовал, кантовал, да и впал в святость! Вериги надел. Скуфью с железной перекладиной. Бабу свою — по боку. Мощи и стали. Я как выйду во святые, ну и раку же мне лет через сто закатит какой-нибудь отец игумен... нет, архимандрит: при двоих угодниках — Иоасафе да Нафанаиле — быть в Рябинках архимандриту!

Лавров и Благовещенский в этот день спачала повздорили

между собой, потом избили игуменского келейника и заодно обляяли Нектария, вышедшего на балкон.

— Вон! — в гневе крикнул игумен. — Я вам волчьи паспорта выдам, пьяницы, лодыри, лежебоки! Ни в один монастырь вас не возьмут, прохвостов!

— Давай сейчас! — гаркнул в пьяной удали Лавров и что есть силы дернул за веревку в повесочный колокол.

Игумен скрылся.

Несвоевременный набат раскатился по кельям. В окна вылезли пустоволосые монахи и послушники.

— Эй, бродячая шатия! — ревел до надсады в горле Лавров. — Прощайте! Искаж на клиросе у Нектария поют скотницы, а большуха Машка за регента!

Игумен появился с белыми бумажками в руках и одну за одной швырнул их вниз. Паспорта взлетели, поплавали в воздухе и опустились.

— Мерзавцы! — бесновался Нектарий. — Хорошо, нынче успели разделить кружку, я б вас без копейки выпустил на волю!

— Уди! — забушевал Благовещенский. — Разражу червяка!

И бас начал непослушными пальцами выворачивать бульжник с дороги.

Потом, обнявшись, Лавров и Благовещенский невозбранно шатались по монастырю, пели срамные песни, пока их собравшаяся в кучку трезвая братия не вытолкнула в три шеи за ограду. Ворота преждевременно закрыли.

Гуляли, слонялись до ночи по Рябинкам, выбили стекла на скотном дворе, поколотили своих возлюбленных-скотниц, были биты сами артелью проходивших деревенских ребят и слегли на ночь в канаве у занертого кабака.

Вася задумался и вспомнил, что и в прошлом году так же пили и плескали и дрались в Рябинках: не одни, так другие.

Несокрушимая, настойчивая жизнь была и в Верховажье и в Рябинках.

Зимы, лета, весны и осени...

Александра Павловна с чубуком сидела на том же месте. Колобки катались из комнаты в комнату: Клавдия Сергеевна гонялась с грелкой за Владимиром Матвеевичем.

Вася вошел и знакомо увидал, что Набалов был в набрюшнике. Мальчик все понял: главному Колобку надоело лежать на постели в покое, Колобок вскочил, а Колобиха укладывала его опять.

Осень началась с ожогов. Мальчик набедокурил в день своего приезда. Посещая все укромные и неукромные места на школьной десятине, Вася забрался на пчельник. Потыкал в одну колоду, потыкал в другую. И его облепил рой.

Жгло, кололо, как раскаленными иглами, жужжало осторвено в ушах, ползло в рукавах, за воротником, в нос... Мальчик как будто обуглился...

С ревом и воем он кинулся в бегство, неся на себе пчелиный рой, оставляя густую поющую дорогу позади. Кадка с вонючей водой у крыльца, — замачивал в ней давеча Чичагов высокие сапоги, подготовляясь к осени, — спасение. Вася в беспамятстве нырнул в нее головой и утонул рой, точно вынул у него жало.

Владимир Матвеевич извлек пользу. Он сразу выздоровел. Поднялся с постели по-настоящему, окреп и выдral Васю подтяжками.

Учебный год начался.

Я на с я ал им... Милая Саня... Но как все изменяется на свете! Девочка — словно толстая березовая гнилушка, истощенная червоточиной. За лето Саня покрупнела. Веснушки на лице — как грошки. Вася удивился: разве можно любить такую овсянную ватрушку?

Вася много раз видел в прошлом году Клавдию Сергеевну в одной коротенькой белой рубашке с вырезанным кружевным глубоким воротом. Он пробегал мимо с таким чувством, как если бы на веревке висело белье.

Нынче мальчик заметил Клавдию Сергеевну в вечерних по-

темках. Она только что встала после обеденного сна. Владимир Матвеевич куда-то собрался и ушел, хлопнув дверью. Половинка дверей из Васиной комнаты отворилась сама собой. В узкой прогалейке рядом с диваном, покрытым смятой простыней, вполоборота к мальчику стояла пиженькая лягая белоснежная Клавдия Сергеевна с распущенными волосами, как черной буркой обнявшими ее плечи и спину.

Мгновению с непонятным восхищением Вася одобрил большую, точно шапка бадейкой, кучку волос Клавдии Сергеевны, когда они были в свернутом виде. Он над кучкой смеялся раньше, а теперь понял, в какую красивую и чем-то влекущую россынь могла превратиться неуклюжая и тяжелая кучка.

— Вася, закрой двери, — строго сказала Клавдия Сергеевна, — я раздета, а из вашей комнаты дует.

Вскоре, среди почти, Клавдия Сергеевна, в узком внакидку малиновом халатике, осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить спящих Александру Павловну и мальчика, вошла с пустым стаканом, нацедила воды из самовара и так же аккуратно вернулась обратно.

Мальчик проснулся. Он спал калачом, со сложенными одна на другую теплыми ногами и с просунутыми между них кистями рук. И вдруг ноги и ладони стали горячими. Вася сладко смыжал глаза и не мог оторваться от наблюдения за Клавдией Сергеевной.

Опять эти пушистые, раскидавшиеся широко волосы! Их было так много, что когда Клавдия Сергеевна поклонилась к самовару, нагнетая кран, волосы поползли с плеч, и женщина очутилась точно в двойных одеждах.

При встречах с Клавдией Сергеевной мальчик стал краснеть и стесняться.

В третий раз Вася столкнулся с Колобихой, вбежав со всех ног, посланный к ней Владимиром Матвеевичем со двора.

Полураздетая, в лифчике, Клавдия Сергеевна штопала свою

зеленоватого бархата кофточку. Вася немедленно, с неопытным интересом и даже как будто с участием, заметил, что кофточка лопнула подмышкой. На согнутом правом плече женщины была темноватая родника.

Вдруг мальчик на шаг отступил, отвернулся и смущался. Смущение передалось застигнутой врасплох шве. Она работала с панерстком. Клавдия Сергеевна взмахнула рукой, прикрываясь зеленою кофточкой. Панерсток прыгнул на пол и покатился.

Вася быстро пробормотал поручение и хотел уже кинуться вон. Но не успел.

Клавдия Сергеевна отчего-то засмеялась и внезапно сказала:

— Постой! Куда? Найди мне панерсток. Вон он откатился под стул.

Мальчик нашел и, умывшись не доходя до женщины на шаг, протянул панерсток.

Клавдия Сергеевна подвинулась вместе со стулом, притянула упиравшегося Васю к себе, посадила его на теплые колени, обняла за талию и со смехом поцеловала в щеку около уха.

— Я же тебе мама, — вымолвила она страшным и каким-то обманывающим голосом, — а ты меня застеснялся! Почему?

Клавдия Сергеевна шутливо подрыгала ногами, раскачивая мальчика, и совсем неприятно занела:

— Пискакушки, поскаку, потерял мужик дугу... Ха-ха! Ты уже отвык быть маленьkim. Ка-ак зарделся... Ха-ха!

С тех пор, надо не надо, Клавдия Сергеевна начала целовать и ласкать Васю. Он пожил в доме и в школе такую застуਪницу, за которой было не страшно любых проделок.

Втайне, не сказав как будто самому себе, мальчик по уши влюбился в Клавдию Сергеевну. Ему доставляло большое наслаждение дотрагиваться до ее висящих на вешалке платьев, жадно слушать ее воркующий по-голубиному го-

лос, узнавать ее семеящею походку издали по коридору. Он ревновал ее к кошке Марфунке, когда Клавдия Сергеевна гладила ту и, налив в блодечко молока, приседала возле, наблюдала, как Марфушка, позавившая посудой, не торонясь лакала. Мальчик беспощадно ниптал Марфушку при всяком удобном случае и всячески изгонял ее. Владимир Матвеевич сделался Васе нестерпимым: он не мог видеть его круглую, как глобус, только всю в кудрявой шерсти, голову.

Мальчик упорно торчал дома.

— Эй, домосед! — покрикивал Владимир Матвеевич. — Пойди-ка освежись! Ты что-то, братец, стал худ! Отец твой, пожалуй, скажет, — мы тебя не кормим!

Вася трепетал и сиял, получая из рук Клавдии Сергеевны книгу для чтения. Всегда запертый книжный шкаф Владимира Матвеевича теперь отворялся часто: мальчик проглатывал книги.

— Ты, дядя, читаешь и, наверное, мало что понимаешь? — спрашивал Чичагов. — Больно книги тебе дают толстые. А ну, пробарабань мне страничку: дай-ко, и я мозгом раскину.

Раскидывали и радовались.

По прочитанные книги ничем не напоминали скучных и недоступных к решению задач на дроби, геометрических угловатых и шарообразных теорем, вселенских соборов с Арием и Николаем Мирликийским чудотворцем, выводков князей с обязательными для рассеянной памяти днями рождения и смерти великих, малых, удельных и наследных и заштатных, названий островов, полуостровов, проливов, мысов, городов, губерний и уездов... Тысячи мертвых букв, слившихся в мертвые слова, в мертвые имена и наименования! А эти унылые диктовки по русскому языку, этому непонятному языку, в котором слипаются, как варенье, все слова, когда Фирлей-Канарский тоночет по классу с книжкой в руках и скорогбворкой до одышки прочитывает длинные заковыристые предложения! Где же, где поставить эти про-

клятые запятые и точку с запятой, тире-палку и всякие кривобокие вопросительные и восклицательные знаки?

А широкая, как скамья, ять! Она неуловима и коварна точно кошка на улице. Но в ту можно запустить камнем, а эта подвластна одному Двухснасиому: тот находит ее там, куда даже не подумалось поставить ее. И красная двойка с росчерком на каждой странице диктовки! Красным подчеркнуты, как залиты кровью, перепутавшиеся „аго“ и „яго“, „они“ и „оне“, мягкие и твердые еры и свистящие, и плавные, и губные, и нёбные звуки.

Отец хмурил недовольные брови.

— Грамотей! — воскликнул он и швырнул на пол роковую тетрадь. — А языком разные сказки-присказки болтать мастер! Все знает, во все лезет, как большой, тушица пустоголовая!

У Чичагова второклассники подгоняли прогулы и недоделки с прошлого года. Лес изводили кострами.

В столярной мастерской всегда весело и шумно, точно в рекрутский набор на Верховажской улице. Нет только пьяных, но гулянка, но игра иолные. Пыль. И стружка — как сахар, как снег, как шерсть. С хохотом из стружки вязали связки кренделяй-баранок, разыгрывая пьяных мужиков, возвращающихся с ярмарки. Из стружки делали венки и надевали на головы послушным первогодкам. Делали цепочки для часов и развесивали на выпяченных нарочно брюках, как верховажские купцы.

— Шабаш! — кричал Чичагов. — Буде дурака валять! За верстаки! Бери фуганки!

Слушались дружно и согласно. Работа спорилась.

— Материал перевелиши, — обучал Чичагов. — Косинь, дьяволенок! Гляди, как фуганок у меня, у старика, гладит. Гладит да поет!

Чичагов стругал на каждом верстаке. Васе он говорил вполголоса:

— Я до того, Васютка, стар, иной раз лежу один на

постели и думаю, а не живу ли я на свете триста годов? Всё превзошел, а будто и ничего не превзошел. Народу видел всякого. Народу — учеников значит. А ты прямо хрен. Ты только от коровья ладиши оторвать кус. И парень проворный, а столыра из тебя насилино не выйдет. Хорошо — дружу с тобой, а то б вместо пяти пальцев у тебя в аттестате фиге стояла.

Так внедрившую, с запинками протащился год.

Лампа над столом. Стол круглый. Суровая скатерть, вышитая васильками. Владимир Матвеевич уехал в Вологду за жалованием, за книгами, за бумагой, за всем необходимым.

Клавдия Сергеевна вязет мужу парукавники. Старые он протер. Набалов в парукавниках поправляет тетради школьников, пишет отчеты, считает на счетах: он бережет чистые свои рубахи.

Вася сидит рядом с Клавдией Сергеевной. Близость так таинственна, что мальчик слышит свое сердце: тук, тук... Голос его нежен и прерывист.

— Ты медленнее, — говорит Клавдия Сергеевна с усмешкой, — тогда ты меньше устанешь. Я очень люблю твое чтение.

Похвала портит и мешает понимать прочитанное: Вася путается и перелистывает две страницы сразу, не замечая.

— Обратно! — смеется Клавдия Сергеевна.

Бьют почтные часы; сон погасил трубку Александры Павловны. Клавдия Сергеевна внезапно зажимает маленькой мягкой ладошкой, как почти заячьей лапкой, рот мальчику и не сразу отнимает ее.

Вася пьет и вдыхает только ему одному понятное тепло руки. Губы у него шевелятся в западне. Он нарочно берет за пальцы вязальщицу, чтобы прикосянуться по праву к ней. Вася же нужно открыть рот!

— Ты меня очень полюбил, — наклоняется близко к мальчику Клавдия Сергеевна. — Я это вижу.

Можно ли так говорить и так спрашивать? Вася с гро-

хотом срывался с места и опрометью кидался в свою комнату.

Скоро лампа перестала гореть навсегда...

Черемуховый холодный май.

— Май холодный, год хлебородный, — сказал Чичагов в день окончания экзаменов. — Вот ты, Васенька, и окончили наше училище!..

Мальчик дожидался отца и следил из класса за подымавшимися от Ельмы подводами: надо уезжать.

И Федор Степанович подъехал. Улыбающийся и доволеный мальчик несдержанно закричал папе:

— Я выдержал! Похвального листа мне не выдали за поведение, а экзамены я сдал!

Вася опомнился раньше, чем Федор Степанович вдруг потемнел и, морщась, убито проворчал:

— Хорош гусь!

Клавдия Сергеевна оставила память на всю Васину жизнь.

Набалова вышла к самой телеге. Вдруг Колобиха взяла обеими руками голову мальчика, пристально посмотрела ему в глаза и поцеловала его прямо в губы.

— Мы в этот год очень полюбили друг друга, — сказала Клавдия Сергеевна Федору Степановичу. — Посмотрите, какой он красный! Ему стыдно! Ах, он еще совсем ребенок! Я бы дала ему похвальный лист за сердце, да за это не дают, а учиться он ленился...

Мальчик ехал в Рябинки с унылыми глазами.

Федор Степанович ценил похвальный лист, как и другие люди. Листа не было, и отец вез Васю домой молча.

ФЕДОРОСЛЬ

Как две черные рати, подступили к обеим берегам Шексны леса. Только она, быстрая, младшая сестра Волги, легла между ними неизвестной дорогой. Серо-желтоватая: чай с молоком.

По тридцать, по сорок верст волоки на Сизме. По узкой лесной просеке, устланной кой-где в оврагах валежником, плелась из Рябинок лошаденка. Она везла Васю к пароходу на шлюз в Иловцах. Мальчик, по желанию Федора Степановича, должен был стать техником, как и Шурка. Мещеринский род обеими ногами вылезал из „податного сословия“!

В высоте, над сизменскими волоками плыли поднебесные лебеди, кружило ястребье и воронье. Мелкая птича уже молчала: осень.

В вечерней черноте страшен лом и хруст в бору: не перевелись здесь шинучки-ичели с теплыми ульями в дуплах, и на выгарях тучны и сладки овсы с крупным, как бруслика, зерном, — не перевелись лакомки-медведи.

Почью озиралась и вздрагивала лошадь, точно жутко ей во мгле итти в неизвестную сторону, боязно слушать неумолкаемый шум листвы и хвои, неверная лесная земля под коньком.

Ямщик замер нием. Цыгарка теплится, носащая, как сочный ребенок в зыбке. Цыгарка — огонь и два коленца —

походит на трубу, вставленную в печку. Черный мешковатый ямщик в передке телеги — печка. Вася так сравнил.

В кармане у мальчика мелочь. Бумажки защиты во внутренний карман тужурки. Первый раз в жизни такие деньги. Отец высчитал, сколько на пароходы туда и обратно. Сколько на стол и на всякие расходы. Велено привезти сдачу.

— А если не останется? — предусмотрительно сказал мальчик.

— Не останется — и везти нечего, — усмехнулся отец. — У меня бы осталось. Если поступишь в училище, сдача твоя.

Лес опасен. Васе ничего не стоило назвать его Брынским. А где Брынский лес, там разбойники. Они выходят на дорогу, берут под уздцы коня, сворачивают телегу в чащу и кричат громовым голосом:

— Сарынь на кичку!

В Иловцы приехали, однако, благополучно. Каменные пильцы, словно с монастырских могил, устилают шлюзовой канал. Шумит водонад-плотина. Белая пристань. А вон и Увар, только не в подряснике, а в знатном пиджаке, и те же удочки брошены на палубу около причальной тумбы. На воде всякий — Увар.

Пароход „Косьма и Дамиан“ пришел через двенадцать часов.

Иловцы больше Рябинок. Там один Владкин, тут — десять. Мальчик от скуки купил десяток папирос „Люшес“ за шесть копеек и записал в расход: „На блюдо и на свечку в часовне местечка Иловец от ожидания парохода и за поступление в Александровское техническое училище“.

Записал и представил папу, склонившегося с доверчивостью над тетрадкой. Стало интересно и весело.

Угостили на пристани иловского Увара. Тот папиросу взял и молча повел струхнувшего мальчика на берег.

— Здесь раскурим, — сказал сторож, — тамо по шапке дадут! Нельзя.

Выспросил Васю — кто, куда и откуда и зачем?
Пошел холодный дождь. Коробочка „Дюшес“ ополовинена.
По пристанщик позволил мальчику перетащить корзинку под
навес и сидеть на ней до прихода парохода.

— Слыши, — закричал около полуночи новый знакомый, —
как плицы-то ровно десять баб враз вальками хлещут!

Вася навсегда запомнил слово „плицы“.

„Косьма и Дамиан“ подвалил, отдохнул и повез. Он же
через две недели привез обратно. Мальчик научился давать
телеграммы. Федор Степанович прислал лошадь.

— Почему вернулся?

— Я выдержал на четверку, а надо на пятерку.

— Балда! Ты бы старался на пятерку.

— Я старался.

— Хорошо старался!

Через день мальчик добавил:

— Мне сказали — я поступал казенномокштым, задаром,
а за деньги бы взяли.

Федор Степанович рассердился и закричал:

— Врун! Осынь я тебя золотом, на тебя там, на висло-
ухого, поглядели, видят — не будет учиться, а будет голубей
гонять, и с золотом не надо! Твоих мне на деньги учить —
купил не хватит. Одного должны взять на казенные хлеба.
Будь ты Шуркой, взяли бы! Недоросль!

Но мама по секрету в тот же вечер шепнула:

— Папа сказал — будемкопить на тебя весь год. На осень
опять поедешь поступать.

Папа нанял тенора Одинцова подготовить мальчика. Под-
готовлялись в келье. В кабак непригоже ходить каждый
день послушнику.

В келье пили чай, играли в орлянку, в карты. Вася дол-
жал и платил краденою водкой.

А раз под вечерок Одинцов привел в келью молодую кра-
сивую бабу из Севастьянова. Пони. Сам ушел в трапезную
ужинать. И келью запер.

— Тебе, Вася, сколько годков? — сразу обняла Понна мальчика. — Пятнадцать?

Понна жарко и крепко прижалась к Васе. Его как подожгли. Она тискала и щекотала Васю, целовала, наконец точно проволокла сухие горячие губы вдоль всей розовой щеки мальчика, впилась в его губы, утесила в грудях его всего...

Вася опомнился после, когда вдруг Понна заторопилась и велела мальчику скорее одеться.

Он, как пришибленный, стоял, отвернувшись в угол и водил по стене пальцем.

— Ты это так-то, — подкралась Понна и смешливо защептала Васе на ухо, — спачала целоваться, а потом исчезнув на сторону воротишь? Так наша сестра всегда в сбое от молодчика...

— Отойди! — не владея собой, забывшись, закричал внешне злой мальчик, сильно оттолкнул ее и кинулся к двери.

Замок лязгнул и не отомкнулся. Мальчик готов был возвратиться в двери на весь затихший братский коридор.

Понна оттащила Васю и загородила дорогу.

— Волчонок, — вполголоса пригрозила она, — что ты! Молчи обо всем! Помалкивай. Одинцов любит меня. Узнает. Он убьет! Отцу скажет. Да и я не постыжусь покаяться. Пускай что хочет, то надо мной и делает. Дурак, ты созовешь народ, а сам с бабой в келье. Обоих нас к уряднику и поведут... Срам-то какой!

Скоро пришел Одинцов. Он вывел немного погодя мальчика в коридор и шепнул ему:

— Ты на меня не сердись. Понку я не звал. Она сама пришла поздно. Давеча бы тебе домой ити, а я чего-то ума решился и запер тебя. Иди, а то скоро запрут ворота. Не болтай. Сам знаешь...

Недели через три во время обеда на стук в кабаке высокочил Вася — и обомлел. У стойки, в красном цветами платке, усмехалась Понна.

— Ну-ко, крестничек, — развязно и громко сказала она, — дай бутылку.

— Тише... — пробелел Вася.

— Я не без денег, — немножко сбивила голос Понна и выложила на стойку гремучие пятаки.

— Я не отпускаю, — успел сказать мальчик, — я сейчас пришлю папу.

Понна схватила за рукав на-смерть запуганного и стремившегося убежать Васю.

— После вечерен приходи в ряды. Средний корпус. Крайняя лавочка, — приказала она. — Я тебя буду ждать.

Мальчик отрицательно покачал головой. И он увидел, как рассердилась и вся покраснела Понна.

— Федор Степанович! — вдруг громко выкрикнула она. — Где ты? Выйди! — и сразу перешла в шепот: — Придешь, дрянь?

— Приду, — пролепетал пересохшим голосом Вася.

Шапа уже, прожевывая кусок, открыл двери.

Занятия в келье не помогли. Мальчик съездил напрасно и во второй год.

— Чисти каждый день свинарник! — в полном отчаяния негодовал Федор Степанович. — Может быть, хоть это сумеешь, негодник! — и гнев оскорблённого в своих надеждах отца сосредоточился на Одинцове. — Жеребячья порода, сколько ведер водки выпул за зиму и за лето! Учи-и-тель! Везде мошенничество!

Отцовское сердце отходчивое. Поругал и отстал. Вспоминал о сыновицах неудачах, когда были у самого неудачи. Принесжал купец Шевелюхин, проверяя кабаки по Кирилловскому тракту и собирая деньги. Неладно нагрянивал акцизный, опускал в железную мерку с водкой, нацеженной из дубовой бочки, белый пухлый градусник, — и градусы не сходились с положенными. Акцизный осматривал весь буфет, касался сургучных головок на бутылках — не самодельная ли заварка, нет ли просто налитых водой целовальником и

незапечатанных? Чиновник долго писал бумагу. Федор Степанович оправдывался. А потом и чиновник и папа торговались: кабатчик откупался.

— Сукки сын, — ворчал Федор Степанович, — у Шевелюхина состоит на жалованье, в казне и с целовальников дерет.

Мальчик в эти минуты старался быть незаметным.

— Да́мо́ед! — шумел отец. — Из-за вас тут жульничашь, кошишь, всех обманываешь, а они ни в зуб толкни — ничего не понимают! Почему ты ничем не занимаешься? Свиньи, корова...

— Я, папа, все сделал, — робко и почтительно отвечал мальчик.

— Возьми книгу! Пиши! Решай задачи! Я, ты думаешь, так тебя оставлю лоботрясить — петь на крылосе да по кельям шляться?! Я за тебя еще возьмусь! Я тебя насилино в люди выведу, дурака!

Год выдался для Васи самый привольный: пробегал его по Рябинкам, вырастая из штанинек и курточек; мать не представляла пуговицы на рубахах — ворота не сходились; у мальчика грубел голос...

И вдруг... Вася два раза в неделю начал читать Федору Степановичу в „Биржевых ведомостях“ о графе Сергее Юльевиче Витте. Министр-граф сделался папиным врагом.

— Куда деться, Марьюшка, ты подумай, — слышал мальчик тревожный разговор отца с матерью, — казна купеческую водочную торговлю — по боку. Царю захотелось в виноторговцы. Нас, прежних кабатчиков, в сидельцы не берут: проштрафились. Да и с одной запечаткой водка будет. В бутылку не влезешь сквозь печать и не накаплюешь воды. Не разведенья... Опять в деревню? На старое пепелище? Землю пахать? Будто бы неохота. Будто бы отвыкли. И надо пытать место в городе. А там один чуботарь знакомый. На залог есть. Да ведь этого мало... Веры к чужому нет...

Отец с сыном разошлись. Граф Сергей Юльевич Витте

получил полное одобрение Васи; он помогал мальчику переехать на жительство в Вологду. Рябинки исхожены, излажены, истоптаны вдоль и поперек. В Рябинках даже все до одной книги прочитаны. Одни ярмарки выручают: тогда закупка на рубль. Папа давал его особо, помимо рубля на гостинцы.

Купец Шевелюхин приехал навеселе с какими-то двумя купцами.

— Запри, Федор Степанович, кабак, — приказал хозяин, — да пускай нам твоя Марьушка готовит яищю и всякое другое пятое-десятое. Не хочу боле торговать! Всех мужиков без водки ионче оставлю. Гони в шею любого! Гуляем сей день!.. И без разговоров!

В запертом кабаке поставили стол, прибрали его белой скатертью, скоро тяжелый самовар придавил его. Закуски, наливки, водка. На стойке зажгли три столовых лампы. Шевелюхин посадил папу и маму. Полупьяный хозяин целовался с Федором Степановичем, хлопал его по спине, называл за-просто Федором, без величания, и во все горло орал:

— Сиделец, слыши: не пропадем! Кольцо золотое в воду упало, а водолаз его найдет! Конешно, коли дно узнаю! А нам с мутной водой не привыкать! Федор, кабаки у меня последние денечки доживаю, а нам по городам трактиры отдают! Ха-ха! Торговлишка была и останется! Граф Витте из всех графов граф, а и на него найдем управишку! Купцы и графа под себя подомнут! Федя, а ты у меня мужик па примете. А ты желаешь буфетчиком стоять у Шевелюхина в Вологде в Светлом ряду, в Светлорядском трактире? Желаешь? Беру тебя!

Папа развеселился и не отставал от хозяина в выпивке. Марьушка испуганно следила за бледневшим мужем. Рожи у Шевелюхина и его товарищей только багровели.

— Федя, нам бы певчих! — требовал хозяин. — Хочу божественного и скромного пения. Покличь монахов. Беда — монастырь не женский, а то бы монашек!

И папа пошел за послушниками.

Вася с ужасом увидел Поницу. Ужас его увеличился от того, что отец вел ее неуклюже под руку, и они оба над чем-то весело хохотали; сзади угодливо семенил Одинцов и другие знакомые монастырские певчие. Поница заметила прятавшегося у печки мальчика и ушинала его.

— Батюшки! — воскликнул в неистовом восторге Шевелюхин. — Крас-с-сота! Не одни долгогривые, а и святая иже мученица с ними! Имячко, имячко! Понка? Пон-по-но! Хаха! Знай, повозничай!

Федор Степанович, как ни был „под турахом“, не забыл своих отчих обязанностей, проследил за подглядывающим из щелки дверей мальчиком и прогнал его спать.

Пьяника затянулась надолго и мешала, и Васю начало клонить ко сну.

В кабаке, прерывая пение раскатистым ржанием, звоном и боем посуды, визгом, криком, плясом, пронесли всю обедню, всеночную, заутреню...

Мальчик страдальчески слушал, засыпая, как произительно, точно где-то на высокой крыше, звенел ухарский голос Понки:

Девки, сами знаите.
Чем приманиваетё,
Сулитё, не дайте,
Пощо обманываетё...

Игумен Нектарий задешево скупил мещеринский свинарник, корову, огород... Переехали в Вологду.

Немощеная улица Кобылка на окраине. Редкие флигеля. Рядом линии Архангельской чугунки. За ними большие Вологодские железнодорожные мастерские. По Кобылке идут рабочие в кожаных и ватных и легких пиджаках, пахнут железом, маслом, ржавчиной. На Кобылке они живут. По Кобылке гуляют в праздники. Здесь пляшут, смеются, дерутся и плачут, валяются пьяные в грязи, сидят бабы рабочих на лавочках у ворот и щелкают семечки. Рваные, нищие, мазаные ребятишки запрудили улицу.

А то Кобылка вся — как солдатский, казарменный двор: в канун праздников из флигелишек выходят рабочие-охотники с ружьями за плечами, с патроントашами, с веслами. Из-под Соборной горы отъезд на низовые охотничьи и рыболовные пожни. Под Соборной горой покачиваются на ленивой струе реки Вологды собственные лодки на цепях, под замками...

— На низ! — кричала Кобылка.
— Счастливо! Ни пуху, ни пера!
— Помаленьку наляйт! А то итица пуганая. Улетит со страху!

— Водичка запасена?
— Целый кабак! Дичь на закуску.
— Лучше с собой бы огурцов прихватили, а то закуска летучая! Огурец — тот не обманет! На худой конец в карман вытечет!

Федор Степанович сразу победил, оставшись на одном жалованье, без свиней, без коровы, без огорода. Кобылка — самая дешевая. Флигелек в три окна. Шапонолам. Две передних, на улицу, низкие, тесные комнатушки — квартира Мещериновых. Отца пет с восьми утра до одиннадцати вечера: в трактире на Толчке, в Светлых торговых рядах.

Время пошло. Федор Степанович съезжал с одной маленькой квартирки на другую. Всё казалось, что папа лез по лестнице с самого низа до самого верха. Кобылка — как на дне оврага, повыше Спасоболотская, Лебяжий переулок, Березовые бульвары. Золотуха у Каменного моста — макушка, середина города, купеческая гнездовка.

Так и шагали, осторожно, не забегая вперед, щуная ступеньки, с передышкой, с оглядкой назад.

На Кобылке — резиновые рогатки, змей, свайка на лугу, под недокорчеванным и забытым кустом; у забора, в проулке — карты в „три листика“. Так живут ребята — будущие рабочие в коротеньких бегучих пиджачонках, охотники, рыболовы, завсегдастия Кобылка, до конца живота...

Вася гонял по городу недели две-три.

В воскресенье „Светлорядский“ трактир начинал торговлю после обедни в соборе. Архиерей Павел, звали его „Пога-за ногу“, любил кончать службу, когда на колокольне, похожей на огромную бутыль, круглые часы показывали ровно две-надцать и ленивые колокола начинали бой.

— Довольно скакать порожняком, — сказал Федор Степанович в одно из воскресений, собираясь на работу. — Одевайся! Не хотел учиться, будешь стоять за буфетом. Не хотел быть барином, будешь буфетчиком. Помогай отцу: нечего задаром сапоги рвать.

По это же так интересно торговать в трактире, хотя бы и рядом с папой целый день! А особенно приятно сидеться за хозяйский стол против буфета, когда около шести часов дня исчезает до вечера посетитель, трактир пустеет, его метут, брызгая водой из чайников и засыпая мокрыми опилками, а потом, проветрив, шестерки подают в белоголубой миске вкусные щи, жаркое на горячей светлой сковородке, невиданное сладкое на третье.

Обед не походит на мамин, домашний. Толстенный повар Федотов в белом халате и колпаке, точно доктор в больнице, готовит на плите, а не в русской печке, льет и кладет в кушанья какие-то снадобья из жестяных банок, из бутылок и склянок. Оттого так немыслимо вкусно. И хочется сидеть за столом долго.

По праздникам трактир закрывали в шесть часов вечера, и Вася довольно шагал рядом с отцом на Кобылку. Звонили на соборной колокольне ко всенощной. Проходили мимо. „Бутыль“ огромна.

— Посмотри, папа, — сказал Вася, — а колокольня походит на сифон с зельтерской. Крест на верхушке, как рыльце у сифона.

Федор Степанович от неожиданности сбился с шага, как будто бы он тайно усмехнулся, по резко укорил:

— Чорт тебя знает, что ты за балда! Язык у тебя, как у коровы хвост, болтается! Хорошая наука! Увидал пустой

сифон в трактире и... к чему приложил? К святому сооружению! Чтобы я больше не слыхал от тебя таких глупостей!

Мать — та просто перекрестилась, узнав от сына о разговоре с отцом по дороге, и дала Васе подзатыльник.

По все-таки Вася видел, как папа шел-шел молча, наступясь, вдруг беспричинно рассмеялся, скосил нежно и ласково глаза на него и взъерошил на Васиной голове волосы. Правда, веселье папы было минутным. Он тут же хмуро пробормотал:

— Ты сегодня сдавал сдачу — не просчитался? Ты еще не забыл таблицу умножения? Сложение и вычитание знаешь? В карман себе не спустил двугривенного? Помнишь, как в Рябушках рубль утащил?! Здесь тюрьма рядом: я тебя с городовым живо туда отправлю.

Проверил Федор Степанович карманы не сейчас, а как-то в ближайшие дни. Вдруг остановил у крыльца, когда они возвращались из трактира, и пошарил в каждой дырочке костюма. Дома велел снять сапоги, опрокинул их голенищами на пол, потряс, слазил в голенища рукой и, кстати, вооружился молотком и поленом, забив в подошву торчавшие из нее гвозди.

— Поге больно, а, дурак, так ходишь на гвоздях, — укоризненно пробурчал отец. — Сам не можешь, давно бы сказал. Что, не успел сегодня слазить в кассу? Нечего распускать по лицу краску! Кто раз в чем замечен, к тому доверия нет. Так и знай! Я тебя подстерегу. При народе буду лазить к тебе в карманы. При всех осрамлю, только посмей это баловство сделать! Денег тебе не надо, у тебя всё есть.

Вася на несколько месяцев прослыл честным: все отцовские неожиданные налеты кончались неудачами.

Вася усвоил способ не попадаться. Шестерки — бывалы. Они быстро обучили молодого буфетчика. В торговые пятницы дни мужик с Толчка, чиновники двадцатого числа, с жалованием, богато песли медь, серебро и даже золото. Ящик под стойкой с выдолбинами для разной монеты тяжел и

звонок. Вася ловко и умело получал, сдавал, быстро отпуская густую галдящую стену посетителей.

Один взгляд на шестерку, сдача ему вдвойне, в грудке мелкого серебра и меди рублевый кружок, а то и глазастый рыжик. Шестерка смахивает со стойки сдачу ладошкой, точно деньги обучены, как у фокусника, сами прилипают к руке и мгновенно исчезают в объемистом кошельке. Шестерка побежал с Васиным прибытком, мелькая в толпе белой курточкой, белым рукавом, с воздетой высоко загребистой лапой, несущей над головами поднос с графинами, бутылками, рюмками и стаканчиками. Посуда сверкала и сияла на солнце, точно довольные глаза Васи: попробуй, папа, найди свои безымянные деньги!

Но частенько не находил их и сам воображаемый владелец.

— Какие деньги? — удивленно спрашивал повар. — Ты мне в оккурат сдавал. Что я тебе буду собственными платить?

— Сволочь, не стыдно? — возмущался Вася.

— Мне нечего стыдиться! Это тебе надо стыд иметь: отда обворовываешь.

— И ты вместе со мной.

Другие отдавали часть, третью — всё; последним Вася платил добровольный процент.

— Я тебе задаром не работник, — вымогал такой, — задаром чирей не сядет.

Отдавали все молодые шестерки, пока не привыкали и побаивались сына буфетчика, чтобы не напортил по службе и чего-нибудь не накляузничал отцу.

— Я папе скажу, — грозил Вася, чуть не плача от беспокойства, — я тебе два золотых дал.

Шестерка смешливо подавал две позатасканных, светлых медяшки:

— На твои золотые! На разживу. Отца ты брося! Я сам ему повинюсь. Подойду и скажу: „Федор Степанович, не знаю для чего, Вася мне сначала глазом подмигнул, потом золото выложил. Я соследу взял, да раздумался... Не таскает-

де ли у отца деньги на баловство царень?“ А то и так можно: взял-де нарочно, чтобы поймать воришику и оглу тлаза открыть. Хочешь? Мне, ежели и не поверит твой отец, наплевать: все равно хочу уходить в другой трактир.

Непроходимая... Вася тряслось от такого вероломства. Но сделать он ничего не мог.

И Вася всячески изощрялся. Радовался своим уловкам. Мстил. Как будто ничего не было, он вскоре совал обманщику полтинник и шептал:

— На мировую!

Половой в душе посмеивался. И вскоре был одурачиваем. Вася, шатаясь по городу после запора трактира, забегал к бывшему обидчику, занимал у него как раз такую же сумму, а то и больше, какую тот присвоил. Теперь наставала очередь посмеиваться Васе.

— Я не брал. Ничего отдавать не буду.

Не действовали и угрозы отцом.

— Как знаешь! — издевался Вася. — Мне что? Ну, папа меня выдерет... а ты полетишь вон за то, что украл у меня краденое, за то, что в долг мне даешь. Полетишь из трактира, да папа тебя и в полицию отправит: обманываешь маленьких.

Половой старался насолить: предупреждал всех товарищей, чтобы те не давали взаймы. Над простаком же и гоготали. Вася быстро усваивал обучение, получаемое от прожженных на купеческой службе шестерок. Он аккуратно выплачивал долги тем, кто грабил его меньше или удовлетворялся только процентом за полежалое.

С течением времени Вася обогнал в предприимчивости своих учителей и платил мало. Шестерки сами сбавляли процент, добиваясь хотя бы какого-либо заработка за передачу. Самый дешевый довольствовался грошами.

В конце концов Вася сделался неуязвим для всякого обмана.

— О ловкача вышколили! — воскликнул побитый половой

среди своих. — Башка отчаянная растет! Я ему бакалейку десятирублевую выкинул на стойку, он из нее вычел пятерку свою, а с остальной мне сдачу за графинчик с закуской. Я требую с десятки, а он, сукин сын, прямо к отцу. „Папа, — говорит, — Семен меня обманывает. Я хорошо помню, он дал пятерку, у нас в кассе всего-навсего четыре десятки давно лежат, его десятка у него в кармаше“. Эдак с насмешкой подпустил. Федор Степанович меня же и выругал. Мне же и графин толкнул со стойки, едва к черту не полетел. Вот орла выпестовали!

Вася побеждал не во всем. После запора половышили, шла картежная игра, потом отправлялись к девушкам в поતаенные „одиццы“ или „двойни“. Так и говорилось:

— Сегодня на камень! Нет, сегодня к близнецам!

Васю явно обыгрывали в крапленые карты. Он понимал. Приносил свои. Но и тогда обыгрывали, стакнувшись между собой заранее. Для затравки какой-нибудь вечер поддавались. И тут же уславливались:

— Припасай, ребята, завтра денег побольше. Сыграем по крупной. Будут гости от Межакова.

Это — лакеи из перворазрядного ресторана купца Межакова.

Карты овладели Васей, как привычка есть, спать, курить. Он добывал средства всеми правдами и неправдами. Но пропустить „крупную“ игру нельзя. Вася проигрывался влоск. Должал. Карточный долг выплачивал до копейки, расчетливо выбирая из отцовской кассы попемногу, чтобы при подсчете месячной выручки отец не заподозрил значительной убыли.

Васю подпинали. Из подражания старшим, он опрокидывал водку в горло большими рюмками. Отвращение искажало лицо подневольного пьяницы. Половые хохотали. Вася пьянялся с двух-трех рюмок.

Когда-то, через час, через два, надо было притти домой, может быть, еще встретиться с не заснувшим отцом. Это

удерживало. Под издевательства и насмешки над трусостью Вася, пошатываясь, пробирался к крану, лил на голову холодную воду, выходил на задний двор и совал в рот два пальца...

Нельзя пересилить таинственного любопытства от поездки к „одицам“ и к „двойям“. Часто пробивались трактирными задворками.

Огромные Светлые ряды — двухэтажные магазины и лавки с зеркальными стеклами: стекло, мануфактура, кожа, машины, колбасная, мебель, готовая бакалея — изогнулись ключкой. Они замкнуты высоченным забором от другого квартала частных домов. Не видать. Одни проездные ворота — на ночь запирают — ведут в это складочное место купеческих товаров, выброшенных ящиков, всякого гнилья и мусора, стружки, опилок, рогожи, сена и соломы.

Ухорбные. Крысы. Уборные. Даже для чего-то кой-где посажены березы. И растут в этом жирном смраде.

Сюда приходили и приводили с собой пьяных проститутки. Половые и приказчики брали откуп за помещение натурой. Любая — любому. Все друг друга знали. Проститутки берегли квартиры, берегли хозяев.

— Нельзя! — кричали одна и другая. — Ногоди малость! Наваришь! Я запретная для тебя! Остужайся, остужайся, чорт, не лезь зря.

Вася всё видел... И онна не обучила, а оттолкнула, напугала...

— Эх, Васька, ты на сухих! — подразнивали половье, пля от „одицов“ и „двойней“.

Васе было любо молодечество, но ему еще в монастыре старец Пафанил и Одинцов и послушники наговорили всяких страхов о женщинах.

Только раз, чтобы похвастаться и сравняться с большими, заставить их перестать смеяться над ним, Вася в одиночку постучался в знакомое окно с геранями и плотной занавеской. Маленькая, как девочка, по прозванию Дунька-мотылек, удивленно выпустила глаза на Васю. Никто к ней и никогда не

стучался днем. Мальчишка из „Светлорядской“, бывавший у неё с шестерками, совсем не походил на привычного гостя. Он стоял у окна в диковинном виде: с удочками, с корзиной и подсашником. Парень все-таки настойчиво шевелил губами, улыбался и делал какие-то знаки. Дунька-мотылек поняла, что он охранял ее тайну и не хотел привлекать к себе внимания. Поэтому он тревожно и оглядывался по сторонам в глухом хотя, но все же не безлюдном переулке.

Дунька-мотылек любопытно приоткрыла окно.

- Пусти, — шепнул Вася.
- Зачем?
- Надо.
- Тебя ко мне кто-нибудь послал?
- Нет, я сам.

Вдруг Вася всхлипнул, застеснялся, и глаза у него сделались злыми от досады.

- Да за тем, — отчаянно сказал он, — за чем другие ходят.

Дуньке-мотыльку такая решительность парнишки показалась настолько смешной и забавной, что она не удержалась от легонького смешка и согласилась пустить необычного посетителя.

Вася воспользовался свободным днем. Отец иногда отпускал сына по грибы, на рыбную ловлю, просто так побегать.

Дунька-мотылек отперла дверь, посмеялась, как Вася вталкивал длинные удочки и бережноставил их в сенях, тут же сунул свою корзинку с рыболовными принадлежностями и съестными припасами.

- Давай пива! — подражая шестеркам, потребовал Вася.
- Пиво появилось.

— Будем пить! — твердо сказал гуляка. — Я на рыбалку не пойду, а останусь у тебя.

На последнюю фразу Дунька-мотылек так и раскатилась. Вася успел выпить стакан. Он будто бы уже раньше „заложил за галстук“, сразу от пива начал хмельть, ничего не понял, пьяно поддержал смех и обнял Дуньку-мотылька за талию.

Вся Васина смелость прошла, когда хозяйка скрылась под пологом над кроватью.

— Эй, старичок, что ты медлишь? — дико, пепистово хохоча, через силу пробормотала девушка.

Кровать и полог сотрясались. Дунька-мотылек с веселой и смешливой мордочкой глянула на Васю.

— Дуня, давай поговорим сначала, — краеный, сознавший свое глупое положение, робко попросил гость.

— Никак, ты пропрэзвел? — забавлялась лежавшая женщина. — Иди сюда, и поговорим.

— Нет, ты ко мне сойди.

— Ха-ха! — совершенно задохнулась Дунька-мотылек. — Ну, ты мне и задал загадку, Васютка!

Как ни был Вася растерян, он заметил в глазах девушки привязь и расположение к себе. Она действительно вскочила с кровати в одной рубашке, прыгнула на колени к нему, обвила его за шею голыми бледными руками и стала бесконечно целовать его лицо.

— Да откуда ты, дурачок, взялся? С луны упал? — спрашивала она, тиская уже большого костлявого верзилу с румяными пущистыми щеками.

Вася ничего не мог ни сказать, ни объяснить открыто.

— Я тебе на ухо, — прошептал он, не глядя на свою соблазнительницу.

Дунька-мотылек подставила ухо и выслушала внимательно и серьезно.

— Честное слово, здорова. — уверила она и совсем под детскими долго смотрела на Васю, словно никак не приходя в себя от удивления, потом опять расхохоталась, прижала его голову к худой грудишке и навила на пальцы непокорные Васинцы кудри.

Вася ушел близко к вечеру, вдруг заскучав.

— Ты еще на вечерний клев успеешь, — ласково подщупила Дунька-мотылек, помогая Васе вытаскивать громоздкие удочки. — Приходи еще. Я тебе всегда буду говорить...

Может быть, адрес дашь: я тебе открыточку пришлю. Так и будем переписываться.

Всё переменилось: Вася теперь никому не хотел уже говорить, что произошло у Дуньки-мотылька. У него пропало желание бахвалиться перед половыми: пусть те думают о нем по-своему!

— Обещаешь? — снова переспросил Вася.

— Слово свято.

Веселый смех Дуньки-мотылька еще был слышен из сени, когда Вася уже скрипел калиткой.

Так это и умерло, никому не раскрытое и дважды не повторимое: Вася не воспользовался приглашением. Наоборот, он никогда больше не заходил сюда и вместе с шестерками. Ему было стыдно.

М'ки пришли утром. Вася заподозрил Дуньку-мотылька в обмане. И ужаснулся. Почему-то, откуда-то он слышал — надо ждать два месяца. Ничего. А может быть, надо ждать три?

В стыде, в трепете, с дрожью губ, Вася оказался в приемной у Ивана Никанорыча. Это вологодский старожил-доктор Сед. Толст. Говорят, куриг во сне. Так, не просыпаясь, вынимает окурок изо рта и вставляет свежую папироску. Лечит худую болезнь.

— Когда?

Вася что-то прошептал.

— Не слышу! — загремел доктор. — Два с половиной месяца? Так все и было?

— Так.

— Сколько лет?

Вася запнулся, по три года прибавил. Иван Никанорыч, одпако, не поверил.

— Придешь домой, — неожиданно насупясь, сказал доктор и взял Васю за руку, не отпуская, — попроси отца, чтобы он тебя хорошенько выпорол. Хорошее лекарство. Другого тебе не надо. Или выпорол или женил на розге. Это одно и то же.

Бери обратно свой рубль. Дарю тебе на гостицы. Ии на что, смотри, не трать кроме орехов да рожков. Это тебе как раз *еще* лакомство. Помни, ко мне ходят страшные люди. Не попади в их число. Тогда беда!..

„Светлорядский“ трактир делился на чистую и черную половины: в чистой — публика в калошах, в шляпках, словом — брюки навыпуск, купцы во всяком виде и худощавые чиновники с кокардами; в черной — мужики вразнобой, от деревенских до городских ломовиков, шатия, мастеровщина, проститутки... У стойки — всякая проходная, летучая: опрокинул рюмку или стакан и уже бежит, на бегу жует рыжик, сдачу сует куда попало — в кошелек, в карман, под каргуз... Такой торопыга обязательно стучит дверями.

Табачный дым густ и сер и кудряв, как овчина. Оглушил звон тонкой водочной посуды, бурчат фарфоровые чайники, верещат железным хрипом подносы. Толчая и гам голосов, бранчливая неразбериха, тычки, драки, ёрзанье по полу тяжелых и грубых сапог... Толчок в каменном сыром, как гнилая яма, ящике.

Вася скоро утратил всю деревенскую розовость щек. Однажды он пошатнулся и упал. Федор Степанович сократил рабочее время: от двенадцати до шести.

Вот тогда-то Вася и попался. Напротив „Светлорядской“, через широкую дорогу и два бульвара по каждой ее стороне, был трактир без крепких напитков „Малый Ярославец“.

Там *шекли* расстегали насобицу. Повара переманивали все трактиры и рестораны. Там биллиардная с маркером Осинкой. Он любому давал пятнадцать очков в пирамиду и клал партию с кия. С ним играли только *еще* не обыгранные приезжие. Вася не захотел учиться мазиком. Начал с кия. Прорвал сукно. Двадцать пять рублей. Нет. Виновника Осинка повел к Федору Степановичу. Вася вырвался и убежал. Это не помогло.

— Где взял деньги? Я знаю всё. Ты заказывал расстегай. В биллиардной держал по рублю мазу. Заплатил Осинке три

рубля. Он тебя учили играть, — допрашивали папа. — Ты взял из кассы? Занял? Тебе дала мать? Ты шаконил?

— Взял, — едва повернулся язык признаться, но тут же Вася уже вывертывался и заглаживал вину: — Меня научили шестерки...

Удивительно: папа на этот раз не был за воровство, но почему-то схватился за голову, закрылся руками, пригорюнился и долго просидел за столом, ни с кем не говоря. Когда он поднялся, глаза его покраснели.

Перед уходом на работу он занес в платяной шкаф Васино пальто, ниджак и шапку, положил ключ в карман, не доверяя маме, и сказал раздетому сыну:

— Надо бы тебя отправить в исправительный дом в Самаринский сад, да попробуем еще немножко сами управиться. В квартире можешь, забалуй, па голове ходить, а на улицу — ни ногой.

В Самаринском саду древесная гущина, пруды, дорожки, высокие светлые дома для малолетних преступников. Там бывали веселые благотворительные гуляния с музыкой, с лотереей, игрой в „коньки“, с концертом и с фейерверком. Там, пожалуй, лучше сидеть за высоким забором с зубастой цепью гвоздей поверх, чем па Кобылке в заточении. На улице похолодало: не высокочишь.

Мать уходила на базар. Тогда в ее шали выбегал на двор. Но в шали неловко: все понимают и подсмеиваются. В Самаринском саду, наверно, не отнимают пальто и шапку.

Федор Степанович отстрилил Васю от торговли. Вася запрещено было когда-либо ходить по трактирам. Редко-редко, только по делу, мог появиться он и в „Светлорядской“. Федор Степанович снова занялся подготовкой сына „па барина“.

Двадцатого каждого месяца около двух часов дня начиналась особо поспешная заготовка закусок в буфете. С кухни от Федотова плыли, как малые и большие льдины, блюда, тарелки, соусники и чинки. Стойка загружалась почти видал.

В листовой тетради с клеточками Вася записывал. Федор Степанович быстро считал яства поштучно.

— Рыжиков сто! Грудей пятьдесят! Селедки сорок! Огурцов двадцать!

Рыжики, груди, куски селедки поступали конейка за пару: это буфет должен кухне.

Времени оставался час.

— Кроши, — сказал пана, принимаясь за работу. — Идем в лес за грибами.

Не крошили только при Шевелюхине: он продавал грибы и селедки за полушки, буфетчик торговал вчетверо. Пьяницы закусывали в большой прибыток.

За Толчком, против „Светлорядской“, на речном берегу длинное, о трех этажах, каменное здание — присутственные места: уделы, казенная управа, казначейство, контроль, государственные имущества...

Высохшие, испитые чиновники — завсегдатаи ..Светлорядской“. Федор Степанович обзавелся широким знакомством с настоящими, живыми коллежскими регистраторами, губернскими секретарями и даже титулярными советниками. Сюртуки, мундиры, пиджаки... Пьяницы сплошь. До двадцатого должают.

— Чины у них стоящая вещь, — говорил пана сыну, — нам только чины и надо. Больше от чиновников переписывать нечего. Гольтена!

Двадцатого торговали хорошо: к запору трактира несколько раз менялась сидящая стойка, чиновников выходили под руки на улицу, некоторые из чиновников уже рылись по всем карманам, будто бы отыскивая где-то запропастившиеся деньги.

— На запись? — строго спрашивал Федор Степанович, однако без желания потерять постоянного посетителя.

— На запись...

Один такой, средней руки пропивоха, в пьяном виде гордец и крикун, в трезвом — тишайшая голубица и скромница.

Константин Константинович Спорынин взялся подготовить Васю к экзамену на первый классный чин.

Спорынину было под сорок; когда-то он учился в гимназии, не доучился, поступил в казначейство и позднее получил производство в титулярные советники.

В „Светлорядской“ вспрыкивали. Константин Константинович горделиво принимал поздравления. По сему случаю Федор Степанович также захотел принять участие в торжестве и прислал за стол молодого титулярного советника угощение: полуторный графин водки с закусками и бутылку любимой чиновником зубровки. Вкусы каждого знали.

За взаимными поздравлениями и благодарностями пьяневший Константин Константинович, покачиваясь у стойки, убежденно воскликнул:

— Клянусь моей наблюдательностью, чтой-то, чтой-то в лице этого мальчика особенное, чрезвычайное!.. — он наклонился к Васе и похлопал его по плечу.

Спорынин сразу попал в два сердца. Вася повертелся минутку за буфетом и побежал смотреть на себя в зеркало на чистой половине. Ничего особенного он не нашел: нос как нос, широковат и увесист, толстые губы вроде сосисок, уши — точно лабуныки стоймя, глаза маленькие, хуже обычновенных... Лесть победила Федора Степановича.

— Он будет человек высокого чина! — продолжил пророчество Константин Константинович и, словно наперед отказываясь гнаться за будущностью Васи, махнул безнадежно рукой. — Он... он нас за пояс заткнет!..

Тут же договорились начать с маленьского, а потом шагнуть дальше. Спорынин напился влоск, все деньги оставил в трактире. Будущего учителя в бесчувствии отправили за счет Федора Степановича на извозчике домой, и он недели на две пропал.

Константин Константинович выпучил глаза, когда ему Федор Степанович напомнил. По взялся. За это время Вася успел разорвать биллиардное зеленое сукно и поплатиться.

Спорынин жил по соседству, на Кобылке. Вася быстро разгадал немудреного учителя. Написали диктовку, и Константина Константиновича полез смотреть в книжку. Правда, Спорынин сперва сначала только косил глаз на сомнительное слово, но этого уже было достаточно ученику. А тут еще Константина Константиновича осторожно придвинул локтем к себе книгу.

В следующий раз Вася нарочно врал — и учитель пропускал ошибки. Задачу решали вместе, вместе заглядывали в ответ и вместе удивлялись, почему не выходит.

Много пили чаю. Спорынин играл на гитаре и тихонько ворковал любовные романсы. Константин Константинович был холост, мечтал о женитьбе, а рядом на диване грустно вздыхала о замужестве сестра, старая дева, с заковыристым именем Эвфалия. Она и вела хозяйство. Вася был как свой в крохотной квартирке из двух комнатушек с кухней. Учебники на первый классный чин никому не были нужны.

Вася распоряжал временем, как хотел. Но деньги... Папа понемногу смягчился. Маму пришлось напугать. Вася стянул из шкатулки отцовскую серебряную цепочку от часов и заложил ее в ломбард. Мама надрала уши сына до красноты, но скрыла от отца кражу и цепочку выкупила. Соблазнительная вещь была спрятана надежнее. Теперь давала деньги безропотно, чтобы наследник не повторил воровства. Мама торговалась, плакала — и укрывала...

Вася все-таки играть кием выучился, сукна больше не рвал, шлялся из бильярдной в бильярдную, был знаком со всеми маркерами, выигрывал у новичков, давал и брал „вперед“. Заправский игрок! Сперва расстегай, по примеру старших, поедал с выпивкой. По водка не шла в горло, как отцу табак. Осталось одни расстегай. Хаживали со Спорыниным: тот пил, Вася закусывал.

В конце Зосима-Савватьевской улицы стоял широкопосыпый, с террасой и двухскатной огромной крышей, двухэтажный амбар. Цвет — кирпич, перетертый с землей. Во лбу здания

деревянный налеченной лев с саблей. Герб помещика Меркурева. Амбар-театр.

Шадо было почасть туда, под потолок на галерею, — и всё пропало. Шел „Шерлок Холмс“. Вася вместе с Шерлоком прятался в часах, лазил на деревья, обрыпался с гор. Когда Шерлок, скрываясь от погони, разбежался, прыгнул на стул возле окна, просунул голову в раму и застрял, — не соразмерили довольно толстенького Шерлока с оконным узким отверстием, — Вася в забывчивости крикнул:

— Скорее, скорее!..

Кругом засмеялись и зашикали.

Городовой положил крикуну тяжелую руку на плечо.

— Ньян? Не знаешь, что в тиатре?

Городовой взгляделся в Васю.

— Шшиш... перестаньте, — забормотала галерка.

— Я не нарочно, дяденька, — почувствовал себя совсем маленьkim Вася.

Между тем Шерлок изловчился... Преследователь было выглянул из дверей, выставил одну ногу и убрал ее.

— Рано, чорт! — ясно донеслось из-за сцены.

Шерлок вывалился в окно боком.

На другой день Вася долго просил у мамы двадцать семь копеек: это стоимость галерочного билета на любое место стояком.

На „Материнском благословении“ Вася загородился растопыренными руками от напряженно замерших соседей вивалку, и слезы брызнули, как вода из лейки. Жалко было всех, а больше всего — обманутую девушку. Старуху играл Чузинский.

— Чузинский, Чузинский! — сотрясался от невиданного тваита амбар Меркурева.

Константин Константинович в театре бывал в возрасте Васи. Он давно забыл туда дорогу. Будущий коллежский регистратор подсунул Федору Степановичу титулярного советника, и тот подтвердил, что ученику следует бывать там.

— Я без театра... как... без рук, — сказал заикаясь Спрынишин, — еженедельно...

Федор Степанович предовольно умиллся, гордясь честью, выпавшей на долю его сына.

Вася являлся задолго до отпора дверей на высоченную лестницу, приводившую внутрь. Это когда были деньги и можно было проскочить первым, чтобы занять лучшее место в самой середине. С пустым карманом Вася лез в гуще толпы, стараясь проскользнуть незамеченным мимо двух билетеров, дежуривших у верхних дверей. Хватали и выталкивали. Прорывался...

Неспокойно в антрактах. Ходил контроль: искали безбилетников. Ловили. Ницали под некоторое место. Возиться самим некогда: сдавали городовому. Тот выпроваживал с высокой лестницы, лупя „селедкой“ в ножнах.

Надо было крепко держаться за лестничный перила, чтобы не сосчитать все ступени. Билетеры искали без билетов задешево: к началу — за пятиалтынный, ко второму действию — за гривенник. Хотя бы попасть к концу, но только попасть! Нерестал покупать билеты, по знакомству должен.

Театр овладел. Днем на Кобыльке, сидя дома или у Спрынишина, Вася переживал вчерашнее, рассказывал, представлял...

Не мог же Константин Константинович ходить в театр каждый день! Федор Степанович рано или поздно должен был догадаться об обмане. Вася решал до десяти посмотреть и послушать, а потом уйти, чтобы к приходу отца оказаться дома. Так завел папа: гонять исплонаю собак не до поздней ночи.

А как раз к десяти кончалось второе действие и начиналось третье, нарастали события, приближалась развязка, словно ловкие пожарные лезли по лестнице на чердак, на чердаке дымило, но огонь был спрятан под крышей. Решал оставаться на отчаянность.

В страхе перед отцовскими побоями, осторожно стучал в

кухонное скло за полночь. Мать, дожидалась, не спала. Тотчас отпирала. Тыкала в бок и шептала угрозы. Выдумывал всякие поводы. Спал папа — наутро мама убавляла времяозвращения: Вася прибывал точь-в-точь, когда Федор Степанович лег и заснул.

Никогда отец вставал. Огромный, в белом ночном белье, с кудлатой головой, с ремнем в длинных руках, он, выходя из себя, яростно, до синяков и кровоподтеков порол театрала.

— Федя, Федя! — отнимала, полуплачуща, мать. — Будет! Довольно! Изувечишь! Свой ведь, а не чужой!

— Пусти! — беспомощно отец. — Лучше убить негодяя, чем срам от него иметь. Каждая сволочь в глаза тычет: вашде сынок там-то и то-то сделал!..

В зачальчивости и тесноте Федор Степанович попадал по Марьюшке или с силой отталкивал ее. Тряслась жиденькая перегородка между двумя комнатушками, звенела посуда в горке, прсынались сиавшие на полу Васины сестры, выглядывали, ворочались испуганно, закрывались одеялами с головой.

Федор Степанович кончал, тяжело дыша. Все знакомо повторялось. Журчит вода из крана на кухне, щелкает вынутая из бутылки с уксусом пробка: это мама охлаждала папу, приготовляя ему компресс.

И скоро тишина. Слезы, как скучная капель из завернутого крана: кап, кап... Скоро Вася услышит осторожные шлепки по полу голых ног матери: это она ему принесет остатки ужина. Значит проверено, — Федор Степанович заснул...

— Йди, побродяжка, — ловил Вася взъявленный шепот и — молчание... и мать тихонько подымет одеяло над сыновьей головой, а сын пригворялся обиженным и несчастным и почти забитым на смерть. — Больно? Так тебя и надо!.. Мало тебе! Милостиго дерет тебя!

— Ну, иди к нему спать, — грубо отталкивал Вася маму, — раз тебе не жалко меня.

— Пес! — сердишась Марьушка. — Его кормят, а он кусается.

Скрипит двухспальная кровать: мама легла.

— Я ему говорил... я ему говорил, — бормотал Федор Степанович, должно быть, продолжая наказывать сына и во сне.

Вася не спалось часами: волнение от театра и побоев. Все бранные слова отцу сказаны и передуманы. Но больше быть не будут. Отец отходчив. Завтра, Вася знал, папа будет хмур и бледен, но в то же время стеснителен, ни разу не взглянет, промолчит день и вечер, а может быть, позвовет в трактир обедать или с мамой пришлет оттуда что-нибудь вкусное. Так всегда. А то сразу развеселится и даст двугривенный и даже пошлет в театр. Вдруг выйдет из жилетного кармана билет и скажет:

— И я вот тебе. Я давеча нашел на полу. Кто-то обронил...

Это он, загляживая обицу, нарочно посыпал шестерку в театральную кассу еще с утра.

Ночь. Федор Степанович тенился перед иконой Василия великого большую, как полоскательная чашка, синюю с белыми вдавлиниками лампаду. Мир. На ночь оправлял ее сам. Она никогда не коптила. Папа аккуратен.

Не спалось. У Васи были недочитанные книги. Давно внесен рубль залога в библиотеку на Кирилловской улице. Брал там. Брал у Константина Константиновича: „Пива“ с приложениями, „Родина“. Эвфалия и Вася читали вслух по-переменно Спорынину. Он слушал, полулежа на диване, спускал с него одну ногу, чтобы, упервшись в пол, удобнее налить из бутылки крошечную, почти с пистолетом, рюмку водки.

Ночью запрещено зря жечь керосин. Но на Кобылке нельзя без огня: водились воры.

На кухне жестяной почник. Привернут. Прокрался туда. Ночник уже у подушки, загорожен стулом с повешенными на спинку брюками и пиджаком.

Приходила тушить огонь мать и уносила ночник. Тушил его белый рассвет, будивший окна...

И опять за старое... за новое. Вася захотелось самому написать пьесу, чтобы ее играли в амбаре Меркурева, и непременно играл Пузинский старуху, а старуха уже готова: это Александра Павловна с длинным чубуком. Ни в одной пьесе не было такой старухи.

Спорынин прочитал четыре действия Васиной пьесы и захохотал:

— Да ты, Василий Мещерин, — сказал он покровительственно, — совсем еще молокосос. По твоей тетрадке, только актеры выйдут на сцену, им и делать нечего.

Пьеса занимала шесть страниц тетради. На большее не хватило. Константин Константинович не мог объяснить, как это можно найти столько слов, чтобы достало их на четыре часа говорить в театре.

— Это секрет писателя, — таинственно важничал Спорынин, — никто не знает. Я переписать могу толстую, как книга, ведомость в казначействе, а самому мне ничего не написать.

Но тогда же было прочитано „Воскресение“ Толстого. С чужими словами дело пошло проще. Вася принялся переделывать в пьесу „Воскресение“. Школьная тетрадь за три копейки наполнилась каракулями. Теперь и одно действие не влезло в нее. Вскоре Вася неприязненно вздрогнул на улице: с круглой вертушки для объявлений чернела театральная афиша. Кто-то успел переделать „Воскресение“ до него. Вася ревниво критиковал соперника, но был и горд, что услышал со сцены те же слова Нехлюдова и Катюши, какие переписал в свою тетрадку.

Месяцев так через пять от начала подготовки на классный чин Константин Константинович однажды упился в „Светлогорской“ до состояния, в котором делался нестерпимо заносчив. Спорынин весь вытянулся точно солдат на смотру и в недосягаемой гордыне на какую-то добродушную шутку Федора Степановича резко крикнул:

— Вы только буфетчик и... кошелек, а я бедняк, но я дворянин! Я на государственной службе! Без меня не обойдется. А вы, — Константин Константинович презрительно сморшился, — вы... спаиваете нас... грабите! Вы... злоумышленники!..

Федор Степанович сначала отдался смешком, но Спорынин привязался и наступал:

— Злоумышленники! Обиры! Копеечники!

Терпение оставило буфетчика.

— Это ты обирила! — гаркнул он, багров и решителен. — Ты бесплатно у меня бочку водки выпил, а толку нет. Перевод времени. Водку задаром хлещешь, а парнишку ничему выучить не сумел, кроме нового баловства по театральным шляться!.. Михаил, — приказал он здоровенному полковому, обслуживавшему буфетную комнату, — вынеси... этого мазурика на волю. Заткни ему глупое горло! Дай ему за похвальбу дворянством в шею, чтобы до бульвара бежал рылом вперед!

Михаил швырнул салфетку с руки на свободный столик, крякнул, подхватил Спорынина и вынес на улицу; у того только ноги болтались на весу, он напрасно хватался за звеневшие стеклянные двери.

Федор Степанович потешался у окна, разглядывая Константина Константиновича, действительно оказавшегося недалеко от бульвара карабкающимся на земле. Михаил беспрекословно выполнил привычный заказ.

Спорынин с жалким видом показывал на оторванный рукав своего пальтишки, затыкал в прорешку вылезшую подкладочную вату и стыдил полового. Михаил насмешливо передразнивал, делая притворно испуганное лицо.

На другой день Константин Константинович смириенъко, не здороваясь, проскочил на чистую половину, но не выдержал и пришел извиняться. Помирились. На мировую даже чокнулись: Федор Степанович — горячим стаканом чая, а Спорынин — рюмкой водки.

Занятия прервались: и не вспоминали. Вася так же частил к Спорынину. Никаковский учитель, но квартира уютна, вкусен гостевой радужный чай Эвфалии, весела и звонка рокотунья-гитара, а главное — Максим Горький.

Вася принес Константину Константиновичу в серовато-зеленоватой обложке библиотечную книгу; сткыли — и не закрыли. Проняло Спорынина. Вася захлебывался, точно тонул в бочаге. Одна Эвфалия часто краснела и пряталась за самовар: слова понадались крепки, как говор на Толчке.

Вог когда понадобилась черная половина в „Светлорядской“, с „золотой“ ротой, с пронощами, с проститутками, с ломовиками и с ворьем. Все завсегдатаи черной половины — отвратительные, презираемые — преобразились.

— Эй, Максим Горький! — покрикивали шестерки. — Ты чего со своей водкой пришел? Ты чего, ворина, в карман лезешь!

Вася теперь старался чаще проникать к отцу в трактир, охотно мчался с поручением от матери, выбирал время посидеть среди золоторотцев, пожать им руку, послушать их пьяный бред... Появились сочинения, в которых описывалась „Светлорядская“.

Константин Константинович судил строго.

— Не походит! Совсем не походит! — говорил он, отрицательно качая головой. — Федот, да не тот.

Эвфалия, заревшившись, как спелое китайское яблочко — желтизна с красиной, резко пригрозила:

— Я тебя к нам пускать не буду! Ты пишишь слова — бумаге стыдно! И все брань, брань, как у деревенского мужика!

Выгнали Васю, однако, не за это.

Окна квартирки Константина Константиновича выходили на двор, в закоулок у забора. Там репей и крапива, кошки, воробы... Внизу. Вася часто пробирался сюда, садился на подоконник. Спорынин лежал напротив у стеки на кровати, — так и разговаривали.

Вася пришел под вечер. Окно было закрыто и завешено: нет дома. Вася решил проверить: он потянул створки.

— Ай! — отчаянно крикнула Эвфалия, прикрывая грудь, когда довольный и улыбающийся гость приподнял занавеску.

Васю словно ударили по глазам и оглушили: он жалко растерялся и не опустил занавески. Улыбка появилась, как вспышка спички, и прошла.

Брат и сестра лежали на кровати обнявшись. Всё увидел вскочившую Эвфалию во весь рост. Так она и бросилась к окну, в ярости ударила Васю по щеке, столкнула его рывком в грудь с подоконника и захлопнула створки. Лежа в репьях и краинке, Вася огороженное следил, как Эвфалияправляла занавеску. Для чего-то сидела, чтобы еще раз увидеть Эвфалию, а не одни ее сновавшие по занавеске пальцы. Она выглянула в узкую щель — замерла... и приспособила края занавески с обеих сторон к косякам.

Константин Константинович исчез из „Светлогорской“. Вася во что бы то ни стало желал встретиться с ним. Он подстерег его у самого казначейства.

Снорынин, отвернувшись, прошел, замедлил и подождал Васю.

— Ну, видел! — вдруг закричал он на него со злобой. — А кто тебе, шаталка, поверит. Чего тебе от меня нужно?

Вася не знал, что ему было нужно и для чего он подстерегал чиновника.

Эвфалия — та просто не узнала Васю при встрече. И почему-то это было обиднее.

Шел Константин Константинович. Пришли другие. Другой титулярный советник, Ферапонтов, повел Васю в государственный контроль и посадил за огромный, в чернильных засохших лужах, столице. Вася сшили новую пару и картуз, похожий на чиновничий. Вскорости Ферапонтов передернул с недоумением маленькими плечами в сюртуке и как будто оправдывался в чем-то перед Федором Степановичем:

— Не могу-с... Он так извирал в бумагах, я получил выговор. Столоначальник приказал гнать и найти писца грамотного. У нас у всех почерк — писать царские грамоты. У него-с — как у первогодка в школе...

С Васи сняли новую пару и разрешили надевать ее по двунадесятым праздникам и в именины. Новый чиновник государственного контроля прослужил неделю.

Федор Степанович неотступно выходил „в люди“ недоросля: ему искали подходящее место. Пробовали в нескольких учреждениях. Заселялся. Ненадолго. Опаздывал, макрировал: изгоняли.

В городском театре — вход с задней лестницы — часа за полтора до начала представления выпускали статистов.

— Сегодня десять! — кричал распорядитель. — Сегодня пять!

Отбивали друг у друга дверную дыру, чтобы проскочить в десятке или в пятке.

Статисты изображали толпу. Пятнадцать копеек разовых за выход. И контрамарка на следующий спектакль: галерея. Вася нашел безденежный способ бывать в театре. Теперь подобрали и билетеры, считая Васю своим: пропускали так. Редко-редко отказывали: при переполнении театра.

Федор Степанович искал советников о судьбе сына. Вася поступал в фельдшерскую школу, в торговую, в учительский институт... Везде нужны были экзамены, а на экзаменах задачи по арифметике. Не выходило.

— Болван! — кричал Федор Степанович, стискивая кулаки. — Ты скоро будешь переросток, и тебя никуда не примут! Опомнись и возьмись за дело!

Вася стал переростком. Но брали и переростков.

Лес. Лесничество. Лесничие. Объездчики. Лесные кондукторы. Предстояла поездка. Открывалась лесная школа. На Сухоне. За триста верст.

Федор Степанович узнал и обрадел. Он крепко взялся за сына. Месяца два перед отъездом каждый день на Кобылку

ходил отставной прaporщик — инвалид Завьялов. Он преподавал, как командовал:

— Задача... Стройсь! А ну, вытянем во фронт это цепное правило...

Вася вертел в руках карандаш и незаметно усмехался.

— Марш!.. Первое действие... Ну, ну, шагай!..

В конце августа Федор Степанович собственолично доставил Васю на пароходную пристань.

— Пойми, — шептал отец, — школа новая. Первый раз берут. Поди, народ еще не знает. Легко попасть. Будешь самостоятельный человеком. Лесной кондуктор. Сорок рублей жалования, бесплатная квартира... Потом дальше учиться, если захочешь... Постарайся.

Проводить вышел и бездельничавший Завьялов.

— Смелость... прежде... всего, — раздельно покрикивал прaporщик, — смелость... и ловкость. На-а пле-е-чо! — и Завьялов изобразил пустыми руками, как умелый солдат орудовал ружьем. — Выпад вперед на экзаменаторов!..

Федор Степанович удержал Завьялова от показа выпада вперед, взяв прaporщика под руку.

— Стой, стой, Иван Иванович, — усмехнулся он, — тут кашу маслом можешь испортить. Молодец у меня страсть переимчивый. Он вместо экзаменов такие „ряды сдвой“ выкинет... все пропало!

Вася стыдливо оглядывался по сторонам, испытывая неловкость от своих провожатых. На них глядела публика. Кой-где перешептывались.

Пароход наконец отвалил. Докучный час прошел: Федор Степанович всегда прибывал на пристани и на вокзалы с запасом времени.

— На пристанях, полоротый, от корзины не уходи! — крикнул Федор Степанович последнее напутствие. — Живо выгрузят!

Вася вылез на палубу. Он выждал, покуда пароход „Братья Варакины“ достаточно отплыл и родитель исчез в ныльной

дали. За толстой пароходной трубой, незаметно от пассажиров, Вася слазил в чулок, поспешно отстегнул английскую булавку и достал теплую коробку папирос.

Вася освобождению усился на беленькую сквозную скамейку, закинул ногу на ногу и закурил. Деревянный город с синими, голубыми, золотыми и серебряными копиями церковных высоких глав плыл мимо. Вася тотчас вообразил себя загадочным путешественником, отправляющимся в погоню за неизвестным и опасным плаванием. Он покидал город, где оставил в слезах грустную красавицу. Впереди его ожидали препятствия, но он ничего не боялся. Он смел и умен, и находчив, и ловок, как все герои из прочитанных книг.

Еще почти не отъехав от города, Вася несколько раз мысленно утонул пароход, спасая тонущих пассажиров (ему правилоось спасать одних женщин). Все растерялись, мечутся, а он вышибнул из рубки увальня-капитана, сдернул с него капитанскую фуражку, надел на себя и толкозо распоряжался:

— Матросы, в воду! Спустить лодки! За борг столы и скамейки!

Потом у него для чего-то оказался в руках револьвер... на минуту задумался, не зная, как употребить оружие... Ах, да, — револьвер нужен, чтобы свести счеты с помощником капитана, который уснул на вахте вместе с лодманами и погубил судно.

Потом Вася взрывал котлы в машинном отделении...

...Пароход „Братья Каракины“ — в щенки. Все погибли. Только он и одна девушка уцелели. Он подошел к ней. Она бросилась к своему спасителю на шею, а он ее, бесчувственную, понес на руках в лодку, сел за весла и с могучей силой зачерпнул волну, и лодка пошла точно на парусе. Правда, он не знал, куда везти свою возлюбленную (она между тем спокойно спала и улыбалась во сне): на Кобылку нельзя — пана не пустят и, пожалуй, выйдет с ремнем... Тогда и нашлись родители девушки. У них замок. Он стоит

в верховьях реки Вологды. День и два и три гребет Вася, а девушка спит и спит. Река стала узка, она в камышах. Но все же приехали. Он несет на груди сияющую дочь владельца замка. Чёрное вероломство и неблагодарность! Отец приказывает схватить спасителя. Его сажают в башню. Просыпается девушка. Опять измена! Дочь походит на отца. Богатый и знатный сосед отбывает ее у Васи и берет в жены. Вася сидит в башне тридцать лет. У коварной рождается сын, почему-то похожий на Васю. Он узнает о заключенном и освобождает его, а свою мать в наказание сажает в ту же башню. Но Вася благороден. Он и за тридцать лет заточения не перестал любить вероломную женщину. Вася дожидается ночи. Крадется к башне. Закидывает в окно возлюбленной веревку. Она привязывает ее к решотке и спускается по веревке в объятия освободителя. Тогда почему-то сын приходит в негодование. Беглецов хва-тают и сажают вместе в подземелье. День и ночь заключенные голыми руками делают подкоп и наконец вылезают на волю. У Васи седая саженная тридцатилетняя борода, но волосы любимой шелковисты и белокуры, как в восемнадцать лет. Влюбленные приезжают в Вологду. Федор Степанович плачет от радости: не ждали погибшего сына. В „Светлогорской“ грязно и вонюче. Свадебный стол устраивает Федор Степанович в перворазрядном ресторане купца Межакова...

Мечты оборвались как раз в то сладкое мгновение, когда пирующие за свадебным столом крикнули: „Горько, горько!..“

— Ваш билет? — строго сказал помощник капитана в белом кителе и подождал, покуда Вася в растерянности никак не мог отыскать билет в карманах. — Пассажирам третьего класса запрещается пользоваться палубой! Плати штраф!

Вася неловко поднялся. Помощник крепко взял его за рукав.

— Я не знал, — оправдывался мечтатель.

— Пошел вниз! — крикнуло пароходное начальство. — Там у вас возле селедочных бочек да на канатах своя палуба!

Среди чистой публики ладят! Тоже пиджак надел будто для второго класса, а билет третьего!

Помощник проводил до лесенки и приказал дежурившему там матросу:

— Игнат, выпусти этого зайца! Заметь! Увидишь снова на палубе, доставь ко мне.

Корма третьего класса тесна, виабивку. Гармошка, черный хлеб, картошка, огурцы и водка... Мечтам — неудобно. Они тут росли скучно: мешали перебранки за краешек палубы, пьяные песни, гвалт и писк детей...

Гнались чайки за пароходом. Швырял хлеб. Смотрел па разрезанные, как плугом, пластины вспененной воды, убегавшие за корму. Рвет ветер. Осыпает мельчайшей водяной пылью, точно пудрит...

На другой день к вечеру показались низкие желтые здания лесной школы. Вася сначала их принял за сторожки в лесничестве.

Дождь и лес. Широкий плес реки. Река шла, шла, ее закружило тупоноско здесь, и устье стало маленьким озерком. Но Вася уже из дорожных расспросов знал: плес загромождали три смежных островка — Дедов, Бабий и Внуков.

Древние монастырские шлемы, башня колокольни бело мелькали в густой чащце деревьев. Это средний, Дедов остров. Школа стояла на левом берегу. Мели. Глубина около правого. Тут фарватер.

— Митрей Иванович! Митрей Иванович! Эй, Чумикин! — бегал по мокрому берегу какой-то мужик с мешком под мышкой, а свободной рукой махал картузом. — Эй, привороти! Возьми на пароход! Што я зря тебя караулю, небось, полдня с таком?

Мужик вызывал знакомого капитана. Из рубки высунули медную трубу-рупор.

— Межегоркин, что ли?

— Межегоркин! Али, дьяволы, не признали?

В рубке посмеивались и баловались:

— Иыне пристань здесь отменена...

— Ах, ты, мать честная! — воскликнул, суетясь, Межегоркин. — Да николи тута не было привала, а сажали, черти! Кто-о этто так-то глупо распорядился? Што я, на ночь глядя, до Тотьмы семь верст лесом пойду? У меня лён на десяти возах пошел в Тотьму из волости. Я тута выскошил из деревни Задней. Дай, думаю, наперед от островков шарну. Мне надо до мужиков угадать в городок!..

Пароход уже замедлил ход. В беспокойстве, что не возьмут, Межегоркин кричал все о том же, когда причалили к самой крутизне, сбросили трап, и мужик начал ползком карабкаться вверх почти по отвесу.

Вася воспользовался случаем и решил не доехать лишних семь верст. Его высадили.

— Ты покричи, парень, — сказал счастливый мужик, сочувствуя Васе, занимавшему его место на берегу, — вот монастырская лодка! Монастырские уельшат и выедут. Иятачок за перевоз. Больше не давай: избалуешь!

Дождь морошил, не переставая, с ночи. В пасмурн стояли леса. Берег чавкал и скользил. С ветвей деревьев капало крупно, как осипало дробью. Вася следил за отпывающим пароходом. „Братья Варакины“ наверстывали убытое время, потраченное на задержку. Пошли полныги... И Вася остался один.

Острова были безлюдны, точно там никогда и не жили люди... По лодка у ближнего островка стояла, полузыдериная на песочную отмель.

— Перевозчик! — позвал Вася.

Передразнило эхо — и ничего. Вася повторил десять раз. Эхо нагоняло друг друга.

Быстро смеркалось. Вот тогда Вася и струхнул. Под дождем, промокая, он сипнувшим голосом орал не меньше часа.

Протащился мимо буксир с двумя баржами. Какие-то развеселившиеся люди скалили зубы, а один, при общем смехе, пошутил:

— Спокойной ночи, парнишка! Кричи, не кричи — зря!
Монахи пузырь наспали. Из пушки их не разбудить. Ты под
елочку, под елочку головой, ежли медведь не нагрянет да
не отведает человечинки! Тута ягодников пронасть: медведь
матерой!

Вася пустил ругательство.

— Ого! — докеслось одобрение. — Парнюга неунывшая ко-
кушка! Молодчага! Этого и медведь испугается! Может, и
нас не откинет? Садись на букир, мы тя в Вологде па-
берег спустим.

Вася надрывался от крика.

На букире его пожалели. Вдруг там загудела густющая
труба и начала разделывать на все лады — и коротко, и
длинно, и с завываниями...

Тогда на горке островка показалась какая-то женщина в
белой кофточке и пестром платке.

— Сюда, сюда! — так и взвыл Вася, увидев, как смотрев-
шая на пароход женщина могла, не заметив его, уйти.

— Святые лежебоки! — загремел рупор с букира прямо
в лицо любопытной бабенки. — Перевезите себе на островок
отрока, вон с правого берега, может, она у вас будет душа
негрешная в монастыре!

Крики рупора и Вася точно произили оба уха бабенки.
Она спустилась к лодке, спихнула се и взялась за весла.

— Кто такой? — совсем по-мужичьи спросила она.

Вася даже подумал: не переодетый ли это мужик?

— В лесную? Я не в лесную, а к нам на остров перевезу.
Друга лодка дальше. Там отец Тихон командует. Да он, поди,
снит... И тебе придется заночевать.

Вася испуганно бросился к лодке: а вдруг перевозчика
не захочет перевозить?

Баба сильно гребла, одолевая киняток течения. Она была
широкостна и круто плеча, но мала ростом. Вася даже стес-
нительно старался не смотреть на ее груди. — они, как два
ныших хлебца, парусом натягивали кофточку. И кристые

ноги точеными столбиками, будто медные рупора с парохода, босые, почти до колен обнаженные, крепко упирались в поперечный лук лодки.

Баба разогнала ее, то-и-дело оглядываясь на берег.

— Мель? — догадался и проверил Вася.

— Она самая.

Лодка шаркнула по песку и остановилась.

— Минула, — сказала баба довольно. — Ленись в половодье каменья нам сюды со дна паворочало. Зубцы. Ровно на острогу сядешь. Вылезай!

Баба перекинула ноги через борт, поболтала ими в холодной воде и встала на дно.

Вася смерил взглядом расстояние до суши: сажен пять.

— Ну, молодец хороший, пятакок пятаком за перегор, — протрубила баба, — а давай на-пару лодчонку вытянем до рубчика. Там я ее загружу камнем да к камню привяжу.

Вася растерялся. Он был в штиблетах с калошами. Перемерз, промок... А вода холодная: вот на средине икр бабы красная полоса — сюда доходила вода.

— Скидывай и бреди! — приказала баба.

Вася начал развязывать шнурки. Озябшие руки не слушались...

— Я сейчас, — сконфузился Вася, — вот только удел распугаю...

Вдруг баба лукаво усмехнулась и почти крикнула:

— Эдак я рожу ране!

Она скоренько подошла к борту лодки, подворотила Васе спину и скомандовала:

— Садись на кукорки! Я тя покатаю. Поди, так-то никогда не езжал?

Вася даже отшатнулся.

— Ну, не варбвой, — сердились она, — в городе на верблуде, случись, не стыдно, а тута в заминку... Полезай!

Красный, тотчас согретый волнением, стыдом, Вася осторожно обнял ее за плечи.

— Зажимай руки в кольцо, — уже настаивала баба. — К лещему вас с барскими ухватками: сапожки, калошки, брючки, водичка глубокая... Нéкогда. У меня коровы не обижены. А ночь одной ногой в хлеву... Я не кошка, ночью пищевошеньки не вижу.

Баба подхватила Васю за ляжки, легко подкинула его выше и, тяжело ступая, двинулась. Вася отягчал ношу, хотя он хотел быть легче съехавшего на затылок бабьего платка. На спине малой ростом бабы разместился длинноногий верзила: он поневоле подбирал ступни, чтобы не замочить.

Саженях в двух от берега баба передохнула и неожиданно повернула голову, — белые зубы и алый рот в улыбке очутились возле самого лица Васи.

— Целуй, что ли, наездник! — засмеялась она. — А то не спущу с закуокорок. Так на берег выбегу да по всему островку вприскочку. Вó будет монахам смехота!.. Валай!

Вася забыл все предосторожности и бесповоротно завозился на спине, чтобы влезть в воду.

Но не тут-то было! Баба, дурачась, побрела в глубину. Она же первая испугалась: Вася вырывался, его не испугала даже глубина.

— Чур! — крикнула баба. — Не буду! Я же с тобой в шутку. Сиди смирио!

Но у самого берега, надсаживаясь от хохота, баба вдруг изобразила конское ржание, попрыгала, покидала Васю из стороны в сторону и спустила его на песок.

— Прости меня, милый паренек, шальную полудурку, — ласково прогудела она. — На меня находит. Не знаю и с чего. То плачу, то на голове охота ходить. Корзиночку твою я доставлю мигом. И лодку одна вытяну. И тута дурость: напугать хотела.

Вася дал бабе двугривенный. Она долго отказывалась.

— Куды, куды столько?! Ты, поди, из бахвальства соринь серебром, а у самого раз-два — и обчелся!

Баба отогрела Васю в сторожке около хлева, не стала

будить отца Тихона, а на его лодке доставила и почти за-
темно к лесной школе. Там вздували первый огонь.

У подъезда, под навесом, Вася встретился с тремя ребятами
его возраста или чуть постарше.

— Поступать?

— Да.

— Как ты оттуда приехал?

— Меня с парохода высадили. А вы?

— А мы из Тотьмы пехтурой. Думали, почлег дадут. Си-
дим вот. Ты тут к знакомым?

— Нет.

— Значит, вместе заночуем. Экзамены через три дня. Зав-
тра пойдем в деревню Заднюю. Две версты отсюда. За лесом.
Нам сказали, там мужики пустят на жигельство.

Вася посмотрел на свою тяжелую корзину с книгами, с
бельем и с провизией.

— Сторожу отдай. Он у нас в чулан спрятал. Иди, не
обворует.

Бажуков, Нижегородцев и Сметанин, оказалось, встрети-
лись на тотемской пристани. Не зная, кто куда едет, сошли
с одного устюженского парохода. Теперь присоединился чет-
вертый.

— Так-таки и не пускают? — полюбопытствовал Вася. —
Вы хорошо прошли?

— Мы просить маслаки! — ответил Бажуков, худенький,
щупленький человек с чернью пробивающихся усов и в
очках. — И кланяться и просить. Сплюзай и ты. Может, раз-
жалобишь обормотов. Школу основали, хоромы себе по-
строили, а для приезжающих — целое лесничество под дождем
и на холода.

Вася пожалел, что он торопился с острова: там теплая
сторожка.

Ночь падинулась вплотную, словно в огромном погонян-
ном доме закрыли ставни и всякий свет пропал. В сторонке
от школы, за небольшой недовырубленной редкой рощей со-

сен и берез на мокрых лугах стояли стога. Бажуков догадался.

— Кров, ребята! Четыре норы — и тепло и сухо. Заночуем.

Тепло нагнали сначала костром. Его разложили, несмотря на моросящую дождь. Недогадливым оказался Вася. У остальных в карманах сыскались хлеб, холодная говядина и яйца. Разделили.

— Может, по-двое в норы? — предложил Нижегородцев. — Теплее...

Подрыли стог, по-двое и улеглись. Сенинки забирались в рот, в уши, в глаза. Но в чреве стога точно спряталось летнее, хотя и померкшее солнце. Даже жарко.

Вася лежал и слушал дождь. Он был по стогу, скатывался с него, как с клеенки, и где-то у ног всасывался в землю.

Скоро налетел ветер. Холодная струя прокраилась точно по ссохшимся дудочкам каждой травки. Вася забрался глубже.

Не спалось. От скуки хотелось курить. Закрывая горло, выбирался на холод и слякоть. Потом долго согревался в остуженном логове. Курил и Бажуков.

А потом Васю кто-то дернул за ноги и поволок. Прежде чем перепуганный со сна Мещерин что-либо понял, на лицо упали мелкие огненные искры. Тогда и он помог Бажукову вытащить из норы своего соседа Сметанина. Тот опешало забирался дальше от лаза, глухо кричал и выбрасывал охапки сена.

Стог до половины обуглился. Точно великанья голова с растрепанными, поднявшимися дыбом волосами, он светло и жадно пытал. Огонь сочился по всему лугу. Огонь пел задно с ветром.

Была пасмурная заря. Она словно робела показаться в такую слякоть; бледнорозовые пятна ее проступали пизко у окна, как краснеет ранняя трясунья-осина.

— Бежим! — тревожно сказал Бажуков. — Обойдем школу лесом. Придем за вещами днем. Будто ночевали в деревне. Мы курили и зажгли. Я или Мещерин — не разберешь. Надо

скряться. Узнают — к экзаменам не допустят. А мужики просто убьют.

Днем пришедших за своими корзинами ребят, голодных, усталых, долго допрашивали.

— Какие стога? — удивился Бажуков. — Мы даже не знали, что тут покосы! Думали — сплошной лес.

Компания поселилась в деревне Задней в одной избе. Бажуков верховодил. Он шутя держал экзамен за экзаменом. Их было немного, но все же экзаменовали неделю. Бажуков притащил откуда-то из деревни водки. Он оказался и картежником. В избе поднялось веселье.

Вася провалился на третьем экзамене. Он это знал. Тянул скучную лямку от отчаяния, ходил на следующие экзамены, провалился еще, только бы не отставать от веселых, удачливых и забубенных товарищей.

Пили, плясали, пели, играли в карты, спорили... От Бажукова Мещерин узнал такие песни, о которых никогда не слыхал.

Вдруг где-то около захолустной Тотьмы, в деревне Задней, в лесу, перед Васей открыли до сих пор плотный и непроницаемый занавес. Он поднялся, как в театре перед представлением. И за ним — целая неведомая страна.

Ох, горюшко-горе, становой едет пристав, —

стонал и горячо пел Бажуков. Хор подхватывал. Ребята мигом выучили „Марсельезу“, „Варшавянку“, „Смело, товарищи, в ногу“.

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не встречал,
Где бы сеятель наш и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал, —

был кулаком по столу Бажуков, и лицо его делалось просветленным, из-под очков текли струи света.

— Эх, жалко, не все мы попадем в школу! — воскликнул Бажуков в горести. — Мещерин просыпался, просыпался Ни-

жегородцев. Мы со Сметаниным выскочим из провала. Какой мы кружочек бы смастерили! Ребята, вижу, отборные. Меня в Великом Устюге ссыльный Егор Седой всему обучил. А я — вас...

Вася почувствовал себя заговорщиком. Он сразу вообразил, что под землей у революционеров были катакомбы, как у древних христиан, они там прятались от царя, совещались, свозили и сносили туда оружие, чтобы внезапно выскочить и победить всех полицейских, губернаторов, становых, богачей и все сокровища и все богатства отдать бедным.

Так как Мещерин считал себя бедным (он приехал в третьем классе), он жил в деревне Пряхине, родные у него все мужики, то Вася сейчас же согласился наказать богачей и разделить их имущество.

— На пытке — молчание! — строго внушил Бажуков. — Никто не должен знать обо мне и о вас. Царь, как волков в капканы, ловит нашего брата.

Да, да, вместо поездки домой, на Кобылку, где будут бить заговорщика и смеяться над ним, хоть один лишний вольный день среди готовых на все товарищей, которые только и ждут сигнала из-под земли, чтобы сразиться с царем и со всеми его приближенными!

Нижегородцев уехал раньше. Бажуков на прощанье сказал Мещерину:

— Рассказывай дальше в Вологде, что услышал от меня. Кому можно верить. Предателя сразу видеть. Я взгляну — и он меня ни за что не обманет. Переписываться не станем. Опасно. Забудь мою фамилию. А я — твою. Подрывай самостоятельно. И я тоже. В Вологде сойдись со ссыльными.

— Там тоже есть Егор Седой?..

Бажуков таинственно улыбнулся.

— Эх ты, простота! Ты и поверишь, что Егор Седой — настоящий человек? Нет, братец, это кличка. Я сам ее выдумал. Просто — один человек. Так всегда следы надо замечать. Прощай, товарищ, — прошептал на ухо Бажуков.

Вася, польщенный доверием, всыхнул до багрянца и одними губами ответил:

— Прощай, товарищ...

Первым скрытым революционером показался Мещерину сторож на тотемской пристани. Он как-то многозначительно взглянул исподлобья на Васю и, конечно, только ради притворства не оставил метлу, размахивая ею около самой корзинки пассажира. Конечно, с той же целью укрывательства он грубо закричал:

— Не видишь, разиня, пылю? Откудова под тобой окурки? Курил на пристани? Перетаскивай багаж на чистое место!

Мещерин подмигнул ему: знаем-де вас, сами из таких.

Вася купил билет. Пребывание в Задней затянулось. Денег хватило только на четвертый класс; это значит — ехать в третьем и грузить дрова вместе с матросами в затонах.

Пароход ждали в пятницу и выдавали билеты, а пришел он в воскресенье. В ночь на субботу подозрительный сторож согнал Мещерина на берег. Корзина связывала Васю, за сдачу в хранилку — плата, а карман пуст, как будто брюки надеты у портного на примерке. В кармане приплюснутый кошелек и носовой платок.

На берегу открытые базарные стойки, столы, каждый с четырьмя ресчками — для прикрытия сверху от дождя. Брезенты торговали уносили на ночь домой.

Вася поволок корзину. Сел на нее. Дрог под стойкой, на вонючей от базарной снеди земле. Ночью трясло от холода.

Но заговорщики хитры и предприимчивы: Мещерин отрезал концы веревки от корзинной узды и перетянул натую кисти рук и ступни ног браслетами. Для тепла же подпоясался поверх пальтишка ремнем с рубахи.

— Эге! — воскликнул притвора-сторож, виновная обратно на пристань пассажира, забывшего на одной ноге веревочную браслету, — голь на выдумки хитра! Грамотной! У нищих перенял!

Целый день на пристани толокся беспокойный народ с узлами, мешками, чемоданами. Одни из будущих пассажиров, поджидая пароходы, нетерпеливо глядели вверх по течению, другие — вниз.

Вася недолго вглядывался в лица недовольных людей, стараясь угадать в них заговорщиков. Скоро он просто перестал видеть соседей, кроме тех, у кого был кусок во рту. Даже хлебная сухая корка казалась сытной. Прошли сутки, как Мещерин не ел.

А на высоком берегу оглушительно гудел съестной базар:

— Печенья на синцках! Печенья на синцках! — зазывно и звонко вопили бабы-лотошицы.

Невообразимо вкусно пахла коровья и телячья печонка, поджаренная на вертелах. В Тотьме говорили цокая и не слыхали слова „вертел“, заменив его „синчикой“.

— Печенья на синцках!..

Васю тянуло подняться на базар, ближе к этой одуряющей благоуханной, с парком, печонке. Но он не мог отойти от своей корзины: украдут.

Мещерин боролся с ядовитыми соблазнами, пренебрежительно отворачиваясь к реке, чтобы не видеть базара и не вдыхать его дразнящего захала.

Внезапно Вася почувствовал, что от всех окружающих людей пахло хлебом, огурцами, печонкой, молоком. В завитке струи, скользившей о пристань, совершенно отчетливо можно было разглядеть продолговатую печонку на вертеле.

Перед самым закрытием базара, когда начали кой-где над стойками снимать брезенты и остро в вечернем свете поднялась подпорочная городьба, Мещерина точно толкнуло с корзинки. Он тотчас, в улыбке, в спешке, вскрыл багаж. Вася буквально сидел на неисчислимом богатстве и не умел им пользоваться.

Таинственный заговорщик-сторож внимательно осмотрел вышитое мамой полотенце, проверил его крепость, подергав за концы, и, торгуясь, сказал:

— Ношено-ношено, стирано-стирано... Гляди, у петуха головка слиньяла! Весь... без качества...

Заговорщики поладили на четвертаке.

— У тебя не краденое? — вдруг боязно прошептал сторож, поворотился спиной к публике и торопливо сунул покупку, скомкав, за пазуху. — Больно дешево... — Он опомнился. — У нас на базаре этого добра сколько хошь... задаром наваливают...

Сторож в придачу к дешевой покупке постерег корзину Мещерина, пока тот бегал за печонкой и хлебом. Вася уже разжаловал сторожа из заговорщиков: хватая заскребыши лист со стойки, покупатель вытягивал шею через толпу и дозирал за оставленным багажом. Сторож сидел на корзине и ковырялся в замке.

Мещерин еще ночь провел под базарной стойкой. Не он один. Ночевало человек двадцать. Вот среди них обязательно были заговорщики! Вася видел, как некоторые из ночевальщиков ползали у ларьков, подбирали выброшенную торговцами карликовую морковку, головки порченого лука или даже крошки печонки и, встряхнув от пыли, пихали в рот. Вася с сочувствием подумал, что, не догадайся он продать полотенце, ему пришлось бы делать то же.

Как ни велик четвертак, а к середине следующего дня он, разменянный на медяки, лежал в карманах у нескольких базарных торговцев. Пароход отвалил близко к полночи. Печонка окаменела в животе, как утоптанная земля. Но был опять голод...

— Туман лезет... — услыхал Вася из рубки голос лоцмана, — в лесу его боле... Клубит...

— Ничего. Пойдем, — ответил капитан с мостика. — Верст на шестьдесят успеем... Там переждем... Якорь спустим. Прошлый рейс стояли в лесничестве Тишкine.

Ушли, однако, до Дедова, Бабьего и Внукова островов. Мещерин хотел увидеть огонь в общежитии лесной школы. Туман загородил от него и Бажукова и Сметанина.

Туман не послушлив, как осенний ветер, как осенний дождь. Он простоял, все сгущаясь и сгущаясь точно прокисшее молоко, чуть не до полдён.

С места сдвинулись, но путь был опасен, как в незнакомой воде. Береговые рейки и водяные бакены видел лишь тот, кто держался за них рукой. В белом трепетавшем, как облака поденки, тумане шумела и журчала скрытая река, точно она изменила русло и отошла в сторону.

Привалили к первому же дровяному погрузу.

— Эй, четвертая смена! — закричали матросы, приладив трап. — Слезай с коек. Машину пиши требует. Не везет. Кто в куст, того на берег.

Страшило высадки... И Мещерин, как заговорщик, обязан трудиться и быть честным.

— Ты ж глиста! — глупо захочтал матрос, широкий, точно трап поперек. — На выгрузку. Ха-ха! В каюшках? В брючках?

— Нам таких и надо! — подхватили несколько коренастых и засинных матросов.

— Я с ним па-пару! — заорал один, самый молодой.

Матросы дружно засмеялись смехом.

— Ленивая биржа!

— Нашел щелку!

— Но три чурбана станет нагружать поклажу!

На зло молодому товарищу-лодырю, отрядили таскать с Мещериным самого старого и больного по виду матроса.

Через час Вася еле-еле волочил ноги, обливаясь потом и боялся выронить ручки носилок. Голод прибавил усталости.

— Запарился? — спросил матрос. — Это с непривыку. Ничего. Сила молодая. Не сломаешься сразу! Я в двадцать пятую навигацию пун сорвал. А до того — как кормленый конь воз везет...

Вася едва выдержал. Гордеевое чувство, что он выполнил обязанность, продержалось самую малость. В следующую заготовку дров Мещерин укрылся в темном закоулке около

машинного отделения среди канатов и высокой навали груза. Матросы, потешаясь, искали Васю.

— Брюки на панель, где ты? — вызывал Мещерина балагур-матрос, осторожно ступая между сидевших грудой на палубе пассажиров. — Открывайся! Дождь выпад. Слизина на берегу. Охота поглядеть, как калошки поедут с горки!

— Сошел, видно, ране, — сказал кто-то из пассажиров, — а может, хребет нагнуло, раскошелился и на третий класс.

Мещерин отсыпался. Но он ограничил себя в свободном движении по пароходу. Матросы могли встретить Васю. И даже непременно встретят! Можно продать одно полотенце, — почему нельзя второе? Все равно придется сказать дома: потерял, укради...

Продажа не удалась.

— Ты что тут торговлю залел на пароходе? — крикнул на Мещерина помощник капитана. — Я тебе дам базарить! Убирай товары, а то сдам тебя куда следует! Емельянов, поглядывай за ним! — приказал он дежурному вахтенному.

Тогда Мещерин и перетасил свои вещи в темный закуток недалеко от кухни.

Повар, как в „Светлогорской“, крушил и рубил мясо, валял его в муке, кидал на шипящую сковородку, вспарывал животы рыбье и чистил ее, разбивал яйца и делал румяные глазуны. Отсюда, из этой тесной каморки пахло еще слаще, чем от тотемской печонки.

Вася слонялся мимо кухни, поворачивая туда нос и шевеля ноздрями, весь день. Новар заметил. Он даже несколько раз стоял в дверях и разглядывал настойчивого гуляку.

— Ты что тут ходишь? — наконец не выдержал он.

Мещерин не выдал себя.

— А почему мне неходить? Я тебе мешаю?

Вася тужился изобразить независимого ни от кого пассажира. Новар, однако, поймал его робкий и покорный взгляд, брошенный на тарелку с готовыми котлетами.

— Так, так, — безразлично промямлил повар, — конечно,

ходи себе на здоровье... Уходишися, поспишь покрепче. И укачает, и ходьба...

— Я свою корзинку стерегу! — сердился Вася. — Чего привязываешься?

Теперь как будто бы Мещерин шлялся в отилату повару за его непрошеноное вмешательство.

Вася с тоской встретил вечер. Поздно. Повар закрывал кухню. Он снял колпак. Сейчас всё кончится. Незачем будет ходить. Скоро будет пахнуть одной пароходной краской...

Вдруг повар выглянул, оставаясь наполовину в кухне, скосил осторожный глаз на соседний за стенкой хозяйственный буфет, подождал Мещерина и стремительно сунул ему прямо в руки здоровенный кусок розовой семги и белую булку.

Повар поспешило отвернулся, точно ничего не произошло. Мещерин жадно прижал жирную рыбу вместе с булкой к груди, прикрыл другой рукой и кинулся, счастливый, в свое ухоронье.

Еще ночь. Вася пробудился, когда кухня уже действовала. Он задержал шаг у дверей и, восхищенный, позвал:

— Дяденька... повар...

Тот недовольно оторвался от работы.

— Спасибо...

— Проходи! Чего заглядываешь! — грубо крикнул человек. Он кричал, а глаза его усмехались.

Вася без всякой обиды отошел, еще более очарованный поваром. Вот кто был первым настоящим заговорщиком, встреченным Мещерином на пути: повар. Он боялся попасться хозяину-буфетчику, выручив товарища из беды! И Вася стал с удовольствием думать, что, должно быть, у него в лице есть что-то такое, почему его узнают скрытые в подпольи товарищи...

Федор Степанович дулся. Вскоре по приезде перебрались на Спасоболотскую улицу. На одном дворе была крендельная. Вася пришел за горяченькими, из печки,— и соседи подружились.

В крендельной ругали хозяина Лаврухина. У него огромный магазин в доме на улицу. В первом этаже торговля, во втором — квартира.

Лаврухин застал в крендельной Васю.

— Молодо-зелено, погулять велено, убирайся-ка навынос! Тебе тут разглужка, а мастерам прореха. Кренделей мне мешок нажгут зря. Да и тебе лопатой в глаз. Боле порога не переступай! Отец твой на меня не рассердится, а благодарность получу!

Хозяина кляли. Вася стал пробираться в крендельную тайком. Нисколько не стыдно, если такой и выгнали!

Мещерин долго собирался открыться пекарям и обнижками рассказать им о Бажукове без фамилии и о Егоре Седом, а главное — о катакомбах под землей с заговорщиками. Он воображал, как будут поражены эти хорошие и добрые пекаря, всегда встречавшие его ласково и добродушно. Они даже в пьяном виде обнимали его шутливо за спину и никогда не ругались.

Наоборот, за папиросы угощали самыми дорогими миндальными кренделями, угощали и без папирос. Говорили пекаря между собой совсем странно, всегда точно намеками, открыто и резко высмеивали купцов, городового Метелкина на углу Спасоболотской, издевались над хозяйствскими дочками, выглядывавшими, в прическах и пестрых халатиках, на двор.

Вася понял, что они были против всех горожан, кто чист и наряден, кто богат и знатен, кто идет по улице и ждет, когда с панели перед ним своротит мастеровой. Пекаря были малограмотны. С трудом мороковали в чтении, разбирая по складам вологодскую газету. Вася сделался чтецом.

— Ну-ко, Вась, поразумчивей читанём, — говорил кто-нибудь, — чего это там пишут братья Судейкины.

Газету издавали два брата — адвокаты.

— Не то выбрал, — останавливал старик Петрухин. — Как архиерей служит, мы и сами знаем. Ты про другие города найди. Вот тут сбочка из столицы сообщения!

— Про пекарей ничего не видишь? — внезапно спрашивал Самохвалов.

Крендельная пересмеивалась.

— Убыл бобра!

— Жди-пожди!

— Я одну барыню знала. Она на старости лет задумалась — откуда на свете молоко берегся. Ей-ей, не поверила, что из вымени. Нарочно ездила глядеть, как корову молочница доила. Поди, думают и про пекарей не сильнее. Крендели сами на мочало в связку нижутся!

— Всё, дьяволы, о чистеньких разговор! Архиеп, купцы, дворяне, министры, государи императоры...

— Закрывай грамоту! — безнадежно машинальной рукой хромой Варгунин. — Давай-ка ее, матушку, судейкинскую газету на раскурку!

Месяца через полтора после знакомства Мещерин поразился. Как-то в праздник, когда крендельная не работала, Вася проходил по двору с гулянки. Из крендельной его поманил пальцем Варгунин.

— Заходь, Вась, дело до тебя ребята имеют. Поди, дома покажись — и к нам.

Сердце Мещерина запрыгало, когда Варгунин впустил его в крендельную и запер двери за ним.

— На запор, — улыбнулся он, прихрамывая, — народ ломится за кренделями, хотя и праздничаем. Давай и давай!

Крендельная была почти вся в сборе.

На обметенном от муки длинном столе, как раз против широкой пасти печки, стояли бутылка водки, стаканчик, лежали на дощечке рубец и огурцы.

— Мы тя не пить звали, Вась, — приветливо сказал Неструхин. — Тебе водка ни к чему. Ты учишься! Ты нас, друг, по-иному уважь!

Пекаря недолго помялись.

— Да свой парнишка, — буркнул Самохвалов. — Пригляделись.

Старик Петрухин покряхтел, выпрямился, на две стороны с притворной важностью разгладил жиidenьку бороденку и сделал в воздухе пальцами два кольца возле усов. Пекаря прыснули.

— Почтенные господа,— совсем изменившись голосом сказал Петрухин,— и хочу я Васятке показать фокус один. Али загадку загадать. Што у меня, Вась, подо мной?

Мещерин в недоумении оглядел затаившихся пекарей.

— Стул.

— Стул, да с прибылым. Гляди, не мигай, Вась!

Петрухин встал. На донышке лежала какая-то маленькая книжка. Пекаря были очень довольны шуткой.

— О, старик чортов, без дурака шагу не шагнет!

— Помирать будет, и то штуку выкинет!

— К лешакам тебя! Время тянем за уши!

Петрухин серьезно передал книжку Мещерину и, не сводя с него глаз, предупредил:

— Умные люди сказывают, книжка эта запрещенная. Нам ктой-то ее подсунул третьего дни под двери. Не ты ли, Василий, сознавайся? В случае чего, на тебя и покажем: больше некому.

Вася понял по лицам, что пекаря с ним хитрили, притворяясь простачками. Мещерин залпом выложил перед ними все, что давно хотел сказать.

— Одного поля ягода! — воскликнул Петрухин, хлопая лягонько Васю по затылку, но почему-то в голосе его слышалась насмешка.

Остальные пекаря тоже ничуть не удивились: словно это так и должно было случиться. Вася даже молчаливо обиделся и увял в своих чувствах.

Но книжку и сам прочел с удовольствием и пекарям удалился.

Читали затрапанную, почти трухлявую тетрадку о Мудрице Наумовне и о Конейке.

Пошло. Вася переживал горделивые дни.

— Товарищ Петрухин, — шептал он с азартом, — еще не подкинули?..

— Есть, есть малая книжица, — бормотал старик.

Федор Степанович морщился на недоросля.

— О, дурак, сперва с шестерками, теперь с пекарями! Да с этими лучше. Может, крендельному ремеслу обучат.

Отец не хотел еще расстаться с давнишним желанием сделать сына таким, чтобы не было стыдно за него. Он заметил, что после поездки в Тотьму что-то произошло с Васей: реже и реже появлялся он в „Светлорядской“, перестали доносить доброжелатели об игре на биллиардах, реже возвращался сын ночами. Федор Степанович одобрил...

— Степенеет, — сказала Марьушка, — и не такой грубиян!

Отцу поправилось. Он, не признаваясь в уступке, строго-настрого, впрок, приказал Васе:

— Швейцарий, лоботряс, задачи, пиши, там, книги читай... Может, опять что придумаем. А то подойдет случай, а ты и последнее, что знал, растерял...

Случай подошел. Прокладывали новую железную дорогу от Вологды до Петербурга. Набирали учеников на телеграф. От кого-то Вася узнал, не сказал дома и поступил.

Служба каждый день с девяти до четырех. Сын — как все.

Федор Степанович сам ходил с Васей в лучший мануфактурный магазин, разборчиво швыряя тюки с дешевым сукном и купил наилучшего. Желтый кант на картузе и тужурке. Почти чин.

КОЗЛЁНА и ЖЕЛВУНЦЫ

Это — Василий Мещерин на языке телеграфной азбуки. Он везде так расписывался. Первым был изумлен Федор Степанович. Отец попросил написать полный свой титул. Вася исполнил.

— Которое... тут слово наша фамилия? — спросил пapa, недоверчиво прибрав к рукам оба листка с китайской грамотой.

Сравнение подтвердило одинаковость написания в обоих случаях. Отец и сын молчаливо усмехнулись. Однако Федор Степанович бережно положил в карман пробу. И опять оба поняли друг друга.

— Трифонов то же напишет, — сказал Вася, — проверь!

Трифонов — бывший телеграфист. Он спился и шатается из трактира в трактир.

Желтый кант на картузе выгорал. Меняли. Вместе с Васей заходили в „Светлорядскую“ товарищи-телеграфисты. Они же в ближайшую пасху, когда Федор Степанович весь первый день праздника проводил дома, пришли в гости.

Праздновали окончание ученичества и назначение Васи старшим по смене. Отец был очень доволен гостями: все много ели, но наотрез отказались от водки, выпили по рюмке малороссийской запеканки и не захотели по второй.

Федор Степанович, оставив гостей за столом, ушел полежать и плотно прикрыл за собою двери.

Солнце входит и заходит,
А в тюрьме моей темно,
Дни и ночи часовые
Стрекут мое окно...
Да э-э-эх... —

запевал Коровин, и знакомую песню продолжали и Вася, и Соломкин, и Черевков.

Федор Степанович радовался.

— Валите во все тяжкие! — кричал он из-за перегородки, поощряя. — Я в трактире давно оглох, песня мне не помешает... Шумите на всю Кобылку: усну.

И он действительно уснул под „Осений мелкий дождик“, под „Лучинуiku“, под „Стеньку Разина“, под „Ной, ласточка, пой...“

Телеграфисты скромно веселились. Вперемежку с пением они читали свои и чужие стихи, рассказы...

На телеграфе собралось с десяток похожих друг на друга недорослей. Одного выгнали из семинарии, другого — из реального, третьего — из гимназии, четвертый собирался учиться и узнавал только адреса недоступных школ...

В первые же дни знакомства оказалось, что все они кое-что читали, пробовали сочинять, игрывали в любительских спектаклях, пробирались в театры и ярмарочные балаганы, как и Мещерин... Всех их родили полное безденежье и при чудливая мечта о будущем, в котором они хотели найти какое-то свое, особое место. Фантазеры и мечтатели! На телеграфе появился литературный кружок.

Коровин — маленький, ловкий, красивый, сирота, живущий с матерью на пенсию после отца-чиновника, где-то нашел рецепт, как варить студень для гектографа.

Соломкин Петя — сын кружевницы. У него свой двухэтажный дом. Внизу жильцы, вверху хозяева. На дворе сарай для

коровы с сенником. Туда — высокая лесенка, у дверей площадка. В доме вотчим — старик с приплюснутым носом. Метет улицу, чинит мостовую вокруг владений, ходит за коровой и сам ее доит. Мать необыкновенно широка и черна, ей шестьдесят. Она по мелочам скучает кружева. Добывают копейки. Жильцы, корова и „кружевные“ копейки.

Петр Соломкин огромен, неуклюж и длинноног. У Пети своя комната. Рядом комната сестры Лизы. Она никак не может выйти замуж. Она высматривает женихов, почти не отходя от окна. А они проходят и проезжают мимо. С горя, она ничего не делает, как и ее брат. Старики их кормили.

В третьей комнате — они. Коридорчик. И кухня. Петр Соломкин — баловень: его считают умным, на все руки, любят, ожидают в будущем всякого добра от него, а пока ни в чем не перечат ему. Товарищи так его и поддразнивают, вызывая на улицу в окно:

— Эй, Петя-Сказал, вылезай! Пойдем! Пора!

Но дом Пети удобен для хранения гектографа. Это теперь типография. Тут печатался журнал „Северные осоки“.

Черевков — сын бедного часовщика. У Саши светлые, в кудрях до плеч, волосы. Он поэт. Он всегда говорил, неистати вставляя в речь иностранные слова. Поймали: Саша зубрил слова подряд по словарю. У него было недельное расписание. Каждый день два часа — на зурбажку. Сначала он хотел осилить весь словарь, начав с буквы А. Но понял, что так его скоро изловят, и очень уже заметно при вставке — все слова акающие. Тогда он начал заучивать каждый день с новой буквы. Саша переписывал для „Северных осок“ все рукописи химическими чернилами. Переписывал, как гравировал.

В старой глиняной плошке вровень с невысокими краями лежал печатный студень. На него переводили гравированием Саши. Петр Соломкин — главный техник. Рукава засучены. Ворот всегда расстегнут. Широкий подполок рубахи отброшен к плечу, он открывается и закрывается, точно форточка в ветер. Громоздкие пальцы Пети до второго

сустава лиловы и черны. В лиловых крапинках лицо. Он бережно снимал страничку с гектографа, непременно высовывая кончик языка и закусывая его зубами, как делают кошки после вкусного.

— А вот первая посадка и готова! — провозглашал он, отпечатав пять-шесть экземпляров странички.

„Северные осоки“ выдавались каждому из участников кружка. Один номер был общий. Он — самый богатый. В нем на многих пустых местах телеграфист Нетелькин рисовал карикатуры на телеграфное начальство, на построенных инженеров, подрядчиков и поставщиков. Журнал показывали нужным людям.

— А теперь пустим в ход водопровод! — священодействовал Нетя.

Соломкин трудился неделями, бастовал, грозил выбросить гектограф в помойку. Но стоило у него попросить гектограф, чтобы облегчить труд печатника, как тотчас же Нетя принимался за дело. Принимался с бранью и с осторожением.

Никто лучше и чище не умел печатать.

Соломкин исполнял заказы: печатал для желающих небольшие тетради стихов. И даже брали плату: десяток папирес за стихотворение, будь оно из одного четверостишия или на пяти страницах. Старались печатать только длинные.

Соломкин презирал прозаиков. Поэтому те платили в два раза дороже. Собственные стихи Нетя печатал только на разноцветной бумаге, а фамилию свою подписывал задом наперед: Икмолос.

Печатание производилось при запертых дверях. Соломкин иногда не выпускал товарищей. Он высовывался в окно на вызов с улицы, мрачнел и, словно не узнавая Мещерина, Коровина, Черевкова и Нетелькина, резко отрубал:

— Не принимаю. Приходите завтра.

— Да мы посмотреть.

— Завтра посмотрите.

— Ты, чорт, лодыря гоняешь! — подзуживал вертух Коровин.

— Поговори! — грозил Петя. — А то выкину твои стихи! И не пускал, захлопывал раму.

На последней страничке журнала Петелькин циркулем делал большой круг, заполнял его диковинным растительным орнаментом, а в самой средине круга красными чернилами выводил Саша: „Издание литературного кружка „Мировая сказка“.

В день выхода журнала устраивалось торжество в самой большой комнате, у Лизы. От чего делать церемонию принаряжалась. В темном коридоре она частенько обнимала телеграфистов и тянулась с пухлыми покрашенными губами. Раз так она парвилась на вотчима.

— Лизавета, — закричал хриплым голосом старик, — сотвори крестное знамение! Аль ты в юбке заблудилась?

Лиза была так дурина, что ребята отбивались и зажимали рты рукой, чтобы не поцеловала. Но Лиза упорно добивалась внимания.

Вотчим ставил самовар. В складчину покупали колбасу, зельц и булки. Участники обязаны были громогласно на средине комнаты читать не свои сочинения, а товарищей. Это для того, чтобы виднее были недостатки. Каждый порывил утонуть другого.

Вася возвращался глубочайшей почью, раскаленный от споров и ссор.

— Где зашатался? — сердилась мать. — Ровно бы надо уж понимать: не больно-то нужно стеречь тебя, не спать, слезать с постели!..

— Я не виноват, — как будто изумлялся сын такой недогадливости, — вечерняя смена запоздала. Я не могу бросить аппарат и ленту. Мне за это попадет...

— Проверишь тебя! — бурчала недовольная мама.

Федор Степанович не одобрял прогулы, но крепился и старался поверить в оправдание.

Кружок „Мировой сказки“ находился в постоянном действии. Мещерин теперь был всегда озабочен и при деле. Вдруг стало не хватать времени. То печатали, то читали, то обсуждали.

Не удовольствовались собраниями по квартирам. Петя Соломкин заявил, что стихи надо читать только среди природы: тогда они делаются лучше и становятся более значительными. Он даже перестал презрительно улыбаться, когда у костра на Бесовом ручье читали прозаики. Раза два в неделю панимали у соборного перевозчика Феофарова лодку и отправлялись за город.

Телеграф мешал. Надо дописывать и отделять стихи к следующему заседанию, а тут дежурь. Вскоре работы прибавились.

В один из летних дней Коровин явился на телеграф в чужую смену и, сторонясь надсмотрщика Кабанова — толстенного человека, голова у которого почти лежала на плечах, словно он родился совсем без шеи и так всем корпусом поворачивался при разговоре, — таинственно шепнул Мещерину, Соломкину и Черевкову:

— Надо срочно собраться...

Товарищи посмотрели с недоумением...

— У кого? — настаивал Коровин. — Квартира должна быть безопасна. Ии одного постороннего.

Коровин разжег любопытство, но на все расспросы отказался отвечать.

— До вечера, — твердил он. — Здесь не место. Я не имею права...

Решили сойтись на сенинке у Соломкина.

Ребята раскрыли рты и сначала захохотали, едва увидели Коровина, запоздавшего с приходом. Коровин преобразился. На нем была черная рубаха с белыми пуговицами. Вместо картуза с желтым кантом поношенная широкополая черная шляпа. Маленький, тоненький, он походил на раскрытый зонтик.

— Форма — это ерунда, — важно сказал он таким голосом, словно Коровин понял решительно все на свете, чего товарищи не понимали. — Это ливрея раба. Она унижает человеческое достоинство.

Все перестали смеяться. Коровин говорил странные и новые вещи. Он как будто сразу поднялся выше, надев сапоги с высокими каблуками.

— Я форму буду носить только поневоле, но обязанности, — продолжал Коровин, сдвинув выше на лоб шляпу. — Это — казенщина. Вот моя настоящая... — Коровин с гордостью провел рукой по своей черной рубашке и, ловко сняв шляпу, помахал ею в воздухе. — Мама мне сшила рубашку, а шляпу я сегодня купил на базаре.

Наконец Коровин открылся.

— Ближе ко мне, — зашептал он, тревожно оглядываясь по сторонам и требуя, чтобы товарищи сели прямо на сено. — Надеюсь, здесь нет соглядатаев. Товарищи... — дрогнул голос Коровина. — Я познакомился с политическими ссыльными. Они знают о нашем кружке. Я показал им наш журнал „Северные осоки“. Я поручился за весь кружок и сказал, что мы все революционеры. А Васька Мещерин даже старый революционер. Он давно ведет пропаганду среди булочников. Ссыльная Анна Яковлевна Воскресенская пожала мне руку и звала нас завтра к себе. Она живет на Жельвицах. А другой ссыльный — он у нее сидел в гостях — Николай Иванович Житницкий на Козлёнке. Я его провожал до самого дома. Помни теперь, ребята, — Жельвицы и Козлёна!

„Старый революционер“ Мещерин почувствовал большее удовлетворение и гордость, что о нем уже знали самые настоящие заговорщики. В то же время вкрадась зависть в сердце, что ему как „старому революционеру“ следовало первомувести ребят с политическими, а не этому проныре Коровину. Он успел первым и в шляпу перерядиться.

Мещерин мгновению вспомнил, что у мамы в комоде лежал черный ластик напротив рубахи: за буфетом быстро

пачкаются белые рубахи, и пана велел сшить черных. Со шляпой было еще проще: ему купят новую. Он на службу будет ходить в форменном, а после службы — в штатском.

Не обошлось без вранья. Коровин долго рассказывал, как он уже несколько месяцев в дружбе со ссылыми, с ними запросто, свой у них человек, но даже „старого революционера“ Мещерина он все же должен был сперва проверить, прежде чем вполне положиться на него.

— Соломкин, — сказал Коровин, — Анна Яковлевна тебя очень хвалила. Какой, говорит, у вас прекрасный гектограф, а техник еще лучше! И тебя, Черевков, тоже — за почерк. Так, говорит, хорошо написано — любой малограмотный прочитает. Виднее, чем по-печатному.

И все наперебой стали спрашивать:

— Ну, а что она сказала обо мне? А журнал ей понравился? А стихи? А рассказы? Чьи самые хорошие?

Коровин отвечал певчески, улыбался,ронял отдельные слова, по которым можно было догадаться, что первым шел, конечно, Коровин.

— Моя баллада... да и мещеринская повелла.. Да и вообще... фурор! Петелькину, говорит, в рисовальную школу надо, а не на телеграфе служить! Вообще Анна Яковлевна все знает. Она — доктор. А Николай Павлович — земский статистик. Волосач такой. Грива. Говорит и гриву рукой назад отбрасывает. В уголке рта у него всегда папироска.

С окончанием собрания, забыв всякую осторожность, закричали, схватили Коровина и начали качать. Он отбивался. А потом заплакал. Мещерин наступил на шляпу. К подошве где-то пристала известка. На скомканной шляпе остались следы, как ни старались их счистить.

— Медведь, дьявол! — хныкал Коровин.

...В маленькой беленькой комнатушке в Желвунцах, где-то далеко от улицы, на задворках, в саду, пожилая полная женщина — она и есть Анна Яковлевна — встретила ребят неожиданной фразой:

— Все сразу? Целой организацией? Здорово! Только коги, товарищи, хорошенько почистьте о половичок. Вои он у дверей. А то на улице недавно прошел дождь, и вы мие грязи натащите в комнату.

Кружок „Мировой сказки“ немножко опенил. В неудобной сутолоке телеграфисты скопились на маленьком половичке и все сразу принялись тереть подошвами.

— Да вы по одному, — засмеялась Анна Яковлевна, — вам же неудобно кучей.

В комнатушке не хватило двух стульев.

— А окна для чего? — приветливо спрашивала хозяйка. — Целых два окна!

Телеграфисты испытывали неловкость. Они церемонно и застенчиво сидели на краешках стульев, не управляясь с руками, не могли оторвать глаз от таинственной женщины, сбежавшей в Вологду. Было бы проще, встретить их Анна Яковлевна в каком-нибудь особенном костюме, даже, например, в мужском, в высоких сапогах, в шапке, или она бы исподлобья взглядывала на них и говорила грубым, мужским голосом.

А то на Анне Яковлевне была легкая белая кофточка. Анна Яковлевна была в белых нарусиновых туфлях. И нога у неё маленькая и красивая. А голос звонкий, как у девочки, и какой-то радостный, ласковый...

— Товарищи, товарищи, — укорила Анна Яковлевна. — да вы ко мне точно на экзамен пришли. Расселись и ждите очереди. А я экзаменовать-то и не буду... Коровин, — вдруг сказала она совсем приятельски, как будто знала Коровина очень давно, — пойди на кухню и скажи Маше, пускай она нам самоварчик поставит.

Коровин, ловя на себе восхищенные взгляды товарищей, кинулся заказывать чай.

Скоро пришел Николай Павлович. Без предупреждения тщательно топтался у дверей на половичке, принес кулек с плюшками, сунул его на стол и провозгласил:

— У тебя, Аннушка, прямо целый телеграф... Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! Очень рад познакомиться. Читал ваш журнал „Северные осоки“ и думаю — вот молодцы ребята, где-то добыли гектограф, образцово печатают, временно затрачивают уйму. Шутка сказать — три номера откатали. Страницка к страничке. Видать сразу — с увлечением работают!

Николай Павлович поздоровался со всеми за руку, разтормошил телеграфистов, сдвинул их вместе со стульями к столу.

Сели тесно и тепло. За чаем разговорились, спорили и даже кричали друг на друга. А перед самым уходом Анна Яковлевна, положив руку на плечо сидевшего рядом с ней Мещерина, сказала:

— Ничего-то вы, товарищи телеграфисты, не знаете и не понимаете! Издавайте журнал себе на здоровье. Я — первый ваш читатель. А давайте-ка займемся и другим делом. Приходите ко мне раз в неделю... — Анна Яковлевна подумала, — да, раз в неделю, по средам. Среда у меня свободна от других кружков... Коровин, ты организуй кружок телеграфистов.

— А когда Анна Яковлевна, — добавил Николай Павлович, — занята и ей некогда, я ее заменю. Только условие — раз среда, то она не прощадает даром. Все приходят на кружок. Дисциплину введем. Кто три раза пропустит безуважительных причин, того по шапке. Работать будем много и хорошо. Вам самим еще книги писать рано, а книги других читать следует взасос.

Но когда же, когда же Мещерин увидит заговорщиков? Анна Яковлевна и Николай Павлович были очень простыми, добрыми, веселыми людьми — и только! никакой таинственности. Они никого не ругали. Ни разу не упомянули ни губернатора, ни царя. Никому не грозили. Николай Павлович вынул из кармана точно такой же перочинный ножик, какой был у Мещерина, и очинил в непальнице карандаш, не уронив на пол ни одной соринки.

Чудно, но Николай Павлович и Анна Яковлевна, схватив друг друга за руки, дружно до надсады хохотали, когда Коровин мрачно и твердо сказал:

— Не выходите все сразу. Я должен выйти спачала на разведку. Может быть, дом окружен полицией.

Коровин растерялся и покраснел, услыхав непонятный хохот.

— Ах ты, милый наш конспиратор, — сказал Николай Павлович, — да ведь на улице совсем светло. Полиция не любит работать днем, она в темноте любит. Днем ей неудобно и неприятно привлекать к себе внимание. И почему она будет нас окружать? Вы наши гости, пили с нами чай середь бела дня. В полицию мы не ходим за разрешением, с кем и когда нам встречаться.

По Мещерину поправилось больше, когда Анна Яковлевна, вытирая мокрые от смеха глаза, как-то извинительно сказала Коровину:

— Я не над твоей осторожностью хохотала, а над твоим голосом... Ой, не могу!.. Ты — как Монтигомо Ястребиный Коготь... Насунулся... и голос у тебя точно бас... Это хорошо, что вы сразу же стали предусмотрительными. Лучше им не попадаться на глаза, — на кого-то там за дверями, на улице, махнула рукой Анна Яковлевна. — Приходите сюда и уходите отсюда, осмотревшись. Вот и сейчас. Половина — через сад. У нас там калитка. Другая половина — как пришла. Где-нибудь подальше от дома соединитесь. Еще лучше поодиночке выходить и приходить. Сегодня не надо, а там... впоследствии...

Это уже походило на некоторую загадочность!

— А мы выйдем после всех, — неожиданно проговорил Николай Павлович, обняв Мещерина за плечи и тем самым резко выделив его. — Нам с ним по пути.

Вася знал, что каждый хотел бы быть на его месте, поэтому он скромно отвел глаза, чтобы не дразнить товарищей.

Когда товарищи вышли, Николай Павлович вынул из внутреннего кармана пиджака какой-то пакетик, перевязанный шнурком, и подал его Васе.

— Запеси пожалуйста в крепдельную, передай старику Петрухину... Скажи, я сам не мог. Все равно, ты передашь.

Мещерин вытаращил восхищенные и ошарашенные глаза, держал на весу пакетик и не знал, что с ним делать.

— Что, брат, — засмеялся Николай Павлович, — ты думал, меня не видал, так я тебя и не знаю? Зачем книжки подбрасываешь Петрухину? — Николай Павлович щутливо погрозил пальцем.

Теперь Вася остался вполне доволен первой встречей.

— Ох, да, — вдруг спохватился Николай Павлович, — вы ведь съехали от Лаврухина из флигеля. Может быть, ты не можешь зайти?

По Мещерину уже готов был исполнить любое поручение, если бы пришлось даже сделать двадцать-тридцать верст, а тут всего-навсего от новой квартиры Мещерина на Золотухе три бульвара и одна коротенькая улица до крепельной.

Петрухин принял пакет и опустил его за пазуху.

— Гонцу первый крепель, — пробормотал старик вполголоса. — Я тебя, Вася, не видел и слыхом не слыхал, а ты меня и видел и слышал, потому крепедили горячие любишь. Хе-хе! С тобой товарки или товарищи в союзе?

Петрухин выжидательно посмеивался. Мещерин было начал и остановился...

— Ты больно любопытен, папаша! — в совершенном восторге от своей догадливости ответил Вася.

— А понял — учу? — шепнул старик.

— Конечно, понял.

— В чем же дело, ежели понял? Ране подкидывал, а нынче прямо в копытца!

Старый и молодой, довольные забавой, весело прыснули.

Скоро весь кружок „Мировая сказка“ переоблачился: все завели черные рубахи и шляпы. Настала очередь расстаться

с пышным названием кружка. Николай Павлович и Анна Яковлевна попеременно спросили:

— Почему „Мировая сказка“? Что это значит? Объясните пожалуйста.

Никто путно не мог объяснить.

Мещерин простодушно ляпнул:

— Это для красного словца.

Мещерин с удивлением замечал, что почти вдруг все окружающее начало изменяться и преображаться. Точно росло молодое дерево. Оно нежно и в пуху. Но вот уже кожица огрубела. А потом дерево раздели, очистив его от коры. Все предметы, люди, поступки людей как будто родились заново: они стали яснее, отчетливее и правдивее.

Мещерин впал в крайность: теперь он придирчиво искал недостатки повсюду, где их и не было. Вася нетерпимо оханывал все направо и налево. Конечно, раньше и прежде всего — порядки на телеграфе, начальство, охранявшее их, даже походку, голос и шевелюру начальства. Враги!

Мещерин и его товарищи считали своим долгом дерзить врагу и раздражать его. Они хотели, чтобы он побаивался их, ожидая всяческих неприятностей. Борьба!

На одной станции, куда послали Мещерина в месячную командировку, он повел себя так важно и независимо, что пережил неприятность.

— Ты что это каким петухом ходишь? — ядовито спросил начальник станции Панкратов. — Будто ревизор или купец богатый!

Мещерин вспылил:

— Во-первых — „вы“, а не „ты“. Во-вторых — я хожу, как умею, и никому нет до этого дела.

Панкратов с помощником громогласно захохотал, перебразнивая, как телеграфист „чеканил“ слова.

— О, чорт, потешил! — воскликнул Панкратов. — Фу-ты, пу-ты! Ах ты, шероховатый молокосос! Скажи на милость, как разыгрывает! Ну, прямо особа — не перескочишь!

Мещерин перестал разговаривать и кланяться с начальством. Так в кабинете и сидели: за медным аппаратом Морзе, точно у игрушечного пароходика, надувшись, молчаливо дежурил Вася, а у задней стены за столом, улыбаясь в усы, копался в бумагах Панкратов. Он задирал:

— Мещерин, ты не думаешь жениться?

Вася краснел и хотел презрительно промолчать, но не выдерживал.

— Глупый вопрос! — бросал он.

— Вот те на! — привязывался Панкратов. — Парень ты, кажется, не дурак, а женитьбу называешь глупостью. Муха на мухе и то женится. Хочешь, я тебе устрою невесту? Ха-ароша у нас есть девка на примете. Непорченая... Я тебе, скажи только, сей миг выпишу ее из города. Будешь с ней гоголем прохаживаться по платформе. Картуз насторону, нос кверху, палочка в руке. А она возле тебя в платьице, жметесь в платок от холода. Ты ее за пакгаузом обоймешь и прижмешь... На станции скуча, а тут, глядишь, любовь...

Мещерин не мог уйти: с минуты на минуту должна была начаться вызов соседняя станция, отправляющая поезд.

— Я вам удивляюсь, — сердился и старался быть занозистым телеграфист, — если женитьба ваша мечта, то не подсовывайте ее другим. И вообще какое вы имеете право на службе вести частные разговоры?

Панкратов привскакивал от удовольствия на стул, фыркал и забавлялся дальше.

— О, парнишка крепость! — подпускал он. — Его никак не объедешь. На одно слово сумеет дать ответ десятью. Где ты это так выучился? Начальника станции — ни во что! Другой бы любую бабу не откинул, а этому, можно сказать, предлагаю королек, — нос воротил! Исповорить охота с тим: ни тпру, ни ну! Костя, — орал он проходившему мимо помощнику, — загляни! Помощь нужна. Не могу Мещерина обломать: пеласков, как свекровь!

Костя старался.

— Ну как, ну как, привыкаешь? — тараторил он, вертаясь около Васи, и вдруг обращал внимание на телеграфную ленту. — Эге, брат, да ты что-то ленту часто обрываешь и клянчишь. Смотри, сколько на ней узлов! Может, гвардейцы не знают у вас в Вологде, как надо аппарат обхаживать, чтобы лента не рвалась.

— Непорядки замечены? — притворно сердито взглянул Панкратов и явился к аппарату для осмотра. — Пыль? Грязь? Лента скатана не по правилам? Откомандировать! Костя, придется написать старшему телеграфисту — пускай дают из линии настоящих работников, а не через пень колоду!

— Так что же, — соглашался помощник, — и напишем.

— Я сам на вас подам докладную записку, — угрожал Вася, уже чувствуя непрочность и унизительность своего положения в командировке. — У меня всё исправно.

Панкратов и Костя наседали.

— А стыд-то какой! Старший по смене, и пакося — не годится в дело! Будь у тебя сто раз хорошо, а мы черкнем — и поехал Мещерин со своей корзиной обратно. На нас ты что же можешь написать: мол, не признают меня за взрослого, считают мальчишкой, разговаривают со мной, а я побенюсь!..

Чтобы показать самую высокую степень невнимания к начальству, Вася заткнул уши пальцами.

По тут же ему пришлось пустить руки в ход. Панкратов потянулся через его голову и взялся за книгу, лежавшую возле аппаратного ключа.

— Во время дежурства, — сказал он с издевкой, — как тебе должно быть известно по инструкции, книжки запрещают читать. Ты мне зачитаешься про Машу да Ваню, да про какое-нибудь сражение на суше и на воде — и пустишь мне поезд на поезд. Али переврешь путевку. Вот и попался, законщик! С поличным. Телеграфист Мещерин, вместо того чтобы... и пошла писать... Нам разговаривать нельзя — запрещено-де, а сам что делает? Посмотрим!..

Панкратов решительно отобрал книгу. Вася негодовал, но он чувствовал себя школьником, которого поймали.

Панкратов держал книгу у себя до тех пор, пока ему не надоело возиться с Васей. Тот, окаменев, упорно не поддавался и не просил, как ему ни хотелось дочитать и скоротать скучу. Борьба — так борьба!..

Вечером с лесной дороги пришла пизенькая, с котомкой за плечами, широколицая девка в лаптях и присела на платформе рядом с конторой.

Панкратов выглянул, крякнул и щелкнул пальцами. Это знакомо.

— Мещерин, видишь, пришла оравушка? — облизываясь, спросил начальник. — К поезду. А поезд почью. Понял?

„Оравушкой“ звали зырянских девушек, приходивших с Вычегды. Они занимались в приелги и чернорабочие. На Вычегде, в глухи лесных и приречных деревень, та девушка славиуха, которая родит до замужества. Это радость отцу и матери и жениху: значит, не бесплодна и народит работников. „Оравушкой“ пользовались ловкачи. Девушки отдавались легко и беспрекословно, желая попести...

Действительно, навечеру Панкратов подобрел. Наклонился к уху Мещерина и шепнул ему:

— Ходи, что ли, за мной... Я ее в пустой вагон поведу в тупике... Действуй смело... она пятерых не испугается...

Мещерин непримиримо отшатнулся. Он с бессильным отвращением невольно следил в широкое окно, как Панкратов шел вдоль платформы, а за ним саженях в пяти покорно и медленно двигалась девушка. Она заранее сняла с плеч свою грязную котомку.

Внезапно краска стыда за Панкратова и вежная жалость к девушке ударили Вася в голову. Мещерин, не помня себя, выскоцил из конторы.

— Эй! — закричал сильно Вася, запинаясь на восклицании и не зная, как назвать девушку. — Эй!.. Оравушка! Воротись! Не ходи с ним! Не слушайся его!

Тут произошло то, чего не мог ожидать Мещерин. Девушка испуганно оглянулась, бросилась бегом вперед, догнала Панкратова, тот яростно погрозил телеграфисту кулаком, и они оба залезли в вагон.

— Ты знаешь, сукин сын, шути, да оглядывайся! — по-настоящему в гневе завопил Панкратов на Васю, возвратившись в контору. — А то я тебе и оплеуху съезжу. Где бы молчок, как все делают, а ты на начальника станции срам кличешь! Поезда дожидается не одна „оравушка“.

Размолвка затянулась. Панкратов теперь придирился к каждому служебному промаху Мещерина и записывал в журнал. Готовилась кляузा.

В промежутки между поездными путевками и телеграммами оставалось время, когда можно было вызвать товарищей с вологодского телеграфа и поговорить.

Мещерин аккуратно выпускал ключок ленты, принимая передачу, а сам работал, стараясь не расходовать ленты. И тот и этот товарищи после разговора вырывали каждый из своей катушки ленту — и следов не оставалось.

В Вологде слушал Соломкин. Мещерин не поддал Панкратова. Он осенял его всеми бранными словами, какие знал. Вася несколько раз, не отпуская ключ, из предосторожности оглядывался на начальника станции, чтобы тот не вздумал вмешаться и не пожелал захватить ленту.

Мещерин испытывал злорадство. Должно быть, у Панкратова не сходились какие-то денежные записи, он хмуро шевелился на стуле, раздраженно листал страницы широкой товарищеской ведомости и шепотом чертился.

— Какой ты, однако, мерзавец! — вдруг заревел Панкратов на Мещерина, стукнул кулаком по столу и неуклюже полез из своего угла. — Я и такой и сякой! По всем станциям выпускают ленту, и про меня идет слава! Ты так своим товарищам жизнь портишь! Так я тебя выучу!

Мещерин мгновенно оторвал кусок ленты, смял его и в страхе и недоумении поднялся с табуретки. Панкратов с вы-

пучеными глазами наступал на телеграфиста. Добрался. Удалил. Повалил. Защищаясь, Вася ободрал ему лицо. Как-то он вывернулся и кинулся вон.

Мещерин решил с первым же пассажирским поездом бежать в Вологду. Спал Вася рядом с конторой на единственном kleenichatom диване, стоявшем в женском отделении пассажирской ожидальни. В захолустыи пассажир — раз в неделю. Тут жили все командированные.

Мещерин наскоро собрал вещи и упаковал свою корзинку. А едва он толкнулся в двери, заслышав свисток поезда, двери оказались на запоре.

Тут Вася и понял, почему к нему заглянул помощник Костя и скрылся. Он же появился на крик и стук Мещерина. Дверей не отпер, а сказал ему в замочную скважину:

— Не скандаль, говорят! Панкратов велел тебя запереть. Хуже будет. Панкратов послал за жандармом. Тот тебе и откроет.

Поезд ушел; следующий — через полсутки.

До жандарма не дошло. В наступившей глухой тишине помощник Костя влез в комнату и запер за собой дверь.

— Ты это, Мещерин, брось, — сказал он, — ничего хорошего ни тебе, ни ему. Ты его обложил последними словами, он тебе за это в ухо. Обом попадет. Тебя выгонят, а Панкратову выговор или переведут в помощники. Панкратов больше не будет. И все шито-крыто. Он меня послал тебя уломать.

Долго спорили и препирались. Вася говорил со слезами в голосе и негодовал против насилия над ним.

— Да ты пойми, Мещерин, — уговаривал и урезонивал Костя, — всякий на месте Панкратова из себя бы вышел. Он слухач. Он на слух, бывало, работал всю смену. Ленту закатывать кому же охота! Ему смена сдаст аппарат, а катушка полная. Только торчит в аппарате хвостик. Панкратов усмехнется да так двенадцать часов на слух и жарит. Кто над ним посмеялся, тот теперь сам и плачь. Ты никак не отопрешься. Он все слышал. Тебе никто не поверит, что

так на тебя ни с того, ни с чего и бросился Панкратов. Твой разговор в Вологде товарищ вырвал, а на уочку Панкрадова ты все же попался. Ты как убежал, Панкрадов ленту открыл, а тебя из Вологды спрашивают — чего ты молчишь? Панкрадову ничего не стоит под любую руку подделаться. Он себя самого ругнул: на ленте у него и сидит брань. Чья? Да твоя!

Мещерину захотелось размахнуться и ударить панкрадовского посыльного.

— Сердись на меня сколько хочешь, — добавил Костя, — а мне служить с Панкрадовым, а не с тобой. Я так и покажу: ты ругался. И не только ругался, а и в драку. У Панкрадова поперек носу, как гвоздем, царапина.

Мещерин кое-как дотянул командировку. Но Панкрадов потешился над ним в последнюю ночь перед отъездом.

— Сопляк! — загремел дико начальник над самым ухом прикорнувшего головой к аппарату и проспавшего поезд Васи. — Ты у родной матери в люльке али на железной дороге? Марш к микрофону! Вызываю Шекену. Я по аппарату. Ах ты, сволочь, на восемнадцать минут задержали поезд!

Панкрадов, как бухгалтер, у которого не видно летающей над счетами и щелкающей косточками руки, принялся долбить ключом вызов Шекены.

— Мы-ста, вы-ста! — издевался Панкрадов. — Подавай ему вежливое обращение! И то и се! А сам рот раскрыл, слюнка вытекла и... храни, храни! Эх, работнички! Я тебя хочу — помилую, хочу — под суд отдам!

Провожать Мещерина вышли оба начальника. Они подозрительно усмехались. С Панкрадовым примирения никак не получалось. Вася протянул руку одному Косте.

— Поди ты со своей рукой! — выругался и отшвырнул ее помощник. — Очень мне нужна сна, свистун длинноногий!

Панкрадов, злобно хохоча, выкрикнул:

— Ты к нам больше носу не кажи! Посылать будут, так

старшему телеграфисту в ноги! Не хочу-де туда, дяденька, там Панкратов мне морду набил! Там мне спать не давали!

Мещерин возвращался одеванным и побежденным. Он никому не сказал о своей неудачной поездке. Наоборот, он хорохорился и хвастал сплошными успехами, привирал к каждому слову, выдумывал целые истории о встречах и разговорах с мужиками. Выходило так, что Вася наделал делов во всей округе.

Мещерин как бы из скромности просил не говорить Аине Яковлевне и Николаю Павловичу.

Коровин не вытерпел и передал.

Вскоре было соединенное собрание телеграфистов, гимназистов и реалистов в Козлёне, у Николая Павловича. Все участники заранее прочитали „Историю культуры“ Липперта. Николай Павлович устроил обсуждение книги, похожее на экзамен, очень ловко вызывая каждого высказываться.

Мещерин страдал весь вечер. Он завидовал гимназистам и реалистам. Как он хотел походить на них! И Перышкин, и Дмитриев, и Верхнераменский, и даже каплюсенькая толстенькая Стеша Грибкова не чувствовали решительно никакого смущения перед хозяином, ходили и сидели в комнате, как у себя дома, горячо спорили с Николаем Павловичем и перебивали его. Вася представилось, что Перышкин и Верхнераменский говорили куда лучше Житницына. Вот бы сделаться таким оратором! А как они поняли и как разобрались в Липперте!

Мещерин не осилил эту книгу. Он запомнил из нее какие-то не связанные между собой куски. Николай Павлович пробовал несколько раз втравить Васю в спор. Но лицо у телеграфиста покрывалось столь густой краснотой, словно оно было обтянуто не кожей, а мокрым кумачом.

— Сейчас с Мещериным случится удар! — ядовито подставил ножку Верхнераменский.

Недалеко от Васи сидела бойкая говорунья гимназистка Клавдия Орлова. Она засмеялась обиднее всех. Раскатисто и откро-

венно, точно доставляла Мещерину удовольствие своим радостным смехом.

Верхнераменский упорно добивался ее внимания. Как будто он только для нее и говорил всегда на собраниях, часто кося свои серые глаза на девушку. Они вместе уходили с собрания. Клавдя крепко и неотступно запомнилась Васе.

Он с ревнивой украдкой проводил ее глазами вчера вечером в театре, когда она, в коричневом платье и белой пелеринке, вся сверкая, как разноцветный фонарик, беспрерывно поворачивая голову во все стороны с улыбкой, с ямочками на щеках, прошла с компанией незнакомых гимназистов и гимназисток по коридору.

В толпе Васю затерли. Клавдя его не заметила. Зато он заметил Верхнераменского, обогнавшего его. Должно быть, этот опоздал к началу спектакля. Он промчался, запыхавшись, вытирая потный лоб носовым платком.

Васе хотелось, чтобы Клавдя увидела тщательно расчесанные мещеринские кудри и белый шелковый бант вместо галстука на черной рубашке с отложным воротником. Сегодня он обновлял бант. Сегодня впервые купил билет в партере, в самом последнем ряду. Так и решил: реже ходить, но непременно в партер.

Клавдя с товарищами остановилась у самого прохода в зал. Васе понравилось, что она довольно холодно и равнодушно поздоровалась с Верхнераменским, но от смущения Вася не дошел до нее и выждал, чтобы Клавдя ушла на свое место.

В полумраке Мещерин проскочил в зал. Васе было не до актеров, не до интересного последнего действия. Он разыскал Клавдию в самой середине партера, рядом с Верхнераменским. И ему опять понравилось, что, хотя Верхнераменский то-и-дело наклонялся к ее локону, выбившемуся около уха, и что-то нашептывал, Клавдя немного отстраняясь, запрещала говорить и внимательно смотрела на сцену.

Сердце Мещерина замерло от удовлетворения: Верхнераменский терпел явную неудачу. А все-таки он сидел рядом

с Клавдий! Вот даже свободно и просто, как бы сделала она сама, поправил пелеринку, от ее неловкого движения застинувшуюся на плечо.

Клавдия повернулась в профиль к Мещерину, и он увидел ее прищуренные глаза и усмехающиеся губы, благодарившие Верхнераменского за услугу.

Этот поворот Клавди к соседу заставил Васю тяжело вздохнуть, сделать притворно безразличное лицо, а глаза направить ввысь, на галерку.

Мещерин подумал:

„Я должен закалять свою волю. Что мне Клавдия? Ничего. Она чужая. Она — Верхнераменского. Этого неприятного высокочки Верхнераменского! Я больше не взгляну на них на обоих!“

И Вася начал отвлекать себя рассматриванием галерки. Темно. Но глаза привыкли. Вот у самого занавеса перегнулся через перила и заглядывает на сцену Степка Разживин. Он старый билетер. Его выгнали за даровой пропуск в театр всех ребят с улицы из Заречья, где он жил. Вон в первом ряду балкона седенькие старик и старуха: кто они — Вася не знает, но они всегда сидят на одних и тех же местах. Да много там знакомых на галерке!..

Мещерин свободно пошевелился. Невольно сравнил галерку с партером и остался доволен, что он сидел на своем собственном стуле: не жарко, не тесно, и от всех нехнет духами, а не потом и овчиной, как там, у потолка, в поднебесной. Да, только отсюда можно понять потолок, — это небо, а по нему летят в легчайших ночных сорочках ангелы с золотыми трубами. Так расписал, может быть, Подыминогин, славный вывесочный мастер в Вологде!

Какие милые и простые люди на галерке! Если там любят, то прямо обнимают. Сидят в обнимку на первой и на второй скамейках балкона. Жарко и сладко. А здесь Вася просто поглядывал со сторонки.

Милых и приятных людей с галерки, однако, Вася взял

для сравнения только в отместку Клавде. Из-за нее же одной он скоро и забыл их всех.

В последний антракт Вася не вышел в коридор, из боязни столкнуться с Клавдой и выдать свою трагогу.

Он беспокойно сидел на стуле, отвернувшись к ложам, чтобы не попасться девушке на глаза, когда она вернется с прогулки.

Вася чувствовал какой-то неизъяснимый страх перед Клавдой. Он сидел, как невольник в темнице.

Мельнула мысль: а не убежать ли через вторые двери в партере совсем из театра? Вот как Клавдя покажется в конце коридора, — видать через раскрытые ложи белую вперемежку с черной радостную толпу людей, — можно успеть выскочить в коридор и юркнуть к вешалке.

Так случилось, что действительно столкнулись здесь после окончания спектакля. Вася в торопливой растерянности надевал калоши, никак не попадая в них ногой, и неуклюже толкался.

Кто-то внезапно взял его под руку и потянул к себе.

— Мещерка, ты тоже был? — звонко, словно заигравши трензеля в оркестре, закричала Клавдя. — Здравствуй! А я тебя не видела. Ты меня видел?

— Нет, не видел, — соврал и страшно покраснел Вася и для чего-то добавил: — Якарко...

— Ужасно! — воскликнула чем-то недовольная Клавдя, внимательно посмотрела на него и сунула руку. — Ну, до свидания! Надо одеваться!

Верхнераменский кивнул Васе издали, пробираясь сквозь толпу к девушке с охапкой вещей и торчавшими сверху двумя парами калоши.

Мещерин поймал себя в стеклом зеркале, точно заполнил всю раму, голова даже уперлась в верхний завиток. Вася с неприязнью заметил на себе нескладное пальто, слишком глазастую, с желтым кантом фуражку, особенно перепуганное багровое лицо — и стремительно бросился на улицу.

...Мещерин спасх, часа за два до собрания, с головой, занятой другим, кое-как докончил Липперта. Теперь пришла расплата. Смех Клавди прозвучал вскорбительно и больно.

Николай Павлович бегло взглянул на Васю. Его жалкий вид, краснота указывали на какое-то внутреннее беспокойство. Житиницын постарался сгладить неловкость и выручить растерявшегося Мещерина. Он тотчас же отвлек общее внимание от Васи, задав Верхнераменскому ряд трудных вопросов, ответить на которые тот не сумел с обычной самоуверенностью.

По Васе не везло. Еле-еле пришло успокоение от насмешки над ним Верхнераменского, Ани Яковлевна отозвала Мещерина к окну и сразу же резко сказала ему:

— Вася, ты рассказываешь небылицы товарищам о своей поездке на линию. Ведь это неправда? Этого не было? А если и было, то не так?

Мещерин смешался.

— Я тебе это потому говорю, — немножко смягчилась Воскресенская, — что хочу каждого из вас предостеречь от игры в революцию. Не болтай больше никогда о том, чего ты еще не в состоянии делать. Тебе надо сначала самому понять глубоко и со всех сторон много-много разных вещей, а потом уж и действовать.

Ани Яковлевна наклонилась близко к Мещерину и шепотом спросила:

— Ты почему давеча так смущался? Ты не прочитал, должно быть, Липперта? Ну, милый, это уж совсем по-школьному. Что мы — учителя вам? Срезать на экзамене будем? Для вас же это нужно. Знать, знать больше! Мы вам товарищи, а не учителя! Тебе следует бросить кружок, если ты думаешь так поступать и дальше!

Бросить кружок? Ни за что! Вася пережил вдруг подлинное смущение перед тем, что он может утратить право входа на эти собрания, на встречи с Николаем Павловичем и Анной Яковлевной!

Но как причудлива жизнь! Воскресенская словно и не сердилась только что на Васю, отошла от него и ввязалась в спор, подхватив его в самом жару.

Что же произошло с Клавдией? Она мельком взглянула на робко и побито оставшегося у окна в полном одиночестве Мещерина. Он делал вид, что слушал. На самом деле у него путано неслось в голове обрывки ии с чем не связанных мыслей. На лице девушки вдруг появилось выражение озабоченности. Мещерин старался не смотреть на Клавдию, но невольно следил за нею, научившись видеть ее в совершенно неуловимой ии для кого коснё глаз. Клавдия все настойчивее оборачивалась в сторону Васи. Наконец она осторожно встала, и Мещерин понял: она шла к нему.

Клавдия близко и тепло встала рядом — Вася не успел отодвинуться, прищурила глаза и вполголоса буркнула:

— Я очень скверная... Я глупо засмеялась над тобой... Я совсем не хотела... Нет, вру... хотела. Вообще я... дрянь...

Она взяла руку Васи и пожала ее.

— Я больше не буду...

И сразу точно брызнуло у нее из глаз озорство, она подавила смех, почти коснулась уха Мещерина маленькими пухлыми губами и прощептала:

— Ты руки держишь как будто по нивам. Я едва пашла...

Она нарочно задержала губы возле Васиного уха, чтобы заметил Верхнераменский.

— Я обопрусь на твое плечо и влезу на подоконник, — внезапно сказала Клавдия, — мне неудобно стоять. Помоги меня.

Вася попемногу справлялся с охватившим его волнением. Клавдия так села на подоконник, что, чуть облокотившись на него, Мещерин почти притрагивался к ее коленям. Девушка ловко и умело заставила Васю разговориться. Она засыпала его вопросами.

— Тише, — сказал Верхнераменский, бросая удрученный взгляд на уединившуюся пару.

Клавдя покорно прикладывала пальчик к губам и опять продолжала разговор.

— Клавдя! Вася! — возглашал Верхнераменский, будто бы он боялся потерять нить спора. — Вы на *и* мешаете. Кто не хочет слушать, тот... — и Верхнераменский многозначительно смолк.

— Это тебе кажется, что мы не слушаем! — серьезно и возмущению восклинула Клавдя.

Так они весь вечер и просидели, не расставаясь.

— Не правда ли, мы с тобой теперь подружились? — прямо уставилась в глаза Васи девушка.

Мещерин счастливо улыбнулся.

— Знаешь, что, — сказала Клавдя, — ты меня сегодня проводил домой. Я не хочу идти с Верхнераменским. Я хочу с тобой. Давай уйдем незаметно. Я сейчас выскользну из комнаты, оденусь и подожду тебя на улице.

Клавдя спрыгнула с подоконника, ушла в переднюю, и настороженный Вася услыхал скрип дверей в крылечке. Мещерин, хотя и не так расторопно, но вышел за ней вслед.

— Замечательно! — ликующе, прощептала она. — Бери меня под руку. Сначала пойдем быстро, чтобы не догнали... Потом пойдем чуть-чуть...

Вася бережно прикоснулся к согнутой калачиком руке.

Она сама исправила неуклюжего кавалера, взяла его руку и прижалась к себе.

— Ты в ногу иди, — весело расхохоталась Клавдя, — ты применись! Давай с левой... как солдаты. Неужели тебе не приходилось хаживать с девочками под руку?..

Клавдя жила далеко за рекой. Она упорно не торопилась. В сознание Васи прокрадывалась неприятная мысль — чем объяснить дома такое позднее возвращение?

— Мы с тобой, как влюбленные, — болтала и потешалась Клавдя, — вот, на нас смотрит луна! Лица у нас белые от луны, как у стариков! Ты наверное заметил, что в меня влюблен Верхнераменский? Он мне объяснился... Я ему

ничего не ответила... Я его не люблю. Он первый ученик. Гордится и важничает. Его никто не любит. Он очень способный: в классе учитель прочитает сто новых слов по-французски, Верхнераменский без ошибки запомнит... Все на него удивляются... Я, Вася, откровенная. Мне из всего вашего кружка нравишься только ты один...

Шли. Стояли, облокотясь на перильца набережной. Лунная струя трепетала...

— Кли, кли! — передразнивала Клавдя. — Я страшно люблю гулять по почам! ..Таинственно шла пара... Фонари мерцали, как, как...” Ну же, подсказывай!.. Мне хотелось бы встретиться с настоящим писателем и посмотреть, какой он, походит ли на остальных людей или не походит?.. Ты не видал настоящего писателя?

Мещерин почувствовал боль: значит, Клавдя его не считала настоящим.

— Ваш журнал „Осенние осоки“ хуже, чем у гимназистов. У них и название лучше: „Ручьи“.

— Теперь у нас журнал будет называться „Зали“, — вставил Вася.

Клавдя начала хохотать, тяжело повисая на руке Мещерина.

— Зали! Ха-ха! Зали! Почему? Это значит — раз выстрелили, и будет? Никуда не годится! Впрочем, все равно. Хоть раз, хоть десять. У меня брат студент-математик. Во-от он потешается над вами! Читал ваш журнал за чаем. И мама и он хотели со слезами на глазах, и оба прямо визжали от удовольствия. А я защищала. Особенно... одну вещь...

Клавдя жила в маленьком флигеле. Вася подвел ее к калитке.

— Ага! — сказала радостно Клавдя. — Мама сама недавно вернулась из гостей. Она у меня картёжница. По почам дуется в преферанс то у одних знакомых, то у других. Вон она прошла со свечкой по моей комнате. Это хорошо. Не придется будить.

Мещерин увидел шатающуюся тень свечи на занавеске.

— Vale! — приветливо тряхнула руку Всёи девушка и скрылась.

Мещерин шагнул с вытаращенными глазами, покраснев от беспокойства: он не понимал, что значит это „Vale“. Но, должно быть, оно обозначало многое.

Снова стукнуло кольцо калитки, и опять показалась Клавдия. Она поманила рукой Мещерина. Недоумевая и торопясь, он вернулся.

— Я защищала... твою вещь, — лукаво сверкнув глазками, задумчиво сказала она. — Я тебя вчера и в театре видела. Ты сидел весь антракт в зале и следил за мной, как я ходила по коридору. Понял? — Клавдия шутливо хлопнула по руке Васю. — Теперь уже прощай насовсем! Я опоздала. Мама загасила свечу...

Мещерин на другой день узнал от Николая Навловича смысл и значение „Vale“.

При следующем свидании, немного стесняясь, без особой уверенности в своем языке, Вася полушопотом пробормотал:

— Vale...

Ночему-то Клавдия, смеясь, сверкнула глазками.

Заботы прибавились не у одного Мещерина. Почти каждый из кружковцев не справился со своим сердцем. Так парами приходили и парами уходили. Вместе читали одни и те же книги. Вместе защищали и опровергали прочитанное. Неожиданно сталкивались на прогулках в самых глухих и отдаленных улицах. Прятались друг от друга. Торчали под освещенными окнами у флигелей и квартир любимых.

Как будто по неотложному делу, с книжкой или с тетрадью стихов в руке, попадали в большую перемену к женской гимназии, шли быстро мимо, успевая, однако, с сияющими лицами переглянуться. Встречались на катках, на ледяных горах, в театрах, на танцевальных вечеринках, уезжали за город на лодках, жгли костры, бродили в подгородных рощах и кустарниках... На кружках было шумно и весело.

Соломкин перестал принимать заказы на печатание стихов. „Осенние осоки“ высмеяли как глупое название и переименовали в „Зали“. Техник не торопился. Он занимался журналом с такой ленью, что „Зали“, отошедший наполовину, вылез года через полтора.

Соломкин полюбил тонкую папиресную бумагу. Он возился у своего гектографа, точно ходил каждый день на службу. Воскресенская и Житница доставляли бумагу. Соломкин почти не слезал с сенинка, где он теперь устроил лабораторию.

— Кобылка... Знакомые и родные места. Там прожиго долго. Там знают многие по имени. Там недавно кричали под горячую руку матери обиженных ребятишек:

— Пастух несчастный! Верзила длиношней! Мой парнишка тебя не задевал, а ты на него верхом садишься! Что он тебе — лошадь? Посмей когда тронуть, дух тебе выпустим, трактирщики подные! Отцов спаиваете, а из ребят забаву делаете! У вас много, у нас мало. Пиджак ты у него новенький запатрал. Парнишка на него не нарадовался, на гвоздик его около своей постельки вешал, чистил и обиживал, а ты грязной хворостиной по нему!

В Кобылке дрались — артель на артель. Били в одиночку: на одного десятеро. Потом от грозы до грозы — городки, бабки, карты, борьба по-цыгански, чехарда...

Ребята вопили:

— Эй, Мещерин, иди в кон! Па верблюде ровно бы мы не катились!

Теперь в тесных и низких сенцах шонот... Шорох передаваемых листков... Вечернее ожидание в глубине двора, за дровяными салями... Удобно в полдень.

Высокая красная труба с законченной верхушкой видна отовсюду с Кобылки. Вот рядом с ней, как белый пар из вскипевшего самовара, вырвалась густая кудрявая струя-штопор. Гудок на обед.

Принес из Козлёны и Желвицов прямо под рубашкой, на теле, шелестящую бумагу. Она попадет на вечернюю смену. Не надо прятать ее грудой на ночь в одном месте. Она тогда мертвая. Не говорит. Не дышит. Ее могут взять.

Ночью на Кобылке ходят дозорным шагом люди в серых и черных пинелях, будят. Ищут. Походят. Но тогда шелестят по темным флигелям рассеянные листки. Не жалко: один-два. Вороха подхватило ветром и разнесло. Серым и черным пинелям пожива на столбах, на афишиных вертушках, на заборах. Берите пожи и скоблите!

До полночи, когда бродят на Кобылке последние пьяные, прошли засыпающими проулками Мещерин, Короли, Черевков, Петелькин и занятиали броские на глаз места.

В укромьи, в репейниках и крапиве, перерастающих заборы, выгорают все лето не найденные наклейки. Челядь на Кобылке учится по ним читать и понимать.

Труба мастерских спокойно курит. Черная полоса дыма прямая, как разостланная на ровном полу дорожка. Труба и дым напоминают мужицкую косу, поставленную на корешок. Работа в полный завод.

По Кобылке крупным шагом идут разномастные жеребцы. Патрули городовых. Окна на Кобылке затворены. На улицах пусто. Одна неуёмная челядь снует сзади и спереди патрулей: то подозрительно обгоняет, то отстает.

Есть лихая и веселая забава. Ребята смирнеенко идут по деревянным лавам, переброшенным через грязи и канавы. Патруль подъехал. И тут... взмах над головой маленькой жестиной коробкой. Она нарочно начищена. Какой-то синий свет мелькает в воздухе. Патруль точно отбрасывает. Городовые, подымая лошадей на дыбы, напряженно смотрят... Ребята уже понеслись на свои задворки.

Так пугали городовых бомбой...

Затворены окна, замкнуты ворота и калитки на улице; зато все настежь в садики, на огороды, на помойки; дворы полны рабочих. Жалко — не дают снеть, а то бы спели...

Железнодорожники бастовали день-два. Тогда по той и по другой стороне улиц бездельно, не признаваясь друг другу, шли и переглядывались Мещерин, Нетелькин, Коровин... Надо посмотреть. Надо рассказать ссылым, как ездят патрули. Хотелось прямо, открыто войти в знакомые флигелишки... Удерживались: конспирация...

Мещерин встретил переодетых в штатское Верхнераменского и Иерышкина. Ему показалось, что они были бледны и напуганы.

Вася точно участвовал в забастовке. Это си, нахлобучив картуз, вышел из проходной заводской будки и не вернулся на работу. Чускай сирена для потехи гудит в пять утра, в полдень, в одиннадцать ночи. — все равно он не сдвигается с места, покуда начальник мастерских не сделает так, как сказано на паниросных листках.

— Слаба кишак! — слышал Вася в те же дни на телеграфе, в библиотеке, на улицах, даже у Аины Яковлевны и у Николая Павловича.

Кобылка опять побежала по гудку. Как будто ничего не было. Только кой-где во флигелях буйно.

— Забастовщик сыкался! — надрывно голосил бабий начальный голос. — Почему тебя с завода выгнали, а не Нетруху, а не Ваньку, а не Гринику? Те попроворнее. Больше всех подбивали, а сами усидели, а вас, простофиль, вон! Бери ребенка! На! Чускай он у тебя сосет! У меня груди с голодухи высохли!

Бабы обивали пороги у конторы и голосили. Некоторые молча, словно по обету, или на базар с узлами, продавали последнюю ветошь...

На Кобылке больше пьяных.

— Пропил! Последний мой сак пропил! — плакала другая, бросаясь от бабы к бабе и жалобно припадая к ним.

— И мой!

— И наш!

— Говорят, опять набирать будут!

— Какое!

— Надобно корзину на руку да из проклятой этой Вологды бежать, куда глаза глядят! Здесь хлеб пропал! На заметке! Подохни — не достанешь!

— Голубушка, мыкаемся, как цыгане! За три последних года третий раз скачем из одного городка в другой. Нигде ужиться не можем! Гонят! Ребят плодим, а все труднее и труднее жить! Мой-то ожесточился на весь свет! Ровно бы перекувырнул его, будь на то его воля и сила!

— Да-а, перекувырнешь его! Кувыркал и много, да что в них толку! Много и мало. Сила, подумаешь, какая: мастера на тачке вывезли да свисток оборвали. А мастеров сколько хочешь других! Всех не вывезешь! Свисток починят.

— Ежели на свете голодных больше, чам сытых, так бастуй не бастуй, заместо наших наберут других голодранцев!

Как у нас на троне

Чучело в короне!.. —

кричал озлобленно и отчаянно подвыпивший рабочий, шатая грязной уличной дорогой в единицом на затылок картузе, в расцахнутом пиджаке и размахивая сжатыми кулаками.

Над ним боязливо усмехались. От него сторонились.

— Еши меня с кашей! — не унимался разошедшийся с горя человек. — Все равно! И-не уступлю! И-не сдамся! И-не поклонюсь! Сволочи! Кровоизверцы! В тюрьму желаю! Выведу бабу и ребят моих на главную улицу, и мы им занесем песню про царей и про всех всемирных налачей! Эх!

Он долго бродил с одного конца Кобылки на другой, покуда его насилию не затачивали товарищи домой или не попадал он в часть.

У студента под конторкой

Пузырек панили с кастроркой!

Эх! Динамит не динамит,

А без пороха палит! —

спыхалася воиль из какого-нибудь угла вросшего в гнилую, болотистую землю флигелюшки.

Таинственные заглавные буквы Р. С. Д. Р. И. Знамя. Малое, как головной платок. Шестик. За городом, в бывших солдатских лагерях, в тени кем-то насаженных и заброшенных берез, на лугу — опять Кобылка. Тут Петрухин с некарами. Тут Верхнераменский и Клавдя. Тут некрасивые, с шероховатыми руками, майки с водочного завода. Худые девушки в бедных платьях. Анна Яковлевна и Николай Павлович попеременно говорят. Просто, понятно... Их сменяют другие ссыльные — товарищи Петр, Сидор, Егор...

Мещерин слушает издали. Вася горделиво думает, что он вместе с Николаем Павловичем и Анной Яковлевной делает огромное и нужное дело, которое принесет всему трудащемуся человечеству счастливую, солнечную жизнь. Вася в восторге от этих мыслей. Они сжимают ему горло, почти как слезы. Сегодня его очередь стоять под крайними березами на карауле и не сводить глаз с желтой дороги, бегущей к городу. Оттуда и туда плетутся редкие деревенские бабы, пръезжают одиночки и целые обозы, просверкало светлыми спицами в колесах кунеческое ландо...

Самодержавие... Царь... Помещики... Фабриканты... Беднота. Рабочие. Крестьяне. Р. С. Д. Р. И. Стачки. Революция. Вооруженное восстание...

Это знакомо и нужно, и каждый раз по-новому, точно накапливается это новое от массовки до массовки.

Вон по всей опушке стерегут дороги и тропы в город другие. Мещерин бдителен и зорок. Он до красоты в глазах павстречу ветру и пыли следит за опасными путями. Он горделиво и радостно чувствует себя участником общего дела. Это ничего, что на лугу народу мало. Мещерин не хочет забыть о себе как о „старом революционере“. Он считает... В прошлом году здесь было меньше. Люди приходят. И большой город будет таять. Если бы город не боялся, не надо было бы стеречь Кирилловский большак: по нему могут прискакать городовые, по нему могут, пыля тяжелыми саногами, притти солдаты моршанцы.

Вон и Соломкин верит, что должно притти время, когда понадобится Петя суковатая палка. Он изобретатель. Он сделал складную палку: одна вкладывается в другую, на кончике вкладыша маленький красный флагок, как осенний ржавый лист. Петя предусмотрителен: он заготовил, он хочет в нужный час открыть свою палку и поднять ее над толпой.

Лина Яковлевна и Николай Навлович с тремя товарищами спустились к реке и переехали на тот берег. Лодку погнал вниз Петелькин. Понемногу в разные стороны разбрелись все. Клавдия сделала из обеих рук по калачику. Мещерин и Верхнераменский подхватили ее и повели.

Клавдия ухитрилась шепнуть Васе:

— Я уйду домой... и выйду... Ты меня подожди в неизвестке...

Из калитки флигеля Орловых вышла парядная улыбающаяся женщина. Верхнераменский стремительно подбежал к ней, низко склонился и поцеловал руку.

— Мама, это Мещерин,— сказала, почему-то сконфузясь, Клавдия.

Вася не хотел бы отставать от Верхнераменского. Женщина уже, подав руку, держала ее, изогнув, на такой высоте, с какой следовало приложитьсь. Но Мещерин вдруг весь всыхнул от неизвестного, бессмысленно посмотрел в глаза женщины, в точности повторившей глаза Клавдии, замедлил и только крепко пожал руку.

— Падо вот так,— шутливо вымолвила мама Клавдии и закрыла Васе рот ладонкой.

Мещерин еще никогда не видал Клавдью такой красной. Он с болью объяснил себе ее красноту: девушка стеснялась человечности Васи.

— Ты, Клавденька, домой? — нежно спросила мама. — Это хорошо и кстати. Я вернусь поздно. Я к Сухоруковым. Саша ушел давно, и неизвестно, когда придет. Дом пустой...

Мама хотела проститься с молодыми людьми. Верхнерамен-

менский, приготовившись, ждал. Но мать с дочерью переглянулись. Клавдя переступила ножками и умело полузаслонила Васю...

— Ну, я... вперед! — весело воскликнула мама, взмахнула серебряной сумкой и пошла. — До свиданья!

Высокая прямая тонкая женщина в белом легком костюме опиралась на хрупкий, малинового цвета, зонтик. Она двигалась быстро и молодо, точно была не матерью, а старшей сестрой Клавди.

— Значит, Клавденька, сегодня мы больше не увидимся? — довольно усмехаясь над посрамленным неуклюжим соперником, спросил Верхнераменский.

— Значит, — серьезно и недовольно ответила она. — Куда уж! С утра вместе! Я совсем без задних пог. Гу-ду-ут! — засмеялась она и бросила хитрый взгляд на Мещерина.

Расстались.

Верхнераменский и Вася никак не могли начать разговора. По молчанию обоим было стеснительно и неудобно.

— Прекрасная девушка! — наконец воскликнул Верхнераменский. — Совсем не походит на свою вертушку-мать. Та — орел баба! Любовников меняет, как попы в церкви ежемесячные святыни. Ты этого не знал? — покровительственно спросил Верхнераменский.

— Нет.

— Клавдя всё видит... Удаленькая мама, — язвительно подпустил Верхнераменский. — С каждого любовника получает фотографические карточки и ставит их в альбом. Муж был путейский инженер. Пьяница. Три года назад попал в крушение. Задавил. Железная дорога выплатила семье несколько тысяч рублей. Да были кой- какие запасы. Вот и живут... Мама картежит... Кажется, удачно..

Мещерин жадно слушал.

Верхнераменский как будто осуждал мать Клавди, но в то же время в словах его чувствовалось непроизвольное восхищение ею.

— Она очень недурна... — помолчав, неопределенно сказал Верхнераменский.

— Кто она: дочь или мать? — поддел Мещерин, разглядывая сбоку лицо Верхнераменского в задумчивости.

— Обе... — буркнул тот.

— Ты говорил, Клавдя не походит...

— Походит, не походит — дело не в этом, — с крайним пренебрежением протянул Верхнераменский, — как бы тебе это объяснить... Нет, невозможно... Ты не поймешь... Тут тонкость нужна...

Вася почувствовал больной укол: Верхнераменский считал себя выше товарища.

— Мне сюда, — вдруг догадался Мещерин.

Он вошел во двор какого-то дома и выждал, покуда Верхнераменский не повернулся в соседнюю улицу.

Васю уже поджидали.

— Отделался? — резко спросила Клавдя.

— Да.

— Он, наверное, говорил пакости про маму?

Мещерин маялся и старался отвести свои глаза от глаз Клавди. Она крепко взяла его под-руку, словно Вася намеревался убежать.

— Говорил... всякую... Неправда это? — сказал Мещерин.

Клавдя внезапно засмеялась на всю улицу.

— Вот так революционеры! — бормотала смеясь девушка. — А если бы и правда, кому какое дело, как один человек живет, как другой, не похоже на остальных?! Я почему догадалась? Про маму много болтают... Она смелая и решительная... Верхнераменскому надо отогнать от меня всех... У него был роман со Стешей сначала... Он ей рассказал о маме всякие были-небылицы... Конечно, намеками... А та — мне... Он тебя ревнует ко мне...

Вася не нашел ничего другого сказать:

— Почему?

— Как почему? — удивилась Клавдя. — Разве...

И она не докончила.

— Пойдем дальше отсюда, — потащила она его, — к реке. Там сядем на берегу... У Георгия-победоносца... Можно было бы у нас в садике... да я не хочу, чтобы с тобой встретился мой брат. Он терпеть не может всех железнодорожников... Из-за отда...

Белые громады Георгия-победоносца с синими куполами в серебряных звездах опрокинулись с высокого берега в спокойную реку. Вокруг куполов, мелькая, исчезли стрижи. Клавдия следила за ними по отражению в воде. Она набрала горсть мелких камешков и пыничила их по одному, метясь в тень стрижа.

— Попала, попала! — кричала Клавдия.

Казалось, стрижи шли на дно. Увлекся и Вася метанием камней. Так они, бормоча несвязные слова, вспоминали которые не могли бы снова, сидели тут до вечера.

— Я не нагулялась, — сказала Клавдия, когда, уже при огнях, Мещерин подвел ее опять к дому.

Уединились во Фризинове. Долго брали молча, разглядывая свои пыльные туфли.

— Ты думаешь, я веселая? — перескакивала с одного на другое девушка. — Это только так кажется. Мне часто бывает страшно грустно. И хочется плакать. Отчего? Неизвестно отчего. Я и в кружки хожу зря. Я и в революцию совсем не верю. Ты думаешь, что-нибудь выйдет из кружков да из забастовки рабочих? Ничего не выйдет. А мне совсем не стыдно плакать. Я тут зашла к Анне Яковлевне днем и застала ее в слезах. Она так мне и не сказала, из-за чего плакала, а только мы с ней долго обнимались. „Я, — говорит, — Клавденька, дура, ты на меня не смотри!“ Она бы должна была меня, как маленьку, по голове гладить, а тут я ее гладила. Анна Яковлевна в конце концов развеселилась, наспех вытерла слезы — кто-то прошел под окнами — и сказала с большим чувством: „Ты, девочка, просто прелесть! Ничего, ничего, все пройдет!“

Мещерин переставал дичиться: Клавдя умела быть такой доброй и простой, что вдруг он ловил себя на самой не-принужденной болтливости.

Клавдя понемногу выведала у него решительно все заповедные секреты.

Вася невольно прибавлял к рассказам, желая изобразить свою жизнь как можно безрадостнее. Само собой, ему хотелось казаться более интересным, чем он был в действительности. Он где-то прочитал, что любовь часто начинается с жалости женщины. Мещерин даже говорил подавленным и мрачным голосом, чтобы вызвать эту жалость.

— Я к тебе буду ходить домой, как я бываю у Верхнераменского, у Перышкина и у других товарищей, — огорошила Клавдя Васю, — мне интересно посмотреть, как ты живешь. Можно? — она кокетливо наклонила головку, не сомневаясь в согласии.

Мещерин собрался с силами и в полном испуге заявил:

— Ии за что!

Клавдя даже выпустила руку из-под его руки.

— Ии за что! Тебе у нас... мама... папа... Они не понимают. Я боюсь...

— Что они меня выбгонят? — захохотала Клавдя. — Меня еще ниоткуда не выбгоняли!

Мещерин в сильнейшем волнении искал слова, какими можно было объяснить, почему к нему пельзя.

— Ах, какая ты тряпка! — с досадой сказала Клавдя. — Я бы на твоем месте заявила: прошу не вмешиваться в мою жизнь. Тебе восемнадцать лет... Ты мужчина...

Клавдя передохнула, опять прилипла с теплым вниманием и дружбой к Васе и лживительно продолжала:

— Ты даже жениться можешь! Кажется, нам с шестнадцати лет можно выходить замуж, а вам — жениться с семнадцати. Знаешь, что, — оживилась она, уже охваченная блеснувшей мыслью, — давай разыграем твоего отца и мать. Придем вместе и скажем: мы жених и невеста. Ха-ха!

Вася хотя поддержал смех, ему было приятно называться женником Клавди, но он с ужасом представил лицо отца.

— Впрочем, я несогласна, — разочарованно и пренебрежительно сморщила мордочку Клавдия, — раз твой папа такой грубый и бьет тебя, он, пожалуй, заодно выпорет и меня! А вот у Верхнераменского отец ниже травы. Он все за сыном ходит и твердит: „Володечка, Володечка!..“ Тот хоть отца и любит, а когда мы собираемся у них, выпроваживает его, чтобы не мешал...

Улицы за две до флигеля Клавди внезапно наткнулись на Верхнераменского. Володечка победел и растерянно заморгал глазами.

— Какими судьбами! — с притворным добродушием воскликнул он.

Мещерин очень смущаясь, но Клавдия была совершенно спокойна.

— Можно с вами? Вы гуляете? — несмело попросил Верхнераменский.

— Я думаю, — важно ответил Мещерин, торжествуя над самоуверенным товарищем, явившимся теперь около Клавди в крайней робости.

Девушка с лукавством улыбнулась, взяла Васю за руку, пожала ее и твердо вымолвила:

— Тебе как раз тут ближе к дому. Прямо пройдешь на набережную к Золотухе. Не надо провожать. Ты, наверное, и так устал: целый день бродим. Меня проводит Верхнераменский. Это ему наказанье: не попадайся на глаза!

Мещерин оторопел. Обида разлилась по его лицу, словно его осветили красным фонарем. Верхнераменский в рассеянности не простился с Васей, будто взвигнул от удовольствия, храбро поддел злакомый калачик Клавдиной руки и застучал высокими каблуками по мостовой.

Мещерин почти побежал прочь. Ярость проснулась и зашумевала в сердце. Так же бегом он повернул вдогонку. Он приготовился. Он решил бесповоротно порвать всякие отно-

шения со своей оскорбительницей. Вася должен был нагнать ее и сказать:

— Я вас не знал и не хочу больше знать!

Всякое „ты“ долой! Только „вы“. Никаких оправданий! Никаких объяснений! Верхнераменский сильнее. Он мог броситься на него. Но все равно: Вася не уступит...

Мещерин, однако, опоздал. Ему ревниво пришлое наблюдать в освещенном и не задернутом шторой окне Клавдиной квартиры веселого, что-то рассказывающего Верхнераменского. Около него стояли Клавдия, брат ее и два незнакомых студента. Клавдия смотрела на Верхнераменского такими пожирающими глазами, как будто очень давно не видела его и была счастлива стоять с ним рядом.

Мещерин не спал до утра: в путаном воображении его проходили самые несообразные картины. То он женился на Клавде, то он хоронил ее и произносил у могилы речь, то Клавдия умоляла простить ее, и он отталкивал ее дрожащие руки, то он делался великим писателем, революционером, главнокомандующим революционными армиями, брал приступом Зимний дворец, казнил Николая Второго, ехал по улицам впереди войск, над ним колыхались сотни красных знамен, отовсюду крики: „Мещерин, Мещерин!“ — а она стояла в толпе рядом с замухрышкой Верхнераменским... И оба они были замухрышками. Клавдия плакала от своей ошибки... Но было уже поздно. Другая женщина поджидала его... И равной ей не было во всей России...

Вася проспал дежурство. Петелькин с бранью встретил его:

— Сволочь ты! Знаешь, что в ночную смену не сладко работать, а заставил меня продежурить лишних два часа! Я в следующий раз брошу аппарат! Как хочешь!

Мещерин решил ничего не говорить Клавде при встрече первым, а когда она начнет оправдываться, тогда-то и потешиться над ней.

Встретились в очередную среду, Клавдия поздоровалась

с ним, как со всеми, села рядом с Анной Яковлевной и ни разу во весь вечер не взглянула на него.

Такое поведение Клавди было полнейшей неожиданностью. Все заготовленные для объяснения слова мгновенно исчезли. Смузенным и взволнованным оказался Вася, а девушка, находясь возле обиженного ю человека, решительно не чувствовала никакого неудобства. Как будто она даже и не помнила об этом.

Вася плохо владел собою. Клавдя неотразимо ввлекла. Он не сводил с нее восхищенных глаз.

В следующую встречу девушка независимо подошла к нему и сказала:

— Товарищ Мещерин, собирайтесь меня провожать! Будет дуться! Долой!

— Долой! — счастливо засмеялся от нежности к девушке Вася.

На Подзорной улице у какого-то развалившегося амбара стояла скамейка. Похолодало. Нависали, как тяжелые черные балдахины, дождевые тучи. Осенний ветер подметал небо. Заодно он смахнул и луну.

— Вот я кладу тебе на плечо мою голову, — шепотом сказала Клавдя. — Я к тебе пододвинулась совсем близко, потому что мне холодно... Ты что должен делать?

Мещерин ответил также шепотом:

— Я взял твои руки, подышал на них. Они начали согреваться.

— И это все?

— Нет, не все!

— Этого мало.

— Я знаю.

— А что дальше?

— А дальше вот что...

Мещерин осторожно склонился к Клавде, приблизил губы к губам и чуть коснулся.

— Ты не ошибся! — засмеялась Клавдя и сразу же строго

встала, оправила волосы и не захотела, чтобы Вася довел ее до дома.

— Нет, нет, я одна... Прощай. Пойдем каждый сам по себе и будем думать...

Мещерин послушно отстал, следя на месте, как Клавдия, опустив голову, не торопясь удалялась от него в плотную и черную ночь улицы. Скоро он слышал неуверенные, скользящие шаги девушки.

Вася выкурил несколько папирос; они сгорали стремительно и никак не насыщали. Он простоял на скамейке долго и радостно, покуда сверху Поздорной улицы не услыхал пьяную песню какой-то идущейочной компании.

Кружки... книги... собрания... встречи... На телеграф — сколько останется... Выгнали сначала Соломкина и Коровина. Они пропускали дежурства. Тяжелее всех пришлось Мещерину: он не посмел сказать отцу, не посмел снять картуз с желтым кантом.

И так — десять месяцев. Вася в форме уходил как будто на службу. Возвращался и переодевался. Но в служебное время нельзя ходить по городу, когда работа приходилась на день. Федор Степанович на улицах редок. Но бывал. Вася нашел пристанище: городская библиотека. За десять месяцев подневольного чтения Мещерин перерыл все библиотечные шкафы и полки. В почные дежурства давали приют товарищи.

Зима. Шапка. Мороз. Поднятый воротник. Как будто кто-то закричал, догоняя по Козлёнке. Да, это так.

Николай Павлович почти бежал по обледенелым мосткам. Он, конечно, не испытывал холода. Непривычно небрежен костюм. Шуба расстегнута. Выбился и повис длинным ухом шарф. Уханку перекосило набок. Так надевают люди вещи наспех.

— Вася, да знаешь ли ты, что в Петербурге настоящая революция! — воскликнул он перехватывающимся от волнения голосом.

Он кричал, забыв о проходящей мимо и прислушивавшейся подозрительно публике. Мещерин заметил в глазах Николая Павловича слезы. Житинцы всегда сторонились ребят на улице. Теперь он обнял Васю, и так, обнявшись, они пошли.

Это были гапоновские яицарские дни тысяча девятьсот пятого года.

Вася взглядался в Николая Павловича и не узнавал его. Не узнавал Анну Яковлевну, Петра, Сидора, Егора...

Как-то внезапно прекратились собрания по средам. Вася испытывал настоящую ревность. Ссыльные точно изменили кружковцам. Вася никогда не заставал дома Николая Павловича и Анну Яковлевну.

— Некогда, Вася, некогда, — серьезно говорил Житинцын. — Теперь надо работать так, как будто бы мы до сей поры никогда не работали и за нами накопился большой долг.

Вскоре Вася понял, что кружки телеграфистов и учащейся молодежи были только маленьким, незначительным делом для ссыльных.

Главное — на Кобылке, в железнодорожных мастерских, на кожевенных и мыловаренных заводах, на подгородных писчебумажных фабриках, на стеклянном Устьинском заводе, в солдатских казармах. Везде, где рабочие, где темны и подслеповаты окна рабочих бараков, где окраинное захолустье притаилось в маленьких жалких флигелишках, где грязь и бедность и несдерживаемый гнев против чистой городской половины, против хозяев, против лохотеной и бездельной и разряженной орды заводчиков, фабрикантов, их наймитов и угнетателей трудящихся.

Железнодорожники, пекаря, приказчики, кожевенники, бумагники, наборщики, солдаты — оттеснены говорливые и мечтательные кружки гимназистов, реалистов, кружки между прочим, в безвременье...

Дело нашлось и Васе.

Месяц за месяцем Вася посыпался по городу с собрания на

собрание, распространял листки на Кобылке, на водочном заводе, среди солдат, в городе, собирая кружки рабочих по затаенным зареческим и фрязиновским углам, проводил туда ссыльных агитаторов и пропагандистов. Вася не умел и не мог вести кружки сам: он мало знал. Он был способен, однако, помогать. Его называли „организатором“. Он с гордостью носил это звание.

Жизнь изменялась и преображалась. Вася не заметил, что отец выбрался из бедных городских трущоб. Он перешел на службу буфетчиком к первогильдейному купцу Межакову. На Козлёнке, недалеко от Николая Павловича, Федор Степанович снял большую квартиру. Из нее вела лестница в мезонин. И там были две просторных комнаты, направо и налево. Тогда же приехал брат Шурка. Он устроился помощником машиниста на Ярославско-Архангельскую линию. Шурка водил поезда... У братьев было по комнате.

Как удобно жить!

В ресторане первого разряда купцы, инженеры, помещики пили до трех часов ночи. Папа приходил в четвертом, на рассвете.

Прямо из крыльца еще одна лестница: в мезонин. Отцу некогда проверять: он уходит и приходит, когда Вася спит. Теперь к нему могли приходить рабочие, ссыльные, Клавдя...

В мезонине, в выдолбленном бревнышке стены Вася хранил белые пироксилиновые шашки. В печном трубаке вложен ящик — там замурованы пужные книги. В мезонине глухо. За городом, за Турундаевскими мельницами, товарищ Егор обучал стрельбе из маузеров и браунингов. Обучение продолжал в одиночку. Прямо в стену из браунига.

Жизнь причудливо заполнилась. Васе порою казалось, что только одно почетно и завидно положение в жизни — это отдать всего себя революции, походить на Николая Павловича, на Егора, стать профессионалом-революционером, потерять свое настоящее имя, уйти из дома, скрыться в подполье и служить там великому делу освобождения...

Клавдя сидела на коленях — это после кружков и собраний. Не зажигали огня. Целовались безмолвно. Бормотали стихи. И ни разу не сказали „поблю“. Без объяснений. Было стыдно, когда случайно загибался краешек юбки Клавди. Оправлял его незаметно, как будто спимал соринку с любимой. Чистые, прекрасные чувства!

Жизнь смелела. Клавдя перешла в шестой класс. Она за-видовала уезжающим в Петербург на курсы восьмиклассницам.

— Учиться! Учиться! Учиться!

Вот когда захотелось все понять, все узнать. А главное, захотелось избежать всякой отцовской опеки.

Вологда стала тесна, как флигель на Кобыльке.

Вася отчетливо не представлял, что он будет делать, оказавшись на свободе. Но ему во что бы то ни стало нужна свобода, нужен огромный город, нужна столица...

Федор Степанович был потрясен: синий студенческий окольыш, синяя шинель с золотыми орлами — это же лучше то-ненького желтого кантика на картузе и тужурке телеграфиста.

Не удержали любовь к Клавде и печаль расставания: почта уничтожала дали. И почта и портреты. Кабинетные, на открытках и один увеличенный, в рамке из ракушек.

Федор Степанович отпустил. Накануне отъезда Соломкина и Мещерина на Бесовом ручье жгли костер, пели громогласно и с яростью революционные песни, грозили кулаками в тьму ночи, подозревая под всякой тьмой врагов.

Мещерин и Клавдя уходили во мглу, подальше от костра, и стоя целовались. Верхнераменский нарочно заболел в этот день и не пришел к пристани, откуда на лодке отправлялись к Бесовому ручью справлять мещеринскую отвальню.

ПЕТЕРБУРГ

Рыжеватый пиджак в клетку. Ёхматая грива. Лицо в рябинах. Он смотрел глубоко исподлобья, точно из подворотни.

— Чем русский народ силён?

Огромная аудитория на Съезжинской улице замерла.

— Духом! — крикнул профессор-зырянин Каллистрат Яков.

Философ и математик с общеобразовательных курсов А. С. Черняева, подготовявших несколько сот недоучек и недорослей за полный курс гимназий и реальных, ожидал совсем другого ответа от слушателей, задавая такой глубоко-мысленный вопрос.

Лекции профессоров и преподавателей часто прерывались рукоплесканиями при малейшем, даже весьма отдаленном намеке на революцию.

А тут аудитория очень весело и подвижно шевельнулась, кой-где зашелестел осторожный смешок, только на первых скамейках поклонники чудаковатого лектора начали тяжело и настойчиво отбивать ладони.

— Духом! — воскликнул Каллистрат Фаллалеевич и пошел и пошел чесать о народе-богопосце, о русских безднах, о русском нутре...

Яков был в поту и краске. Грива его, точно у женщины,

моющей голову, почти закрывала лицо, он ее небрежно отбрасывал за уши, она опять налезала, над головой то-и-дело, как два ветвистых рога, вставали высоко вздымаемые профессорские пятерни.

Аудитория загремела, когда Калистрат внезапно на полуслове прервал речь, взмахнул руками, словно собираясь леть под потолок, и в совершенном неистовстве завопил:

— А теперь исполним „Марсельезу“!..

Это было интереснее и нужнее, чем путаная „пророческая“ речь, отнявшая полтора часа.

Того же Калистрата Фаллалеевича Мещерин увидел через три года в Вологде на палубе парохода, готового отплыть с минуты на минуту. Профессор каждое лето навещал родные места области Коми. Черненький грибач был в высоком цилиндре, в крылатке николаевского времени, на коленях он держал огромную гармонию-трехрядку.

Мещерин выпучил глаза вместе со многими улыбавшимися на гармониста подъми, прикованными к чудаческой его фигуре.

После третьего свистка пароходик дрогнул, защуровал... Тогда Калистрат Фаллалеевич встрепенулся, поспешил закинул ногу за ногу и рванул трехрядку. Профессор вдохновенно запел вальс „Дунайские волны“...

Пристань весело и неутомимо хохотала. Ухмыляясь, держась боком к потешному пассажиру, капитан в белом ките, словно пляшучи, повел судно.

И ботаник, и физик, и учитель словесности, и даже зеконописатель, отличаясь во многом от Калистрата Фаллалеевича, оказывались бессильными перед жизнью. Коридоры были полнее аудиторий. Слушатели собирались на курсах больше для встреч друг с другом, чем для занятий.

Рояль в курилке никогда не закрывался. Около инструмента один хор сменялся другим. Сизый табачный воздух никак не могли выкачать два электрических вентилятора.

— Товарищи! — беспомощно взывал суетливый Черняев,

едва пробираясь из набитого слушателями коридора. — Товарищи, перестаньте! Вы мешаете заниматься! Это совершенно же невозможно! Наконец, вы не бережете курсы! Меня же закроют! — плачущим голосом просил Черняев. — Меня через день вызывают в градопочальство! Мне грозят! Кто, кто посмел открыть форточку! — выходил из себя он. — Какой безумец?! Что, он не понимает! Революционные песни пока на улицах нельзя петь! Это вам не „Ой, полны-полна коробушка“! Товарищи, достаточно! Митинги по воскресеньям, только по воскресеньям, вне запятой! Я прошу вас! Я не хочу вас стеснять, но я вынужден!..

Черняев гнал слушателей по аудиториям.

— Что у меня тут — клуб или театральная курилка? — раздавался его надгребнутый, усталый голос. — Идите заниматься! Сейчас же идите! Дяди! Бородачи! Вам и совсем стыдно вести себя, как школьникам! — это он напускался на великовозрастных слушателей. — Я терплю, терплю — и отменю лекционную систему! Я вам университет устроил! У меня лучшие лекторы, лучшие профессора, зачеты... А вам нужны экзамены, двойки, уроки вам нужны, палка над вами нужна! Я всем проверку устрою! Я всех малоуспешных — за борт...

„Лучшие лекторы и профессора“ занимались под шум и шарканье подошв в коридорах, под звуки рояля и несмолкаемое хоровое пение. Иногда ничего не было слышно.

Мещерин хотел успеть и тут и там.

Величественна и прекрасна громоздившаяся все выше и выше революция. От нее нельзя заткнуть уши ватой! Нельзя опустить шторы и загородиться от испепеляющего света! Нельзя не видеть, не слышать, не осязать, не чувствовать, не любоваться и не гореть вместе с нею!

Шаги на улицу — и ты уже не можешь не почувствовать ее торжественной и грозной поступи.

Газеты — нарасхват. Конные и пешие пикеты казаков, городовых, пехотинцев рассеяны повсюду — от захолустий до

площадей. Где-то неурочно кричит фабричный гудок. Рельсы конок блестят вдали. На остановках ждут.

— Кажется, конка встала... — кто-то сказал и прошел мимо.

Но нет, зон одна показалась на Биржевом мосту. Знакомые клячи, громыхая неуклюжим ящиком, трусят по Кронверкскому. Как на пожарных дорогах, пабатно звенит колокол вожатого. Конка бежит, не останавливаясь.

— Посадки не будет! Депутаты едут! В парк! Только после митинга там будет известно, когда пойдет конка!

Внутри конки с десяток кондукторов, едущих куда-то в парк на митинг.

Мещерин, однако, думал: какая бы ни происходила революция, оставались геометрические и тригонометрические формулы, непоколебима алгебра — и непрерывные дроби, и бином Ньютона, и логарифмы, и действуют физические законы Ньютона и Гей-Люссака, и Бойля-Мариотта, и тысячи всяких крупин человеческого знания. Без них аттестат зрелости Мещерин мог украсть или написать сам, сняв копию с аттестата счастливого соседа.

Петре Соломкину и Мещерину отцы и матери присыпали по двадцать пять рублей в месяц. Товарищи сняли на Церковной улице комнату в одно окно.

Здесь на маленьком столе — общие книги. Они с загнутыми краями, облиты чаем, прокурены и прожжены отскочившим фосфором спичек.

Книги открывали в первые две недели. Потом их швырнули на пыльное окно. Тригонометрия, алгебра, физика — все гимназические науки онемели. Они показались несвоевременными.

Соломкин и Мещерин стали завсегдатаями курилки, коридоров. Там жизнь... Они только пренебрежительно заглядывали в стеклянные двери аудиторий на малые кучки кропотливо и усердно склоненных товарищей. Цифры, корни, чертежи на черных досках, исполосованных мелом, предста-

влялись им просто странными и никому не нужными знаками скучной и устарелой забавы.

И дни, и вечера, и почти были заняты другим. Мещерин исшагал Петербург. Университет, Технологический, Галерная гавань, Парусская застава, районные клубы на Васильевском острове, на Петербургской...

Там множество возбужденных, с блестящими глазами людей, духота, давка и... счастье.

Мещерин чувствовал себя день ото дня все богаче и богаче. Он столько понял и узнал в какие-нибудь недели митингов, что порой ему представлялось — больше и знать нечего. Как будто до того он не умел ненавидеть врага, не распознавал его, всем и всему слепо верил. И только теперь насторожился, как часовой на посту, насторожился к каждому шороху и шепоту.

В Мещерине жило не проходящее ликование: революция открывала безмерно счастливые и благополучные дали, всё впереди было сверкающим, солнечным...

Мещерин заменил слово „жизнь“ „будущим“. Во имя этого мечтательного будущего и можно было жить. Все в прошлом предстало гнилым и жалким. Прошлое напоминало прохудалый заброшенный мост, перекинутый когда-то очень давно через иссякнувшую реку.

Как неудержимо хотелось переделать весь мир! Но пока переделывали его, лежа на кроватях в тесной однооконной комнатушке, вскакивали с кроватей, не спали до рассвета и с мечтой засыпали. Читали, разыскивая всюду, социальные утопии, фантазировали сами... Вымыслы одолевали...

Сколько раз на разостланном листке писчей бумаги весь мир делался счастливым, щедро вознагражденным за все прошлые страдания.

Вася хотел быть чистым, бесконечно добрым, честным, геройским, умным...

Клавдия Орлова присыпала каждую неделю завистливые письма.. Мещерин отвечал на каждое двумя: одно продол-

жало другое, иначе пришлось бы посыпать заказными и сдавать на почту, так как исписанные листки не влезали в конверт.

Вася предохранял себя от неожиданностей. Марки покупались в тот же день, как отец присыпал деньги. К половине месяца наставало безденежье. Мещерин описывал каждый свой шаг, не считая за грех половину выдумать.

Мещерин мог считать себя уже студентом. Он дневал и почевал в университете. Огромное длинное здание кишело народом. Вася перебывал во всех малых и больших аудиториях: у большевиков, у меньшевиков, у эсеров, у апархистов. В актовом зале, на общих митингах, где в яростных боях сталкивались представители всех партий, Мещерин своеевременно пробирался к самой кафедре, сидел на подножке ее и почти с полу глядел на ораторов.

А этот замечательный стеклянный коридор, примыкающий к аудиториям! Вася промерил его: в нем триста восемьдесят четыре мещеринских шага.

— Абрам, Абрам! — вопил Мещерин, встречая маленького круглоголового студента-оратора с большими круглыми глазами.

Это был любимец тысяч. Его выход встречали неистовые рукоплескания и свистки. Его слушали жадно, притаясь, осторегаясь кашлять и шевелиться. Он говорил зло и резко, но как-то удивительно близко и понятно. Митинги, на которых Абрам не выступал, казались серыми.

Иваны, Семены, Петры, какие-то неведомые и таинственные люди, молодые, старые, пожилые, — все они, только в разной очереди, появлялись на трибунах и в университете, и в Технологическом, и в Горной академии, и в Лесном.

Это была вражеская артель, которая никак не могла примириться друг с другом; она беспокойно переезжала с места на место и на народе, на людях старалась разрешить спор. И тысячи слушавших людей становились врагами.

Трещали полы под тяжестью тысяч.

— Товарищи! — бессильно звонили в колокольчики распорядители, поворачиваясь к дверям, ведущим в коридор. — В зале нельзя дохнуть! Оставайтесь на местах! Товарищи, мы все подвергаемся страшной опасности: здание старое, полы могут не выдержать!

Никто не слушал. Люди безоглядно лезли вперед. Колossalная толпа все время раскачивалась, как чудовищный живой забор.

Мещерин порой переживал страх. Мгновенно угасало электричество.

— Товарищи! — пронзительно раздавался уверенный голос. — Митинг будет продолжаться при свечах. Они у нас наготове.

Зажигались свечи. пламя дрожало и колыхалось от дыхания ораторов.

— А ну, и посумерничаем! — весело воскликнул кто-то под общий смех.

— Товарищи, никакой паники! — предупреждали распорядители. — Среди собравшихся на митинг, конечно, есть сыщики и провокаторы. Не поддавайтесь им, если они выкинут какой-либо фортель. Они могут угрожать казаками, сделать провокационный выстрел. Полный порядок! И организация! Начнется паника, мы передушили и передавим друг друга. Бойтесь Ходынки! Это только на руку самодержавию!

Мещерин несколько раз был в панике.

Вдруг в коридоре начиналось страшное, грохочущее бегство.

— Казаки! — вопили провокаторы. — Полиция окружила здание! Все входы и выходы заняты! Спасайся!

Смятение проходило не скоро.

Однажды Мещерина вдавили в оконное стекло. Оно осыпалось и мелко поранило отталкивающие толпу руки.

— Пробокация! — гремел сильный голос Абрама. — Успокойтесь, товарищи! И пойдем дальше!

Сердце Васи билось тревожно и горделиво. Он делал вид, что ничего не боялся.

В коридорные окна Мещерин видел на университетском дворе спешившихся казаков. Они бездействовали, дожидаясь какого-то сигнала. Но сигнала не было. Казаки и пехота занимали дворы Академии наук, Таможни, Петровского гостиного двора, Гинекологической клиники. У ворог стояли пристава и офицеры.

Войска и полиция напряженно глядели на пылающие окна университета. В окна были видны густые скопища людей. Митинги шли точно под охраной.

Мещерин независимо проходил мимо скучающей стражи. Вася казалось, что его она боялась, как и тех митингующих тысяч, которые еще не успели разойтись из университета.

После одного позднего митинга Мещерин и Соломкин на пустом Биржевом мосту встретили дико скакавшего верхового казака. Товарищи дрогнули, взялись под руки и старались держаться ближе к перилам. Казак несся самой серединой мостового настила.

— Я вас! — гаркнул казак, поровнявшись с товарищами, сразу осадил коня, взвил нагайку, щелкнул и... вдруг захохотал, опять пускаясь в галоп.

Казак, видимо, хотел только напугать.

Соломкин посмотрел на Мещерина и пренебрежительно засмеялся:

— Васька, ты как меловой! А еще называешь себя революционером!

Но у Соломкина дрожала губа, словно он долго простоял на морозе и продрог. Вася изобразил эту дрожащую губу.

— Видишь, какой ты храбрец, — сказал он с торжеством. — Я не скрываюсь. У меня и сейчас жжет спину, точно на самом деле казак ударил.

Мещерин забегал на Черняевские курсы только в те вечера, когда он был свободен от митингов. На щите для объявлений висели какие-то понукающие к занятиям бумаги. Но кто же всерьез читал их? Они казались не стоящей внимания мелочью!

Главное приносили утренние газеты. С них начинался день. Дули с Финского залива ветра. С Петропавловской крепости стреляла пушка. Три, четыре, пять выстрелов... Нева выливалась на Кронверкский и отступала. Куранты императрицы Елизаветы Петровны уныло пели над Невой „Коль славен наш господь в Сионе...“ Стояли на постах городовые. Сновали люди... Шли молча, шли смеясь... Торговали магазины, базары. В вышине на флагштоках реяли привычные трехцветки. Посвистывая, носились через Неву финские пароходишки... Дождяло, как и во всякую петербургскую осень.

Все как будто двигалось обычно и устойчиво на века вперед. Императорская Россия могуче и величественно поклонилась в гранитных берегах Невы, царственно застыла Дворцовая набережная с дворцами трехсотлетних Романовых, непоколебимо колол небо шпиль Адмиралтейства, скакал конь Петра, Исаакий, как огромная коронационная шапка, возвышался над окнем. Самодержавие представлялось недолимой горой...

Не потому ли в бездействии занимали университетский окрест казаки и пехотинцы, что самодержавие было уверено в своих защитниках: оно могло позволить, могло и не позволить Мещерину и тысячам других собираться и разговаривать. Оно пока позволяло...

Так и говорил квартирный хозяин, чиновник таможни:

— Вы, молодцы хорошие, прислушайтесь к моему совету. В гущину митинга не залезайте, поближе к дверям! Придет случай и... улизнете первыми. А случай придет! Пока разрешают баловаться. Потом скажут: достаточно, натешились. Также у окошечек не стойте, а то плакать вашим родителям... Стеклышики в окошечках — дзинь-дзинь, а голова — с дыркой.

Мещерин чего-то напряженно ждал, как и все. В самом петербургском воздухе была какая-то тревожная тяжесть... Предгрозовая.

И вдруг сразу все начало валиться и падать. Гроза паднипулаась и заворчала. Голос ее крепнул.

Играли куранты на Петроцавловке, но перестали ходить конки. Троицкий мост весь в огнях, сняют в закате зеркала дворцовых окон, бегут лакированные кареты с шелковыми женщиными, с саповниками в андреевских лентах, в эполетах, в аксельбантах, по булочники перестали печь булки...

На Невском — мастеровщина. Вон у Казанского собора взлетела невиданная птица: крылатый красный флаг поднялся над толпой. Заскрипели ворота близлежащих домов. Показались конские морды. Всадники — уланы и казаки. Сверкнули, как серебряные хвостатые щуки, шашки. Щок. Скок. Красное знамя присело. Черная кучка людей исчезла. На улице пустота.

По птица только перелетела дальше. Она опять вынырнула, играючи, паря и дразня. У нее целый выводок. Итепцы вспархивают и сзади и спереди. Но Невскому, сминая все на своем пути, понеслась с разных сторон разгоряченная конница...

— Мы отрезаны! — крикнул Соломкин, вбежав запыхавшись в комнату утром.

Сегодня была очередь Соломкина покупить булки к чаю.

— Все дороги встали! Всеобщая железнодорожная забастовка! — сияя, вертаясь неуклюже вокруг стола, возглашал Соломкин. — Давай, живо собирайся! Бери свою булку! Да на улицу! Шора! На Невский! К вокзалу! Там, наверное, уже началось!..

Оба товарища не представляли себе, что должно было „печататься“, но это слово в последнее время повторялось каждым митинговым оратором.

Мещерин и Соломкин торопливо кинулись на Черниевские курсы.

Уже издали они замечали возле гремучих стеклянных дверей курсов наряд городовых с околоточными. Несколько знакомых слушателей стояло на дороге, не доходя до полицейских, и словно разглядывали какое-то небывалое чудо, преградившее им путь.

— Идите, товарищи, в большую аудиторию, — шепнул один. — Эти дураки запятали капеллярию, а большая аудитория свободна. Мы стережем здесь и направляем туда.

Мещерин никогда в жизни не видал сразу столько улыбавшихся от счастья лиц. По крайней мере сотни четырех слушателей находились в бесконечном движении, шумели, кричали, размахивали руками, пели и курили. Не пожалели верхней черной доски кафедры, провортели в ней дыру на самой середине и воткнули громадный флаг на палке. По бокам свисали еще два флага. Три ручки обломанных половых щеток послужили древками для первых красных знамен на Черняевских курсах.

— Мы с тобой разини! — сказал недовольно Соломкин. — Последними узнали о таком великом событии, как всеобщая забастовка! Смотри, давно все собрались!

По товарищи быстро наверстали пропущенное, влив свои голоса в общий счастливый гам.

Полиция пришла в большую аудиторию часа через три, когда здание было уже переполнено, забиты все лестницы и на улице, у входа, значительная толпа не попавших внутрь открыла свой митинг.

— Долой самодержавие! — одним общим воем встретила гостей взволнованная аудитория. — Да здравствует революция! Да здравствует всеобщая забастовка! Вон полицию! Вон! Долой!

Долго шли препирательства. Куда девался воинственный и гордый вид полиции! Иристав и околоточный призывали к спокойствию и порядку! Толпа отвечала смехом.

Вдруг выскочил на трибуну маленький человек в курточке. Спина и грудь его были в мелу. Должно быть, человечка долго терли о стены на лестнице, прежде чем он попал сюда.

— Обезоружить их! — гаркнул мальчиш. — Как они смеют входить сюда и мешать нам?!

Толпа радостно и весело захохотала. Руки потянулись к

полиции. Правда, больше из желания напугать и попробовать ее выжить, чем из действительного стремления обезоружить.

— Товарищи! Я предлагаю продолжать собрание! — крикнул другой человек с трибуны. — Полиция никак нам не повредит. Видимо, она хочет послушать. Мы не против! Пусть послушает!

Толпа разразилась рукоплесканиями.

Полиция не посмела... Пристав крикнул один раз:

— Объявляю собрание закрытым!

Он попытался с нарядом полицейских двинуться к трибуне. Но стоявшие плечо к плечу слушатели напоминали крепкую и непролазную заросль.

— Нолзите по головам! — панчелся Мещерин.

— А то, может, между ног пролезете? — крикнул кто-то.

Полицию выжили. Сначала нечез, угрожая, пристав, словно отправился за подмогой и распоряжениями в часть, потом незаметно увели половину полицейских, остальные сами разбрелись по лестницам и мирно расселись у входа на ступеньках, дымя цигарками, как мужики на деревенской завалинке.

Мещерин и Соломкин с компанией курсантов испастали в этот день весь Петербург и от изнеможения и усталости едва добрались до постели.

Манифест семнадцатого октября принес Мещерин. Тут уж было не до утренних булок! Едва Вася вышел за ворота, как он паткинулся на газетчика. Его окружала толпа женщин с корзинками и кошолками в руках. Газетчик брал на копейку дороже и орал на всю улицу:

— Манифест государя императора о свободах! Конец самодержавию! Равноправие! Товарищи, не рвите! Всем, всем хватит! Еще принесу!

Мещерин и Соломкин прильнули к манифесту. Как они ни были горды победой над самодержавием, но первоначальное очарование и восхищение быстро прошли, едва они вчитались в манифест.

— А, сволочи! — вознегодовал Мещерин. — Свобода, да не полная!

— С ужимками и оговорками! — добавил Соломкин.

На повсеместных вечерних митингах — товарищи побывали в трех-четырех местах — каждый почувствовал себя довольным и проницательным. Манифест семнадцатого октября никого не смог обмануть, его зло и беспощадно высмеивали повсюду.

Тем не менее на завтра назначены были манифестации.

— Товарищи! — согласно и единогласно бушевали ораторы с трибун. — Царь соблаговолил нас осчастливить свободами! Но мы уже и без него имеем их! Мы взяли их! Мы заставили этого палача подписать себе смертный приговор! Не верьте самодержавию! Оно притворяется! Оно вынуждено заигрывать с нами! Оно только ранено, но не побеждено! Оно одной рукой дает свободы, а другой подготовляется к нашему разгрому! Покажем ему нашу спаянность и организованность! На улицы! Ихской, все выйдут с песнями и флагами! Мы зальем улицы Петербурга сотнями тысяч! Мы не благодарить пойдем царя-батюшку, а мы пойдем с нашими революционными требованиями: Долой самодержавие! Долой подлую камарилью! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует вооруженное восстание! Мы должны добить врага! Нельзя он завтра содрогнуться от нашего единодушия и моци!

Часов около девяти утра Мещерин и Соломкин торопливо спустились с лестницы. На улицах была какая-то подчеркнутая тишина. Редкие пешеходы. Явио — товарищи. Другие петербуржцы словно нарочно спали сегодня дольше или просто не показывались. Не видать извозчиков. Улицы почти пусты. И эта пустота как-то особенно настораживала. Громады домов стояли в каком-то подозрительном затишье.

„Неужели кругом враги?“

— Просто трусы! — точно поняв по глазам Мещерина, о чем тот думал, внезапно сказал Соломкин, идя рядом и оглядывая молчаливые строения.

Серое, пейсное небо перед дождем. Синь, как закраины на озере в половодье. Ночью крапало. Легко прибитую шиль уже подсушивало.

Перед входом в университет беспокойно двигалась многотысячная толпа. Университет был закрыт. Но с балкона говорили попеременно несколько ораторов. Говорили краткие напутствия, прерываемые нетерпеливыми криками и рукоплесканиями.

Вдруг откуда-то взялись трое разносчиков с детскими шариками. Над головами разносчиков плыли и колыхались довольно обширные продолговатые, как виноградные гроздья, разноцветные кучки. Игрушку раскусили мгновенно. Покупатели их рвали друг у друга.

Тут и там над толпой затрепетали шары, как летучие фонарики. И кто-то дал сигнал. Почти внезапно, под громкие крики непонятной и неожиданной радости, шарики выпустили из рук.

Зеленые, голубые, красные, розовые колбаски, головки, кулаки всыпали над толпой. Они усыпали и точно расцветили октябрьскую серизну пеба. Толпа, совсем по-детски, как будто забыв обо всем другом, провожала спачала медленный, а потом все ускоряющийся отлет шаров.

Они поднялись, снесенные ветром на Неву, в необъятную глубину неба. Вот уже едва заметные пятнышки...

А когда толпа, словно высасывая из домов все новых и новых демонстрантов, становясь несметной, тихо и вперевалку вступала на Невский, — и там все небо оказалось в детских шариках.

Видимо, никогда еще так успешно не торговали продавцы дешевыми детскими шарами, как в этот день. Почему-то они полюбились сегодня взрослым — и бородачам, и старухам, и всем, кто, взявшись за руки, перегородил прямые и стройные проспекты императорской столицы. Впереди шествия, посреди многочисленных знамен, плыла целая гроздь связанных детских шаров.

Мещерин оглянулся от Казанского собора вниз — и сердце его замерло.

Во всю длину Невского дома и люди нераздельно слились. Насколько хватал глаз — головы, головы, шляпы, мужские, женские, с киверами, платки, кепки, картузы... Вои тут и там, как снежные хлопья, седые волосы. Вои резко выделяются головные уборы редких военных.

Вдвоем с Соломкиным они тащили тяжеленное знамя Васильеостровского района. Они изнемогали. Но не хотелось отдавать соседям, не хотелось смены, не хотелось признаваться в такие минуты в ничтожных человеческих слабостях. Какая могла быть усталость, когда им доверили огромное районное знамя! Они уже забыли, что знамя никто им не доверял, они почти выхватили его из рук каких-то потных и бледных людей, должно быть, несших его уже очень давно. Выхватили и присвоили, как собственность.

Мещерин и Соломкин почти побежали вперед со знаменем, чтобы снова занять место в головной колонне.

За Аничковым мостом, только спустились с него, произошла заминка. Мгновенно сотни кулаков поднялись в направлении наглухо запертого дома направо.

Тут же они поняли, почему поднялись кулаки. Во втором этаже дома у трех окон стояло несколько расфранченных дам. Некоторые из них разглядывали толпу в золотые лорнеты. Один старик, в сверкающей белизной сорочке, в черном сюртуке, ловко вскидывал на глаз монокль, стаскивал его и во весь рот презрительно усмехался. Груша военных была видна в глубине комнат.

Зеваки из богатого дома не выдержали написка ярости и негодования, исходившего от раскалявшейся толпы. Тяжелый бульжник грохочущие ударил в средний простенок. Людей за окнами точно сдуло. Толпа попала...

— К Технологическому! К Технологическому! — внезапно откуда-то сзади, как по солдатской обученной цепи, пришел чей-то приказ.

Толпа послушно свернула.

На Загородном проспекте Мещерин и Соломкин пролезли со своим знаменем в самый перед. Человек пятьсот-шестьсот, самое большое, шло выше.

— Солдаты! Цепь! — крикнул кто-то рядом.

Действительно, дальше открылся глазам как будто пустой тупик. Его преграждали две шеренги солдат в серых шинелях. С боков ходили офицеры.

— Полковник Мин! Командует полковник Мин! — как предостерегающий рокот, прокатилось по рядам.

Сзади, в неохватимой дали еще не кончалась толпа. Она напирала. Передние упорствовали.

— Товарищи! — старались прекратить начинавшееся замешательство наиболее находчивые и выдержаные добровольцы. Шествием никто не управлял и не распоряжался: двигалась стихия... — Товарищи! Стойте, стойте!

По кто-то уже вдали увидал кошных улан и казаков.

— Товарищи! Впереди Мин с солдатами! Сзади конница! Мы окружены!

— Товарищи! — кричал первый, залезая на фонарный столб, чтобы оратора могли видеть все и лучше слышать. Доброволец отчаянно махал одной рукой, призывая к порядку, а другой придерживался за столб, крепко обвив его ногами.

Мещерин и Соломкин, вытесненные наружу толпы с Загородного, стояли со знаменем прямо против серых солдатских рядов в ста шагах. Палево был пустырь за ветхим высоким забором, направо — широкая безлюдная улица с фонарем на углу и оратором на фонаре.

— Товарищи! Надо идти прямо! — требовал оратор. — Они не посмеют расстрелять нас! Они должны дать дорогу революционному народу! Мужайтесь! Мы сейчас потребуем открыть нам свободный путь! Это издевательство над нами!

Мещерин заметил, как тот, кого называли полковником Мином, неторопливо снянул с правой руки перчатку... и солдаты сразу взяли ружья к плечу.

Полковник Мин отступил от шеренги два шага в сторону. Мещерину изменило мужество. Вдруг ему показалось совершенно ненужным и бесполезным во что бы то ни стало идти прямо, когда солдаты нарочно были поставлены так, чтобы демонстрация свернула направо, в пустую и свободную улицу.

— Товарищи! — гаркнул он, визгливо срываюсь. — Туда, туда! — Вася наклонил знамя вправо. — Сюда можно!

Толпа с Загородного давила. Перекресток сгущался от народа. Головные знамена медленно, но сближались с солдатской цепью.

— Доска! — ударило непонятное слово в уши. — За забором солдаты! Засада!

Мещерин услышал треск и краешком глаза увидел, как из середины забора отвалилось несколько досок, в отверстие просунулись дула со штыками и... сразу рвануло, щелкнуло, запахло дымом... Человек с фонаря, крикнув, тронулся головой о мостовую...

Соломкин выпустил знамя. Мещерин без памяти оттолкнул его. Красная пола покрыла каких-то людей. Они выскоцили из-под нее. Древко задребезжало на панели точно расщепленное или лопнуло, как струна...

Жжж... Жжи... Один за другим два залпа. Мещерин побежал вдогонку за Соломкиным. Вася показалось, что пули летели, извиваясь змеями.

На Мещерине было легкое осеннее пальто с черным бархатным воротником. Освобожденные от знамени затекшие руки нашли применение. Мещерин желал укрыться от пуль. Он втянул голову в плечи, поднял свой воротнички, держался за него и бежал.

Мещерин вскочил в груду слегших на панель людей. Запнулся. Слезла одна калоша. Мгновенно Вася освободился от другой и оставил ее на дороге.

Морщась от неприятного чувства, но ничуть не жалея в этот момент, он тяжело ступил на чью-то тоненькую блед-

нюю женскую руку, откинувшуюся прямо ему под ноги, и точно раздавил ее, как детскую игрушку.

Мещерин искал спасения. Еще один залп прокатился вдоль улицы. Вася своротил к самым домам.

Он было кинулся в одни широко раскрытые двери... Вот оно, освобождение от страха!.. Кинул — и его отбросило.

В дверях стоял огромнейший детина в белой куртке и фартуке. Он замахнулся на Мещерина фарфоровым пузаном-чайником и едва-едва не угодил по голове... Чайник вырвался из рук и с хрястом разлетелся в мелкий белый сор. Мещерин попал в чайную „Союза русского народа“.

Спасение пришло через несколько страшных минут. У крайнего дома, стоявшего на канале, Мещерин прижался к стене. Соломкин выглядывал из-за угла и с глупым счастьем в глазах улыбался навстречу товарищу. Вася посмотрел назад: вдоль всей улицы валялись знамена, калоши, трости, шляпы, зонты и люди...

Была радость жизни в душе, когда товарищи, внезапно ощущая ничем не одолимую усталость, шли по каналу, еле-еле переставляя ноги. Даже, как будто вместе с ними сияя солнце вдруг обогрело землю.

Одновременно и Мещерин и Соломкин переживали омерзение и негодование.

А вскоре они почувствовали себя и стыдно и жалко. Из всех прилегающих уличек и переулков спешили помятые, потрепанные, красные, запыхавшиеся люди... Они испуганно оглядывались. Не узнавали местности.

Тогда кто-то и крикнул сзади Мещерина и Соломкина:

— Казаки! Стреляют!

Оба товарища дрогнули и побежали. Они остановились через квартал, не глядя друг на друга. Напрасная тревога! Над ними смеялись довольные прохожие.

Так, настороживаясь, слыша бьющееся сердца, отравленные любой и ненавистью, Мещерин и Соломкин добрались до Казанского собора.

Светило яркое вечернее солнце. Прошел весь день. Его не заметили. Словно он был самый короткий из дней. И тут в первый раз после обстрела засмеялись.

Товарищи на лету поймали слух: у Казанского собора должна была вновь собраться демонстрация.

Мещерин и Соломкин отдохнули под колоннадой собора. Здесь скапливались рассеянные остатки манифестантов.

— Черносотенцы, черносотенцы идут! — принес неожиданное известие какой-то молодой парень без шапки, с расстегнутым воротом, в теплой извозчикье жилетке, прибежавший сломя голову с Невского.

Кое-кто начал стремительно покидать колоннаду. Но никаких черносотенцев не было видно. По Невскому текла обычная людская толпа. Собирающиеся на новую демонстрацию с любопытством выжидали.

Соломкин решил защищаться. Он полез во внутренний карман своего старого пальтишки и неожиданно вынул огромный черный самодельный нож, привезенный из Вологды. Там щепали этим ножом лущину для растопки самовара и рубили, как косой, лопухи в огороде.

Некий человек, стоявший рядом с Мещериным и Соломкиным, в ужасе отпрянул, а вслед за ним шарахнулись десятки людей. Товарищи по-настоящему растерялись и обомлели: вокруг них образовалась пустота.

— Забрать их! — несмело сказал самый дальний зевака. — В полицию свести! Может, в мутной водичке рыбку ловят!..

Никто не тронулся с места. Но все с осторожной сдержанностью продолжали косить глаза на Соломкина и Мещерина, когда уже и нож был спрятан.

Никакой демонстрации они не дождались. Лениво и устало пошли. Но только спустились по лесенке из-под колоннады, как тот же человек опять высунулся из-за одной колонны и крикнул:

— Хулиганы!

Тогда уж Мещерин не мог удержать Соломкина. Петя рини-

тельно обнажил свое смешное оружие и нарочно заторопился к человеку. Тот, воня, прыснул под колоннаду. Народ начал разбегаться...

А назавтра генерал Трепов усеял все заборы и углы домов коротеньким объявлением: „Патронов не жалеть!“ Объявление собирало возмущенные толпы обманутых людей.

Вскоре шебуевский журнал „Пулемет“, перепечатавший это объявление и наложивший на него кровавую лапу, заменил открытки писателей, висевшие над кроватью Мещерина.

Митинги начали остывать. Становилось малолюднее...

„Известия Совета рабочих депутатов“ передавались из-под полы. Закрывались и возникали вновь газеты. Черная сотня громила Россию. Университет заперли. Надвигалась унылая осень... Зимой вспыхнула вторая всеобщая забастовка — и не удалась. Московское вооруженное восстание. Петербург отстал.

На Черняевских курсах обездылю. Бывали дни, когда рояль отыхал. Он, как в октябре, ожидал декабрьское восстание. Слухи, слухи, слухи...

И вот пришел страшный день разгрома. Уныние...

Мещерин слонялся на курсах. Людей в аудиториях прибавилось. Но какая скуча брать в руки мел и стоять у доски, решать алгебраические задачи, вычерчивать геометрические фигуры! Стоять у доски, почти упираясь в потолок, в низеньких черняевских классах... А главное — все это второстепенно. А главное — революция. Ей надо отдать себя.

Петербург подавлял. Вася чувствовал, что он здесь мал и неприспособлен, он окружен здесь незнакомыми и как будто чужими людьми. В Вологде проще. Там свои. Там спас рядом с Николаем Павловичем и Анной Яковлевной. Мещерин будет там нужен и на месте.

Федору Степановичу легко было объяснить неудачный выезд: Черняевские курсы закрыли.

Новый, тысяча девятьсот шестой год праздновали у Николая Павловича на Козлёне.

В ГРОЗУ

Три года...

Мещерин их не заметил: как будто это было вчера.

Федор Степанович точно отступил за угол. Отцовская власть стала спорной.

Однажды ночью Федора Степановича подняли с кровати. Жандармы и городовые вошли в квартиру.

— Извините, Федор Степанович, — сказал жандармский офицер, завсегдатай межаковского ресторана, — в три часа мы с вами расстались, а в пять снова встреча... Служба...

Офицер нетвердо стоял на ногах.

— Которого же вам нужно? — спросил Федор Степанович. — У меня два сына: Александр и Василий.

— Последнего... Собственно, мы только поищем... Один обыск... Я полагаю, — многозначительно и вполголоса шепнул офицер на ухо Федору Степановичу, — тут недоразумение... Я не допускаю...

Жандармы и полиция поднялись в мезонин. Обыск был довольно благодушный. Скользили по вещам. Листовки и мелкие книжки Мещерин хранил внизу, в мякоти отцовского дивана. Там они благополучно и остались.

Федор Степанович проводил гостей и явился на расправу с сыном.

— Где ты тут, негодяй! — загремел его полный гнева голос.

Вася, дрожа, стоял у дверей с заложенным крючком. Отец дернул за скобу.

— Открой!

Федор Степанович в ярости начал ломиться в дверь.

— Это что еще за новости! Дармоед проклятый! На весь город позорит да в чужой квартире распоряжается! Отца не пускает! Слышишь?!

Брат и мама толклись около отца и старались его успокоить.

— Федя, — плакала мама, — ну, пойдем спать! Завтра поговоришь!

— Папа, это, может быть, по ошибке к нему пришли! — заступился Шурка. — Вчера у одного машиниста тоже был такой же обыск. Весь город обыскивают.

— Молчите вы, тюлени! — завопил Федор Степанович. — Нашлись заступники! Кошка знает, чье мясо съела! Я ему сейчас покажу, как не своим делом заниматься! Дерьмо такое — ре-во-лю-ци-он-е-ер! Отопрешь, мерзавец?

— Не отопру! — крикнул Вася. — Не смеешь меня бить!

— А-а! Ты уже так научился со мной разговаривать! — зарычал Федор Степанович.

Отец с такой силой сотрясал двери, что они начали поддаваться, крючок уже хлябал, ослабевая...

Вася заметался по комнате. Неустранимо подвигалось унижение, какого, казалось, нельзя было перенести.

Почти в беспамятстве Вася придвинул стол к дверям, швырнулся на стол тяжелое мягкое кресло, давя и опрокидывая чернильницу. Чернильная струя закапала на пол...

— Убью! — ревел в неистовстве Федор Степанович. — Я дожил до такого дня, когда последний шелопай, мое несчастье, ни во что своего отца не ставит!

Федор Степанович не хотел слышать никаких уговоров Шурки и жены, заглушал криком всякие объяснения Васи: он рвался, как разъяренный бык, к своей цели.

Вася не помнил, как очутился у него в руках браунинг,

вытащенный из-за плинтуса. Минуту он вертел его в руках. В какое-то мгновение Вася хотел защищаться от отцовского насилия. На миг мелькнула мысль застрелиться. Он внезапно, молниеносно представил себя лежащим и бездыханным — на зло и... на горе и на вечное раскаяние отцу... И сразу же пожалел себя. Даже из страха перед самим собой подумал: „А не открыть ли лучшие дверь — и пусть будет, что будет?“

Вместо всего этого Вася непроизвольно схитрил... Ему представилось, что никогда еще так оглушительно, словно залп из нескольких револьверов, не гремел в мезонине один выстрел из браунига.

— Вася! Вася! — отчаянно заплакала мать. — Пусти,пусти, зверь!

Мещерин обратил на себя нужное ему внимание. Мать с нечеловечески возросшей силой оттолкнула Федора Степановича. Тогда Вася, уже словно не владея голосом, не без хитрости заявил:

— Оставьте меня в покое! Я никому не позволю унижать мою человеческую личность. Я застрелюсь! Я не допущу над собой кулачной расправы! Уйдите... я вам говорю!..

Вася вынул обойму и опять ее вставил. Возле с оружием слышали за дверями.

— Федя! — молила мать. — Брось ты его, подлеца! Он не в своем уме.

— Открой! — как будто не сдавался отец. — Я... тебя... не трону!..

Вася пустился на последнюю хитрость.

— Шурка, — крикнул он, — передай моим товарищам, что отец меня вздумал избивать и я решил умереть, но не позволить над собой издеваться!.. Я стыжусь моего отца!

— Будь ты проклят, бешеный! — плопул отец за дверями и... отступил.

А когда все улеглось, Шурка осторожно прошептал в замочную скжину:

— Вася, отец ушел... Отопри...

— Может, подстерегает? — так же шепотом ответил тот.

— Нет, я ходил вниз проверять. Сначала плакал и задыхался. А теперь мама ему на сердце положила холодную тряпку. Лег. Спокойно лежит. Не встанет. Скоро уснет. Прощло...

Вася из осторожности все же не пустил Шурку в комнату: разговаривали они через порог.

— Ловкий ты номер выкинул! — одобрил брат.

— Я правда хотел щелкнуть.

— Брось передо мной-то играть в индейского петуха!

— Я не играю!

Шурка засмеялся.

— Мама мне велела взять у тебя револьвер. Она сама к тебе скоро придет. Подготовься.

И братья поладили.

— На тебе бульдошку, — весело сказал Вася, — у меня вальяется давно эта дрянь. Ты ей передай. А я спасу свой брауниг.

Мама явилась через полчаса, когда уснул папа или притворился спящим. Вася нарочно раскидался на кровати. Будто, измучившись от почных происшествий, он наконец не одолел усталости и заснул.

Мама чуть приоткрыла полуразломанную дверь, оставленную на крючке, прильнула к щели, в которую видна была Васину кровать, послушала дыхание умирающего сына и облегченно вздохнула. Вася услышал в Шуркиной комнате шопот, потом стук.

— Ой, выстрелит! — воскликнула мама.

Это она неловко уронила бульдошку на пол. Шурка засмеялся.

— Оставь у меня, — сказал он. — Я ему не отдам.

— Нет, я лучше его завернусь, — сказала мама, — дай вон газету... завернусь и спущу его в сортир. Вы еще, дураки, кого-нибудь застрелят или сами изуродуете себя...

Бульдог утонул... Федор Степанович не раз и не два гре-

мел в квартире, выходил из себя, беспуясь, стискивал кулаки и... совал их в карманы. Остротка подействовала.

Три года... Федор Степанович словно перестал беспокоиться о дальнейшей судьбе сына. Словно отец решил окончательно дать выгуляться Васе и не препятствовал ему в шатании по городу.

Вася с год служил инсцом в ломбарде, и столько же — статистиком в земской управе.

К грошевому жалованью отец добавлял карманные деньги.

— Только на книги, — хмуро говорил папа, давая их, — ни на что другое.

У Васи был уже большой книжный шкаф. Федор Степанович изредка поднимался без сына в мезонин, проверял шкаф и, довольно усмехаясь, шутил с мамой:

— Лоботрясит, а книг прибавляется! Может, перебродит дурь!.. Я ведь и сам до солдатчины был ухо! Дерзкий!.. Да ведь, Марьюшка, и время дерзкое. Не одним нам, отцам, печаль. Все отцы жалуются! Вон, говорят, у самого вице-губернатора сына-студента в Сибирь угнали! А дочь распутница, ходит в мужском платье и сама сапоги шьет! Не хочет учиться!

Кобылку постепенно, год от году, тверже, топтал испытанный жандармский сапог. Но все же Кобылка не та. Она сделалась более своевольной и смелой. Ее не затопчешь!

Те же люди. Те же — и другие. Они явно и открыто враждебны. В полицейские и жандармские разъезды летит мелкий и крупный булыжник. Быстро, как по невидимому сигналу, собирается толпа, окружает разъезд, отбивает арестованных пьяных, лезет под конские копыта, берется за узды и повода. Открыто пели революционные песни.

Темное, неладное здание бывшего ростовщика — кто-то пришел ночью и задушил хозяина — известно на всю Кобылку. Там заводская чайная и закусочная. Ее открыли в пятом. Она уцелела от всех нападок. Чайную окружала полиция, и... мастерские останавливались. Каравалы снимали. В чайной под-

польный клуб, рабочее правление, явки, встречи ссыльных с рабочими...

Мещерин был там своим. Он приходил туда даже с Клавдой, или она дожидалась его через улицу напротив.

— Клавдюшка! — кричал из окна Петрухин. — А мы твово молодда пынче и не отпустим! Закабалим! Он нам резолюцию пишет, а то больно мы сами-то грамотеи с изъяном. Подь суды! Мы тя чаем с кренделями напоим. У нас здесь под закрылиной, а то неровно на тебя досужий человек наскочит на лошадке!

Мещерин высовывался сзади и подавал знаки неходить. В каком бы Вася ни пребывал очаровании и восхищении от своих старых и веселых товарищей-рабочих, он малость стеснялся за них. В чайной грязь, как в „Светлорядской“ па черной половине. На столах груды пермяшлив раскиданных рыбьих и мясных костей, так их метлой время от времени смахивала прислука на пол в порядке оптовой уборки. Выметали грудой. В чайной табачный дым, как от костра с мокрым валежником: низкий, густой, плотный. За столом гвалт. В чайные стаканы льют водку из принесенных в карманах бутылок. Слова невоздержны и откровенны: Клавде они непривычны.

Вон несколько пар злых глаз: для них Клавдя только барышенка, да и сам Вася — неизвестно почему и для чего сиющий в чайной нерабочий парень. Шляпа. Интеллигент.

Мещерин ясно видел и знал, что на Кобылке он люб далеко не всем. С ним говорят, его слушают, но глаза товарищей порой неловко косят в сторону.

Николай Павлович и Анна Яковлевна не удивлялись па жалобы.

— Это пройдет. Это временно. Это старое наследие. До этого довели их. Всякий, кто почище, подозрителен... А пе барин ли? А пе чужак ли? Ведь он на заводе пе работает! Так же и мужики в деревне всякого взвешивают: пе за сохой — значит пе нахлебник ли, пе ему ли оброк плати?

Вася подсчитывал количество кружковцев.

— У меня тринадцать, — удовлетворенно говорил Вася своей возлюбленной. — Тринадцать кружков. А в них семьдесят два человека. Я, понимаешь, неплохой организатор...

Мещерин мечтал быть пропагандистом, как Николай Павлович, Анна Яковлевна и недавно при邀анные из Москвы и Харькова в ссылку товарищи Сидор, Медяшкин и Дора Брукман.

У Доры Брукман Вася и оскалился.

В длинной и узкой комнате собралось человек двадцать кожевенников. Дора поручила организатору заменить ее. Мещерин струхнул. Но ведь это же являлось началом пропагандистской работы! Вася не пропускал ни одного заседания агитаторской и пропагандистской коллегий. Там он с жаждойностью прислушивался и узнавал, как надо было с большей пользой вести кружки и агитировать. На заседаниях отчетливо запоминались все нехитрые приемы, какими действовали товарищи. Вот бы сейчас перейти в соседнюю комнату и попробовать!

Попробовать пришлоось недели через две после собрания. Сколько раз Вася слышал разъяснения Николая Павловича о политическом и экономическом значении всеобщей забастовки! Об этом только и требовалось сегодня рассказать кожевенникам.

Вася откашлялся и начал смело. Прокочили первые заученные фразы. Прокочили гладко. Рабочие внимательно всредоточились. И вдруг точно из-под Мещерина выдернули стул, на котором он сидел... Запника... Вася повторил снова сканное. И еще раз.

Рабочие переглянулись и пошевелились. Мещерин всыхнул. Тогда он решил не глядеть на слушателей. Вася сознавал, что язык его плел чушь. Мещерин с болью и обидой прислушивался к перенонтиванию рабочих. Вася ни к селу, ни к городу приводил всяческие сравнения, прибаутки и поговорки. Значение всеобщей стачки было неуловимо, как

облака. Наконец Мещерин решил прекратить добровольное мучение, осекся и замолчал.

Кожевенники откровенно улыбались. Они как будто на всегда потеряли уважение к незадачливому учителю.

— Ты, Вася, — сказал пожилой рабочий Пивоваров, — лучше нам книжку почитай. Ты по книжке. Складнее выйдет.

— И язык меньше устанет, — поддакнул насмешливо другой.

— Гляди, ровно сорок верст отшагал — пот-то с тебя льет, хоть рубаху выжимай, — сочувственно добавил третий кожевенник, обнимая Васю за спину, — и лицо раскраснелось, ровно девка любимого парня повстречала, где не надо...

Пришла Дора Брукман и выручила.

— Мы тут хорошо поговорили, — не удержался от шутки Пивоваров, — всё быг слушали да глядели на Васю... Мы на него, а он того пуще на нас.

Мещерин уже успел шепнуть Доре:

— Я провалился...

Дора Брукман, слегка картавя, сразу зажигаясь, знакомо и уверенно и быстро овладела вниманием кожевенников.

Сердце у Мещерина неприятно ныло, но он заслушался Дору и отвлекся от своей неудачи.

По если трудно стать агитатором и пропагандистом, это может не всякий, — могут те, кто не боится смотреть в глаза слушателям и никогда ни от чего не смущается, — то неизвестно еще, кто больше приносит пользы — организатор или ораторы?

Года через два работы Мещерин недосчитывался многих из кружковцев гимназистов и гимназисток.

Правда, появились новые.

На загородных массовках неожиданно заговорили приказчики, портные, мыловары, кожевенники. Вася с легкой завистью к вчерашним безмолвным кружковцам и со страхом за них, ожидая провала от выступлений, следил, как они один за другим поднимались на ораторское место и подолгу,

нескладно размахивая руками, однако горячо и сильно ораторствовали.

Вася казалось, что он больше знал, больше думал, но он никак не мог пойти таких ловких, кстати и убедительных слов, какие, словно из богатого лукошка, полными горстями сыпали новые агитаторы.

Мещерин не расставался с заветным желанием выступать. И никак не решался. Толпа смотрела во все глаза и свяzymala.

На бумажную фабрику „Сокол“ под Вологдой протянулась тоненькая, неверная ниточка организации. Васю послали связать питочку крепче. Вдвоем с товарищем, портным, Мещерин приехал туда. Вася считался „главным“.

Недалеко от фабрики, в лощинке, в обеденное время, когда бумажники шли в соседний поселок, где они жили, решено было их встретить и устроить летучий митинг.

Пока никого не было, Мещерин свободно и независимо ходил по лужку. Но вот начал накапливаться народ.

— Пора! Начинай! — прошептал портной.

Мещерин быстро-быстро пошел, словно не мог остановиться, скоро запутался, понял, что он произносил пустые и малопонятные слова, и окончательно смешался.

Портной оттолкнул Васю. И портного стали слушать и рукоплескать ему.

Мещерин не во-время и некстати принялся ожесточенно разбрасывать прокламации.

На вечернем маленьком собрании в поселке, перед пятьюшестью людьми, на квартире рабочего, с которым связалась организация, Вася выправился, вел себя как „главный“, к нему даже прислушивался сам оратор-портной.

Это немного успокоило от боли за косноязычие „перед массами“.

Мещерину казалось, что он жил такой же таинственной жизнью, как и все настоящие революционеры. Вася был поглощен своей работой. Все его поступки непосредственно

связывались с нею. Бывал ли Мещерин в театре, в цирке, на улице, на ярмарке, на гуляниях в летних садах, на катке,— везде, на каждом шагу он с удовлетворением чувствовал себя революционером.

Мещерин мнил себя бесстрашным. Он будто бы был готов на любое дело, которое ему поручит организация.

В канун одного из летних праздников, после всепочной в соборе, по городу разбрелись шайки черносотенцев. Всё больше расходясь, они были казавшихся им подозрительными отдельных пешеходов в шляпах и кепках, сожгли народный дом, где часто бывали всякие открытые собрания, лекции и концерты, разгромили несколько еврейских лавочек и растаскали их содержимое...

Кобылка взъерошилась. Возникла рабочая дружина с охотничими ружьями, с вытащенным из подполья браушигами и редкими маузерами. Мещерин оказался среди дружинников.

— Разогнать эту сволочь! — закричали на углах и перекрестках Кобылки. — Дать отпор, покуда они не разыгрались во-всю! Покуда полиция только присматривается и не помогает! Ждут почи!..

Мещерин испытывал странное возбуждение. Никогда раньше он не переживал ничего подобного. Было жутко и в то же время увлекательно. Вася невольно говорил с дрожью в голосе, задыхался, беспокойно суетился. С некоторой неловкостью он наблюдал за своими дрожавшими руками.

На квартире у Николая Павловича собрались Медяшкин, Дора Брукман, Егор и Сидор. Петя Соломкин и Мещерин, по просьбе Житиницыча, срочно собрали их.

Мещерин неприязненно думал о себе как о трусе, который, должно быть, храбрился, пока не было опасности, но едва она наступила — он сделался сам не свой. Все эти мысли пришли ему при виде Николая Павловича и Егора и Медяшкина.

Состояние товарищей ничем не отличалось от обычного. Они вели себя совершенно спокойно, как будто в городе

не было черносотенцев и те никому не угрожали. Вася показалось, что он заметил только небольшое волнение у Сидора и у Доры Брукман. И это точно облегчило и оправдало его собственные переживания.

Николай Павлович просто и коротенько сделал ряд предложений по борьбе с погромщиками, быстро и находчиво набросал небольшую прокламацию, как ни в чем не бывало шутил и смеялся при случае и вообще ничем не нарушил привычного образа жизни.

Когда Петя Соломкин жадно схватил листовку, чтобы сейчас же умчаться печатать ее на гектографе, Николай Павлович предупредительно остановил его.

— Не спеши, — сказал Житиницын, — а то размажешь. Чернила еще не засохли. Успеем, Петя.

Анина Яковлевна опоздала на собрание.

— Мы, Аниушка, все без тебя обстригали, — встретил ее Николай Павлович. — Я думаю, ты не будешь возражать против отпора „Союзу русского народа“ всеми нашими маленькими средствами — и моральными и физическими? Ребята на Кобылке связались с нами раньше, чем закипело у них в сердце. Движение вполне организовано. Пускай черная сотня встретит сопротивление рабочих. Это ее малость одернет и в настоящем и предупредит на будущее время.

Мещерин с завистью и с удивлением любовался Николаем Павловичем. Вася пристально всматривался в него и все проверял, не скрывается ли Житиницын, не старается ли он под внешним спокойствием утаить подлинные свои чувства...

Но Мещерину пришлось признать, что Николай Павлович был решительно неуловим, ни в каком притворстве его нельзя было уличить.

— Вот и хорошо, — ответила Анина Яковлевна. — Я бы, полагаю, не заспорила, но все же малость затянула заседание.

— Онаездывай чаще, — вставил шутливо Медяшкин, — мы без тебя будем управляться скорее.

— Слушайте! — ехкинул неожиданно Сидор, взглянув на часы. — А времени-то сколько, ай-ай!.. Мы же опоздали к обеду. Наша хозяйка и пережарит и последними словами нас выругает... Пора, товарищи!

Мещерин знал, что ссыльные столовались в одной квартире на Железнцах. Он бывал там. Некая хозяйка-повариха Наталья Ивановна, промышлявшая домашними обедами, красная, вся в каком-то маслянистом лоске от плототы, с почти заплывшими от жира глазками, любила порядок, гордилась своим искусством и требовала совершенно безупречной аккуратности от пахлевников.

— Ох, что мы наделали! — засмеялся Николай Павлович. — Наталья Ивановна нас съест... вместе с революцией. У поварихи подгорает, а мы тут заседаем!

Ссыльные заторопились. Вася невольно и молчаливо осудил эти маленькие заботы о каком-то заурядном обеде. Должно быть, по выражению лица Мещерина Николай Павлович понял это.

— Что, брат, Вася, — подразинил Житиницын, — у тебя в голове, наверное, одни возвышенные мысли, а тут о каше говорят... Ничего! И то и это нужно. Не мешает и тебе заправиться. Ты когда обедаешь? — вдруг с теплой внимательностью и совершенно серьезно спросил Николай Павлович.

— Всяко, — застеснялся Мещерин, которому вопрос представился неуместным и почти чудовищным своей ничтожностью.

— Ну, это совсем плохо, — громко протянул Николай Павлович. — Аниушка, пробери нашего организатора железнодорожного района и наставь его уму-разуму, чтобы он всегда обедал в определенное время, а то он раньше срока испортит себе желудок.

Анина Яковлевна, уже на ходу, улыбаясь, ласково отшучилась.

— Ты главное и нужное сказал, — сделала она притворно-внимательные и словно озабоченные глаза. — Мещерин, пом-

ни — хороший желудок далеко не пустяки, и он весьма и весьма необходим даже революционеру...

Вася не до конца понял своих руководителей. В сознании его осталось непримиримое чувство, не позволявшее ему объединить в целое и возвыщенное и низменное, а особенно почти уравнять их между собой.

Мещерин сомневался и старался побороть пренебрежение к ссыльным, вдруг заслонившее перед ним, как непроницаемой стеной, все другие переживания.

Кобылка встретилась с черной сотней на бульварах. Вдруг Вася пережил самую неприкрытую трусость. Редкие фонари вдоль бульваров плохо светили. Две черные кучи людей склонились медленно... Мещерин внезапно очутился позади всех. Сердце дрожало, как лист на рывучем ветру. Точно Васю надо было подталкивать вперед, а то ноги упирались сами. Мещерин на секунду подумал: а не спрятаться ли вог за эту толстую и непроницаемую березу? За ней не достанет пуля. За ней можно подождать — и выскочить после, когда всё решится и кончится.

— Ну-ко, товарищи, прибавим шагу! — сказал кто-то впереди. — Иди грудине! Пальцем разок! И непременно гнать их, негодяев, по бульвару!

Между Кобылкой и Васей образовался промежуток. Мещерина мгновенно охватило возмущение на себя за все колебания, и неоправдываемо представилось, что поведение его было низко и позорно.

Как будто кто-то ударил Васю по спине. Мещерин заторопился, влез в самую гущу Кобылки, стрелял в темноту, слышал визг пули противника, гнал его вместе с товарищами...

Была победа... Вася пил ее сладость, задыхаясь от восторженности, не мог наговориться, фантазировал, преувеличивал...

В возбуждении и бессонице он мерял нарочно крупными шагами свою мезонинную комнатушку всю ночь. Ему хотелось как можно скорее дождаться утра, встретить Клавдию, Сте-

шу Грибкову, даже Верхнераменского и рассказать им о торжественной встрече с черносотенцами.

На Васю насыпывали какие-то волны повышенно-радостных чувств. Он записал это в своем дневнике. Он попытался изобразить свои переживания в стихах. Он начал рассказ и... застрял на первых строчках.

— Ух, как страшно! — вздохнула и покраснела Клавдия. — Я бы убежала!

Мещерин притворно нахмурился и сказал:

— Бойцы должны быть бесстрашны...

— И ты ничего, совершенно ничего не боялся? — любопытствовала, не доверяя, Клавдия. — Так-таки без всякого чувства страха и бросился на черносотенцев?

Вася отвел свои глаза и, подумав, ответил важно:

— Мне даже страшны такие вопросы... Я просто их не понимаю...

Вася синхронично улыбнулся, навел плечами и решился взглянуть на покоренное лицо Клавди. Но девушка звонко и скорбительно засмеялась.

— Так я тебе и поверю! — бросила она, прижимаясь крепко к его руке. — Сознайся, что соврал!

— Герой! — пренебрежительно поморщился Верхнераменский.

— Надо проверить, — совсем обидно вставила Стеша Грибкова, — был ли на самом деле Васька на бульваре.

— Эх-х! — покачал головой Мещерин. — Революционеры называетесь! В случае вооруженного восстания на вас нельзя надеяться! Убежите постыдно и трусливо!

В свою очередь обиделся Верхнераменский, заметивший сочувствие Васе со стороны задумавшейся Клавди.

— Мы это еще посмотрим! Кто хвастается, а кто... в себе держит! Мужество... настоящее... в некоторых людях живет... без огласки на всю улицу.

Эта фраза больно уколола Мещерина. Точно бы Верхнераменский произнес ее с особо скрытым в ней смыслом, уга-

дывая, о чем думал Вася пакануне, когда поздним вечером возвращался из квартиры Николая Павловича.

Жигицын лежал на кровати. Голова у него была забинтована, правая рука на перевязи, зловещей чернотой расплющившая спинки под глазами.

— Ах, мерзавцы, как меня разделали! — с исполненным добродушием и досадой на свою вынужденную беспомощность жаловался Николай Павлович. — Все по глазам поровняли бить... и закрыли бы мне, кажется, глаза... да, спасибо, какие-то проходили доброжелатели и отняли. Я так и не разглядел, кто они были. Мне пришлось ретироваться во двор, едва я освободился. Кровь потекла из зубов, из носу, глазами ничего не вижу... Выбыл из строя. Черносотенцев погнали, а я уж оказался не в состоянии помочь моим заступникам крепче проучить баандитов. Медянкина избили гораздо больше. И Сидора. И Егора. Пришлось отправить в больницу. Жалко ребят! Словом, черносотенцы потешились над каждым из нас в отдельности. Подстерегли у квартиры и Дору Брукман и Аппу Яковлевну. Дорка — молодец! Она не растерялась. Успела выстрелить и... разогнала шайку. На Аннушке растрепали все платье, оторвали рукав у пальто... Аннушка вбежала в калитку и успела захлопнуть ее на щеколду. Но все же в спину Аннушке так сильно запустили камнем, что она тоже лежит дома с компрессами. Впрочем, — задумался Жигицын, — она не одна. Дорка — умница из умниц. Ей как еврейке следовало опасаться худшего. Девушка поняла. Она на ночь не осталась у себя в квартире, а перебралась к Аннушке. Там теперь пока и живет... Действительно, в ту же ночь черносотенцы ворвались к Брукман на квартиру, выхлестали все стекла в рамках, разгромили и растащили Доркуну комшату. Вот негодяи! Я-то в конце концов пустяками отделался.

Покуда Мещерин не догадался помочь, Николай Павлович трудно поворотился, неловко задел большой рукой за железную спинку кровати и простонал.

— У, слабия! — улыбнулся Житницкий. — Благородная девица! Все вам больно да неладно... А могло быть и почище! Ты, Вася, понимаешь, откуда черносотенцы адреса квартир политических ссыльных получили? Из жандармского управления или из полиции. Сначала били у квартир, дорогу узнавали, а теперь, пожалуй, заберутся и до самой кровати.

— Так как же быть? — в ужасе спросил Мещерин. — Вам надо как можно скорее переехать на другую улицу.

Николай Павлович, чтобы не причинить себе боли от смеха, с трудом сдержался, чуть ухмыльнулся, помолчал и спокойно ответил:

— Милый мой, а что толку? Полиция и жандармы, к сожалению, на всех улицах.

— Так вы и будете дожидаться? — в недоумении спросил Мещерин.

— Так и буду, — совсем развеселился Житницкий. — То есть специально дожидаться не буду, по другого выхода нет.

— Надо бежать! — обрадовался своей догадливости Вася.

— Бежать? — поднял высоко брови Николай Павлович. — Бежать из-за одного подозрения, что тебя могут убить, а могут и не убить?.. Ну, это дудки! Ты меня, Васенька, подталкиваешь к смешному положению. Нет, голубчик, так не выйдет. Конечно, легко и приятно, когда победы, когда все гладко. А кто же будет работать, когда вокруг поражения, трудно, даже опасно, даже кто-то погибнет? Дело у нас с тобой более сложное и... замысловатое. Надо быть на месте до конца!

Оставшись один, Мещеринзвесил свое поведение другинника, утратил минутное очарование от кажущейся победы над собой и со стыдом почувствовал, что Житницкий преувеличил, приравнив Васю к себе и приписав ему качества, которыми тот не обладал...

Фразу Верхнераменского Мещерин понял как злостный и меткий памек, ничего на нее не ответил, но постарался замять дальнейший разговор о столкновении с черносотенцами.

Вася несколько недель не расставался с браунингом, такая неудобную тяжесть в кармане. Он напрашивался в лишние, без очереди, патрули дружинников, в лишнюю опасную работу, только бы никто, а главное — он сам, не мог заподозрить в Мещерине малодушия.

Мещерин с юношеской готовностью и самопожертвованием служил организации.

На Кобылке охотничьи ружья, дробовики, финские ножи... Но там же и винтовки, и револьверы, и бомбы. Организация большевиков накапливала вооружение.

Один рабочий-токарь доставил из Сормова шесть двадцатифунтовых бомб. Не завозя их на свою квартиру, бывшую под подозрением, он поместил бомбы у своего товарища, слесаря, на другой улице. Чтобы бомбы не колотились, они были чуть переложены паклей. Бомбы лежали в двух открытых высоких коробах. Помещены они были в сенях, в темном чуланчике, заваленном углами, корытами, кадками с огурцами и капустой, всякой хозяйствской рухлядью. В чуланчик ходили жены рабочих и косились на короба. Для чего-то в бомбы были введены раньше времени запальники. В городе происходили повальные обыски.

Мещерину было поручено вынуть запальники и бомбы уничтожить, чтобы они напрасно при обысках не достались жандармерии и не подвели всю рабочую квартиру.

Почью, со свечкой, Вася и слесарь вошли в чуланчик. Запальники вынимали попеременно. Один высоко держал свечу, другой вынимал. Потом передавал свечу товарищу — и роли менялись.

— Стой, — шептал слесарь, — дай, лучше я. У тебя дрожит рука.

— Ничего, — хрюнул Мещерин, — у тебя тоже.

— Не торопись, а то богу душу отдадим, и полквартала спесет, как под гребенку...

— Я не задену...

Последний запальник вытащил Мещерин. Он едва его не

разбил. У самого отверстия руку кинуло, послышался легкий звон стекла... Слесарь, охнув, подставил ладони.

Когда Мещерин и слесарь вернулись из чулана в комнату, сели, закурили, они с радостным и горделивым чувством от выполненного поручения уставились друг на друга.

— Даже пар от меня идет, — сказал слесарь и начал вытирая влажный лоб, — ворот рубахи прилип к телу. Зимой — лето...

Мещерин засмеялся, прислушался к своему голосу и не узнал его: он был странно не похож.

В середине ночи, в три приема, Мещерин и слесарь, завернув обезвреженные бомбы в газетную бумагу, сторонясь постовых городовых, пережидая за углами проходящую группу жандармов, — куда-то шли с обыском, — пробирались к реке Вологде и спускали опасную кладь в полузамерзшую прорубь.

Дня через два жандармы добрались с обыском и до квартиры слесаря. По там уже все было благополучно.

— Виселица! — сказала Дора Брукман, подавая пачку прокламаций, назначенных к распространению среди солдат Моршанского полка. — Помни, Вася, об этом.

Дора вела солдатский кружок, и недавно его разгромили. Она едва успела скрыться от облавы.

Было жутковато... Но надо же кому-нибудь доставить листки солдатам?

Казармы на берегу реки. На лодке поехали с Клавдей: катались. Девушка гребла. Вон у казарменных ворот часовые... Часовые вокруг забора и складов. Лодка видна на средине реки. Видимость проверена раньше, с берега. И лодка плывет в недосягаемой тени под кручиной.

Вася высакивал и раскладывал листки на бревнах, под лопухами, под камнями, чтобы не унесло ветром. Против самых казарм — купальни и лодочная пристань. Тут все перед глазами часовых. Но рано утром сюда-то и прихлынет после „зори“ солдатский поток. Моршанцы поплынут, будут нырять, будут сидеть на бревнах, на камнях...

— Веди лодку у самых купален, — шептал дрожа от нетерпения, Вася.

Белые пятнышки всюду. Обратно переменились местами: нужны сильные руки, чтобы гнать лодку.

На знакомой скамейке (Подзорная улица тиха и таинственна) подолгу сидели перед расставанием. Теперь Клавдия клала голову на грудь к Мещерину.

— Ты меня покачай, как маленькую. счастливо смеясь, бормотала девушка.

Среди поцелуев влюбленные тихонько обсуждали, что будет через несколько часов у казарм, и решали снова проехаться на лодке, уже днем.

Лодка, залитая солнцем, шла ближе к тому берегу.

— Они не знают и не представляют. — сиял Мещерин. — что это мы сделали!

Часовых стало больше: новые посты у купален, один солдат ходит по пристани, другой стоит в самом лопушнике.

— Давай проедемся возле них! — предложила, озорничая, Клавдия. — Интересно — пропустят или не пропустят?

Мещерин серьезен и осторожен. Он недовольно видит, как она сразу хватается за кормовое весло и поворачивает лодку наперерез струи.

— Так нельзя, Клавдия, — шепнул Вася, — мы должны сначала далеко выехать за город, а потом, как будто ни в чем не бывало, как будто мы ничего не знаем, проехаться под самым носом солдат.

Вася нажал на левое весло и принялся выпрямлять лодку.

— Это очень далеко! — капризничала Клавдия, не уступая и действуя кормовиком. — Ха-ха! — засияла девушка. — Ты на меня смотришь строго, как старый муж.

Лодка вертелась, описывая круги, и ее сносило к купальням.

— Эй, вы, ребята! — закричал и взмахнул винтовкой карабульный солдат. — Чего балуетесь? Утонуть охота? Нельзя сюда!

— Ага, подействовало! — торжествовал Вася. — Надо сказать Доре Брукман. Дело вышло! Хо-ро-шо!

Мещерин иногда слышал звонок у своей двери. Он сам провел отдельный звонок на проволоке в мезонине. Вася высовывался в окно и видел Дору, загнувшую кверху голову. Мещерин мчался открывать.

Мать строжала и возмущалась:

— Не доведут тебя до добра эти жиды длиноносые! Чего ей, этой, надобно? Какие у тебя с ней шуры-муры? Кто она такая?

Мещерин вспыхнул от негодования. Он посмотрел на толстую и добрую свою мать с презрением, содрогнулся от внутренней боли и внушительно сказал:

— Мне за тебя стыдно!

Он гордо и прямо поднимался к себе по внутренней лесенке. Мать раздраженно дразнила вслед:

— Пускай она когда снова придет, я так ей и скажу! Знаем их, христопродавцев! Они все крамольники! Они спят и видят погубить православных и... Россию забрать в свой карман! Вон в городе-то и немного их, а что ни жид, то подлец! Одни Кисины да Грубины хорошие люди!

Мещерин знал, что мать дружила с этими двумя семьями, ходила к ним в гости на пасху и почему-то не пропускала ни одних еврейских похорон.

— Уж я плакала, плакала! — рассказывала она после одних таких похорон. — Как они все враз завыли, так меня будто прострелило насеквоздь! Горе и у них!

— Эксплоататоры твои Грубины и Кисины! — крикнул Вася. — Душат своих же евреев-рабочих, переплетчиков и скобенников!

Однажды Дора Брукман сказала:

— У тебя мать антисемитка.

Мещерину хотелось оправдать свою мать. Вася заметил в глазах Доры неприятные огоньки. Она не умела их скрыть, хотя и сделала вид, что была совершенно равнодушна.

— Это понятие. — притворно зевнув, протянула Дора, — она же невежественная женщина. Она мне открыла двери. Я спросила тебя... Она ничего не ответила и захлопнула двери...

Вася беспокойно ерзал на месте.

— Ну, да это пустяки, Вася, — приветливо улыбнулась Дора. — Мы еще с тобой дождемся конца этой розни. Она падет из тысячелетий... У нас тоже есть невежественные фанатики евреи... Они не лучшие относятся к русским... Ты ничего не говори своей матери.

Дора Брукман была хороша собой. И тем обиднее казался поступок мамы. Разлад с сыном затягивался на недели: Вася чуждался матери, пока боль не изживалась. Время лечило ее.

Мещерин много думал о розни между евреями и русскими. Он копался в своей душе и находил, что там не все гладко. Предрассудки были живучи не у одной мамы. Вот Берта Фрумкина и около нее кружок спioniстов и спioniсток раздражали, были неприятны.

При встречах веяло чем-то чужим и враждебным с обеих сторон...

Революция поглощала Васю без остатка. Точно он прыгнул с кручи вниз головой и ушел глубоко на дно.

Но ряды заметно редели.

В один из осенних вологодских дней, когда зарядил серый настойчивый дождь, Мещерин с недоумением остановился возле дверей Николая Павловича. Внутри было необычно шумно, точно на веселой и пьяной вечеринке.

— Садись, садись! — закричал Николай Павлович Васе. — Пришел кстати. Вместе отпраздствуем наш праздник.

На столе вокруг самовара было несколько тарелок с ветчиной, с колбасой, стояли две-три консервных банки и бутылки с красным и белым вином...

Вася увидел подвыпившую и раскрасневшуюся Дору. Отчаянно весела и шумлива была Анна Яковлевна Медяшкин

беспрерывно смеялся. А Сидор даже играл на гитаре. Мещерин и не знал, что Сидор был гитаристом.

— Вина ему не давать, — приказала Анна Яковлевна Николаю Павловичу, — а пусть только кормится! Еши, Вася!

Оказалось, Анна Яковлевна кончила ссылку и праздновала завтрашний свой отъезд.

Вася никак не мог разобраться в своих чувствах, чем-то обиженных и задетых уезжавшей Анной Яковлевной. Почему-то ссылочные радовались отъезду. Разве в Вологде было недостаточно нужной работы?

— Встретимся, может, еще. Васенька! — нежно сказала Анна Яковлевна, лунась по-детски от предстоящей разлуки.

Мещерин с удивлением заметил, что Анна Яковлевна почти беспрерывно курила.

— Смотрите! — закричала она. — Вася не верит своим глазам: я — с панироской!

Анна Яковлевна близко наклонилась к Мещерину и продолжала:

— Это потому, что все во мне ходуном ходят от волнения и, может быть, даже от счастья. Я теперь — свободный человек!. Правда, — подумала и грустно усмехнулась она, — относительно свободный. Ну, да это все равно! Все же я могу в некоторой степени независимо хотя бы сесть в поезд и поехать, куда хочу. Ты, Вася, не представляешь, как тяжела ссылка, как хочется много-много работать, сделать гораздо больше, чем можно сделать в этой маленькой, дрянной Вологде...

— Условие, Аннушка, — крикнул Николай Павлович, — дальние, дальние водить за нос жандармерию и не попадаться!

— Постараюсь, — сияла Анна Яковлевна. — Приму все меры. Изучу топографию Москвы так, чтобы знать наизусть все проходные дворы, научусь быть невидимой, неуловимой...

— И даже похудей, — вставил Медяшкин, — чтобы в игольное ушко пролезать.

— А там и мы нагрянем,— серьезно сказал Сидор,— вместе с Житиницким и с Георгием... И заживем. Ох,— неприятно морщился он,— чертостили мне прискутило здесь! Ей-ей, мне иногда кажется, что я нарочно затягиваю работу, чтобы на завтрашний день осталось, а то совсем сдохнешь! Я только в ссылке попал, что значит работать впол силы...

— Эти подлецы-тюремщики, — неожиданно помрачнела Алиса Яковлевна, — придумали иезуитское средство уничтожать революционную энергию. Безделье — самое убийственное орудие. Ссылка выматывает человека, ослабляет его... Немало наших товарищей не выдержало и надломилось. А ведь были хорошие товарищи...

В последние минуты перед отходом поезда Анна Яковлевна, с легоньким чемоданчиком, как и пакауне — с папирской в зубах, отвела Васю в сторонку от провожавшей толпы ссыльных и знакомых и на прощанье пожелала ему:

— Если я тебя через несколько лет где-нибудь встретчу студентом, мне будет приятно, и я буду страшно рада. Надеюсь, ты и тогда не сделаешься белоподкладочником? Не забудешь нашей общей работы?

Мещерин застеснялся и возбуждению ответил:

— Это я обещаю!

Дора, Сидор, Медяшкин — те мечтали о конце своей вологодской ссылки без всякого укрывательства.

— Харьков, — говорила Дора. — Паш большой и замечательный Харьков!

— Эге-ге! А Москва какова? — облизывался Медяшкин. — Да я бы ее всю обошел. Товарищей-то сколько там! Родная Пресня! Кудришка! Земляной вал! Гужоны! Прохоровцы!.. Замоскворечье! Серпуховская площадь!

А вскоре в Вологде из старых товарищей остались только Житиницы и Дора Брукман. Сидора и Медяшкина выслали дальше — в Сольвычегодск. Правда, приблизились новые ссыльные...

Мещерин пристально приглядывался: эти моложе, почти сплошь студенты, говорливы, и некоторые непривычно нарядны и непривычно не похожи на прежних, — ге лучшие, теплее и ближе.

Мама привыкла к частым обыскам. Ей даже нравилось, что ходили теперь раньше, еще до возвращения папы со службы.

— Не держи у себя ничего, дрянь, — хмурилась и сердилась мать, — тогда не попадешься. Безо всего не возьмут. Вор не пойманный — не вор.

А кружки начали убывать.

На зимних студенческих вечеринках в залах Благородного собрания или Страхового общества до упаду танцевали. В смежных комнатах студенты и гости пили, поглощая водку и пиво, опустошали сытные буфеты, шумели, орали, пели... Еще недавно сюда часто входила настороженная полиция и прекращала летучие митинги, останавливалася пение „Марсельезы“. Отсюда брали непокладистых людей и уводили. Здесь почти всегда умело и ловко студенты устраивали сборы „на революционные цели“. Сборщиков искали сами жертвователи...

Мещерин с удивлением заметил, что на вечеринках точно подменили присутствующих.

Пожалуй, очень немногие щеголяли такими черными рубашками с бантом, как у него. Подчеркнутая простота одежды исчезала. Студенты наряжались в мундиры.

Везде фраки, сюртуки. Девушки и женщины — в белых летучих платьях.

На одной из таких вечеринок Клавдия появилась в длинном сером платье с пелеринкой и в новеньких туфлях. Высокие каблуки приподняли ее словно на голову. Рядом с ней совершенным франтом шагал Верхнераменский. А Клавдина мама — вся шелковая, надущенная, завитая, в белом пушстом боа, свисающем почти до полу...

Вася почувствовал себя замухрышкой.

— А-а, — сказала Клавдина мама с полнейшим ласковым простодушием, — знаменитый потрясатель основ! Долой, долой!.. Ха-ха! Здравствуйте, Вася! Верхнераменский! — кокетливо распорядилась неувязывающая женщина. — Возьмите меня под руку, а Вася пойдет с Клавдией. А то мы вчетвером весь коридор заняли.

Мещерину показалось, что Клавдия с неудовольствием сравнила бедный и скромный его вид с другими, постеснявшись ходить с таким бедняком по коридору, а потом вдруг покраснела, взмолвилась и потащила Васю отыскивать где-нибудь поз занятый диван.

— Какие все расфуфыренные! — пробурчал с неприязнью Мещерин.

Клавдия заспорила.

— А что же в этом дурного? Так приятно видеть хорошие костюмы и платья! Верхнераменский говорит — опрошаться любят только одни дураки! Я с ним согласна!

Вся эта вечеринка прошла как-то для Васи неудачно. Клавдия кололась, точно сплошными иголками было утыкано ее красивое серое платье.

Правда, она заставила Верхнераменского провожать домой не ее, а маму; правда, на Подзорной улице луна мирно и свело залила скамейку, нежно синел вокруг пущистый снежок, и девушка позволяла целовать свои пересохшие от мороза губы, но влюбленные несколько разссорились.

Расставание было совсем странно. Клавдия неожиданно закончила разговор:

— Никакой революции нет... И не было... Пошумели... — девушка передразнила чей-то голос.

— Да-а? — отшатнулся Мещерин, будто девушка засмеялась над ним с особо обидным смыслом.

— Лет через сто она, может быть, и будет, — твердо сказала Клавдия. — Не раньше. Так думают и Верхнераменский, и Перышкин, и даже Стеша Грибкова. Мы тут долго спорили и все сошлись на этом.

Вася злобно и враждебно бросил:

— Это вас всех Верхнераменский в свою веру перекрестил! О нем еще Анна Яковлевна перед отъездом сказала... Верхнераменский не внушиает никакого доверия, он непременно будет врагом революции.

Клавдия безнадежно махнула рукой:

— Что твоя Анна Яковлевна может сказать! Она теперь сама рада-радешенька, что уехала отсюда. Наверное, очень жалеет, что напрасно потеряла несколько лет в ссылке. Занималась бы в больнице! Врач. Это лучше, чем спорить с меньшевиками и делить шкуру неубитого медведя. Ха-ха! Нет, она больше в ссылку не поедет!

Мещерин, все больше волнуясь, докончил свою фразу:

— Неверный вертун этот Верхнераменский! Мне ли Анны Яковлевны. И не одной ее, а всех...

Пастросения Клавди менялись быстро. Поступки ее всегда противоречили друг другу. Вася никак не мог примениться к их колебаниям.

Вот она еще мгновение назад была и холода и равнодушна к Мещерину, бормотала неприятные слова, словно желала если не совсем расстаться с ним, то подчеркнуть их расхождение.

А тут так же внезапно и даже стремительно отмякла, энергично сунула в рукав шубенки Васи руку в перчатке и ласково попросила:

— Погрей, Вася. У меня совсем застыли пальцы.

И опять рывок — и оять новая выдумка:

— Нет, ты лучше подыши на них!

Мещерин крепко сжал руку и подышал на нее.

— Не доходит...

Тогда Вася догадался стянуть перчатку и подышать на голую руку.

— Теперь лучше...

Клавдия стащила и другую перчатку.

— Бери обе...

Мещерин, довольно посмеваясь, добросовестно согревал застывшие руки.

— Может быть, ты меня за пазуху посадишь? — начала опять дурачиться девушка. — Ну, я тебя вознагражжу за эту услугу. Пойдем, я тебя провожу до угла. Так и будем ходить взад и вперед: сначала я тебя отвожу, потом ты меня опять...

У Мещерина отлегло: словно и не было неприятного разговора.

— Какая красота вокруг! — вздохнула Клавдя. — И небо, и луна, и земля! Люди спят. А завтра проснутся... И все хорошо. Взойдет солнце. Почью все серебряное, а днем золотое! Вот это жизнь!.. Чем это можно заменить? А ты...

Клавдя не докончила и убежала.

— Правда, Вася, — подтрунивала дома мать, — скоро, говорят, ни одного забастовщика не останется... Всех переловили. Пана вчера смеялся над тобой: „Что-то, мол, давно не видался я с Васей-Красным. Зашел бы. Я его телячьими пожками угощу. Пожки — первый сорт. В сухарях и с маслом“.

Люди убывали... Клавдя появлялась реже и реже в мезонине. Она даже не оправдывалась.

— О, как долго я у тебя не была: целый месяц! — воскликнула она.

А однажды Мещерин почувствовал себя так, точно не он был хозяином комнаты, а Клавдя и Верхнераменский. Соперник еще никогда не бывал у Васи.

— Мы зашли к тебе за папирской, — дурачилась Клавдя, — проходили мимо. Шлялись за городом. Видим — огонь... А этот курильщик хочет папирис. Я у него десяток выбросила в Золотуху с моста. Дай ему! Только одну!..

Они почти тотчас же ушли, не пригласив Мещерина. Вася, стиснув зубы, слышал, как Клавдя задорно над чем-то смеялась, каблучки ее стучали под окном на гулкой ночной папели.

Работа в организации замирала. Начал колебаться и Мещерин. Но как будто это были случайные настроения. Они

приходили и раньше. Вася успешно отгонял их. С новой силой и рвением, точно загаживая измену, — измена даже в одних мыслях, — он делал порученное ему дело. Мещерин с гордостью сознавал свою непреклонность, когда вокруг все было перешительно и неверно. Из кружка телеграфистов никого не осталось, кроме него и Пети Соломкина.

Но вскоре Мещерину пришлось пережить одну из самых тяжелых минут в жизни. Николай Павлович, как-то немного смущаясь, неожиданно сказал:

— Ты, Вася, передай часть кружков Соломкину.

Мещерин остолбенел.

— Почему?

— Ты, я вижу, замучился, — глядя в сторону, наставлял Житницын и в то же время старался объяснить как можно правдоподобнее свое внезапное решение. — Надо занять Соломкина, он у нас стал свободнее. И это такой парнишка бедовый! У него все горит под руками...

Вася удивленно смотрел на Житницына.

— Ну, ты уж сразу и подумал, — примирительно ухмыльнулся Николай Павлович, — что Соломкин лучше тебя и я потому хочу заменить одного организатора другим. Конечно, это не так. Но Петя не мешает заняться кружками. Что он у нас сидит на одной технике?.. Впрочем, я, пожалуй, ошибся, — подумав, словно обрадованный найденным выходом, заключил он, — не надо передавать, а работайте вместе. Или так распределите как-нибудь... Словом, ваше дело. А Петю надо, надо пристегнуть. Ты, ясно, кореник, а Петя под своим... начalom.

Мещерин понял, что в отношениях его с Николаем Павловичем и Петей Соломкиным не осталось прежней простоты и ясности. Наоборот, Житницын и Соломкин теперь встречались все чаще и чаще. Вася с завистью заметил, как Житницын однажды выходил из калитки дома Соломкиных: значит, Николай Павлович бывал у Пети, в то время как он никогда не заглядывал к Мещерину.

Соломкин окончательно выяснил недоумение Вал. Старые товарищи расходились. Нетя жил особой, замкнутой жизнью и точно прятался от Мещерина.

— Ты, — отрубил Соломкин, — глядишь в сторону. Ты гладкое место любишь. По шоссе всякий ходит. У проселка с ухабами мужики шлею на лошади подправляют и подругу подтягивают. Ты закрутился с Клавдией, с другими девчонками, с гимназистами... Ты, Васька, под их влиянием. Ты с ними. Тебе это самому хуже видно, чем, например, мне. Не отпирайся!

— А ты? — всхлипал оскорбленный Мещерин.

— Я? — спокойно ответил Соломкин. — Я сам по себе. Я всякую гниль ненавижу. Я если пошел, то иду, покуда ноги у меня переставляются.

Товарищи не раз сталкивались и спорили.

— Ты басу Николая Павловича подражашь! — закричал однажды, стараясь задеть Петю, Мещерин.

Соломкин снисходительно усмехнулся.

— А хоть бы и так. Бас ничего, стоящий... А ты совсем сбылся. Подумай, что ты говоришь! У тебя в голосе неприязнь к Житницыну. Для Николая Павловича организация не только личное дело, как для тебя, со всякими привязанностями и симпатиями. Житницын обязан подбирать работников. Ты уж, Вася, шагаешь мимо...

Ссорились и работали.

— Но-твоему, я должен уйти, — резко спросил Мещерин после одной ссоры, — пока меня не выгнали?

— Нет, зачем же, — холодно бросил Соломкин, — может быть, ты еще окрепнешь и... разберешься во всем. А тогда уж и решишь...

Мещерина раздражал уверенный и почти покровительственный, как ему казалось, тон Соломкина. Нетя изменился совершенно незаметно для Васи, приобретя удивительное спокойствие, сосредоточенность, словно он теперь даже двигался по-иному, чем раньше.

Вася покрежнему колебался.

На Кобылке снова засили. И больше и отчаяннее. Там откуда-то взялся рабочий-пожарник и собрал вокруг себя большую артель таких же буйных ухарей, как он сам. Артель Ницгалкина победно заходила по Кобылке. Ее боялись. Ницгалкин командовал в мастерских, в домах, на улицах, в чайной. Он враждовал с целым миром. Он требовал подчинения себе. И тогда прошел слух:

— Провокатор!

Огромный черный костистый кузнец, с лапами, как железные кошки, улавливающие на глубинах речное дно, с вытаращенными, блестящими непонятным ильяным огнем глазницами, всегда насупленный, летом в опорках, зимой в чудовищных по размерам валенках, — Ницгалкин был странен.

— Мы анархисты! — орал он. — Задушим всех, как червей! Молча-ать всем сволочам! Убью! Я, Ницгалкин, один знаю, что надо делать на Кобылке!

Мещерин старался не попадаться ему на глаза. Ницгалкин спачала был в организации. Но быстро вызвал недоверие нынешним и буйством. От него спрятались.

— Провокатор!

Ницгалкин метил. Он упорно избивал и преследовал всех близких к организации рабочих. Он с ненавистью сорвал однажды с Васи шляпу, столкнувшись с ним недалеко от мастерских. Сорвал, растоптал и зловеще рассмеялся.

А потом он схватил Мещерина в рабочей чайной, вытащил его на улицу, крикнул своим ближайшим помощникам — и артелью, словно арестовав Васю, с песнями пошли грязной дорогой.

— Вася, я тебя люблю, я тебя знаю, — притворился Ницгалкин и дико скрежетал зубами. — пойдем ко мне... в мой дворец... Я хочу тебе сказать одно слово...

Вся артель подозрительно ухмылялась.

В грязной, по обширной комнате Ницгалкина стояла деревянная кровать, без матраца, сброшенным на нее, прямо

на доски, ситцевым замасленным красным одеялом; посередине логовища тесовый стол с пустыми винными бутылками, глиняная чашка с оглодками соленых огурцов.

— Ты сядь к свету, барин! — крикнул Пищалкин, и обмершего в испуге Васю он толкнул на стул. — Видишь? — заорал Пищалкин, бледнея, отчего он сделался страшнее, и вытаскивая из-за пазухи светлый, никелированный Смит-Вессон. — У меня эта дрянь, а у тебя браунинг! Х-ха-роший браунинг! Я тебя, захочу, могу и пристрелить! Верно, товарищи?

— Вали! — согласно сказал ближайший рабочий.

— Давай браунинг! — приказал Пищалкин, почему-то отворачиваясь от Мещерина. — Он у тебя только карман рвет, а мне пригодится. Я тебе взамен отдам своего смит-вестонку. Н-нет! Ничего не отдам! Я вас, болтушек и кумушек, должны обезоруживать!

У Мещерина отобрали браунинг, принадлежавший организации. Пищалкин тяжело рухнул к столу, рванул ящик и достал бутылку. Выпили. Вася приковано сидел, покуда на него с дикой злобой не воззрился Пищалкин.

— Я вам грудь, тонконогим, вырву! — зарычал в неистовстве Пищалкин. — Ш-шиля-ны! Мусье-пусье! Ах, ох, товарищи, братики и сестрички!..

Вася решительно ничего не понимал. Пищалкин вскочил, замахнулся на Мещерина стулом и долго стоял с дрожащими губами.

Вдруг с прищурившимися узко и зловеще глазами он крикнул:

— Бить вас, мерзавцев!

Пищалкин швырнул стул, забрал свободившейся лапой в горсть пиджак на груди Мещерина, помотал из стороны в сторону и рванул. Он отхватил все пуговицы на пиджаке.

— Вон! — загремел и затопал ногами Пищалкин. — Чтобы я тебя больше не видел на Кобыльке! Ха-ха! Небось, струсили!

Кто-то запустил в Мещерина соленым огурцом. Под довольно-
ный хохот и крики Вася кинулся наутек.

Пищалкин неистовствовал. Он вооружил всю свою артель
отобранным у многих товарищей оружием. Пищалкин безнака-
занно буйствовал и своеольничал.

Он нагнал ужас и смятение на Кобылку. Его подозрительно
не трогала полиция, точно любуясь неизданным молодече-
ством и разбоям.

И Кобылка собралась сама с силами, раскачалась... Пищал-
кина убили несколько сговорившихся токарей. Кобылка осво-
бодилась...

Николай Павлович и Петя Соломкин словно не интересо-
вались ни буйством Пищалкина, ни его уничтожением.

— Наконец-то убили! — сказал удовлетворенный Мещерин,
прибежав к Николаю Павловичу с известием о смерти страш-
ного кобылкинского бандита.

— Кого? — безразлично спросил Житницаин.

— Пищалкина! — задыхался Вася.

— А-а, — протянул Николай Павлович. — Давно пора. Рано
или поздно товарищи рабочие вынуждены были освободиться
от этого насильника. Он особенно опасен. Происходил из
своей собственной, рабочей среды. На него дуло кривило.
Это не чужак. Того убрать легче... Хорошо, хорошо! И орга-
низация свободна. Теперь не будет об этом Пищалкине раз-
говоров. А то на каждом собрании мешал. Вместо прямого
дела постоянно отвлекалась в споры о похождении этого...
Бовы-королевича...

Николай Павлович долго смотрел на запыхавшегося и воз-
бужденного Мещерина. Вася подхватил этот взгляд.

— Пищалкин... ладно, — пробурчал Житницаин, — я твою
радость разделяю. Негодяй препятствовал работе. А вот не-
хорошо, что и ты ерундишь.

Вася обиделся и нахмурился.

— Я не разбираюсь, — с раздражением бросил Меще-
рин, — как будто бы...

— Да, да, — перебил недовольно Житиницын, — вот тебе и „как будто бы“! Ты ничем не отличаешься от других. Опыт произведен на тех, а ты только лишь повторение. Еще один лишний нытик...

Столкновение с Соломкиным было резче и грубее.

— Да какая в конце концов разница, — скучая, вымолвил Петя, — между Пищалкиным и теми, кто предает рабочий класс? И тот и другие — вредны. Одни большие, другой меньшие. Один бьет по голове дубиной, другой исподтишка пакостит...

Вот тогда Мещерин в ярости и негодовании сорвался.

— Что же, ты меня, — и пренебрежение послышалось в его словах, — онять-таки с чужого голоса готов сравнивать с Пищалкиным?

— Я не сравниваю, — вяло сопротивлялся Соломкин. — К чему эти сравнения? Они излишни. Дело и без сравнений ясно. Я уважаю одно явление другому, при всех, конечно, особенностях.

— Я рассчитывал на уважение хотя бы во имя нашей давнишней дружбы! — возмущенно горячился Мещерин.

Петя Соломкин устало и равнодушно посмотрел куда-то мимо глаз Мещерина.

— Дружбы? Странно.

— Ты находишь и нашу прежнюю дружбу странной? Ответь мне прямо.

Соломкин глубоко задумался, точно спрашивая в молчании сам у себя ответа.

— Пахожу, — наконец убежденно проворчал он. — Всегда-как случает... я ошибся в тебе. Я не ожидал такой... шалтай-Балтай...

Соломкин сделал оскорбительное движение руками: оно должно было изображать всю неустойчивость Васи.

Мещерин с тоской и мукой все больше начал угравливать веру в неизбежность революции. Колебался, сомневался, не спал ночей, иска выхода и уширяясь в туник.

Кто-то из таких молодых отчаявшихся резко сказал на собрании коллегии агитаторов:

— Масса в девятьсот пятом вышла из подполья, вышла на улицы и развернулась... Но теперь снова нельзя загнать в подвалы! Кружки малы и тесны! Они потому и не выходят! Они пережили себя! А какие у нас есть другие способы?

— Есть, — злобно и презрительно оборвал маловера Петя Соломкин.

— Какие?

— Самые радикальные и необходимые.

— Ну, назови же! А то ты, как кликуша, что-то бормочешь неясное и... точно гипнотизируешь нас.

Петя безразлично пропустил открытую насмешку над ним.

— Надо очистить организацию, — серьезно отчеканил он, — от всех поддельных, па час, товарищей. Качество, а не количество. Очистить раньше, чем разбегутся сами. Помочь им. Нельзя тянуть волынку там, где все отчетливо, как сквозь вымытое стекло.

Мещерин не мог найти в себе веры, равной Петиной. Он чувствовал, что и Николай Ильинич, и Дора Брукман, и Петя, и Егор, и, наверное, Медяшкин в Сольвычегодске, и другие такие же по разным местам огромной России умели сставаться одинаковыми и в грозу и после грозы. Они умели, он не умел.

— Мы всегда побеждаем! — как-то, выйдя из себя в споре с колеблющимися товарищами, крикнул Николай Ильинич. — Пускай всем кажутся поражения поражениями, для нас они в конечном счете являются победой!

Мещерин не мог обнять этой мысли.

На реке было много лодок с катающимися. Тармоны. Гитары. Балалайки. Шели „Из-за острова на стрежень“, „Чайку“, „Ласточку“. А недавно еще — „Вихри враждебные веют над нами“, „Марсельезу“, „Замучен тяжелой неволей“.

Городовые дремали по углам. В соборных крестовых ходах несли кресты и иконы двести окладистобородых хоругве-

послов в серебряных ливреях. „Союз русского народа“ открывал свои ногромные чайные.

Затишье. Мрак. Ни больших, ни малых дел. Вековая пыль на улицах, сор, грязь до трубец... Гроза скатилась и умерла. И небо и земля скучны и бессловесны. Всё обычно и заурядно.

Мещерину казалось, что ничего не было. Отчалине... Мещерин слонялся по городу в какой-то опустошённой обречённости. Зато окрен Федор Степанович и потребовал от сына заработка. Вася стал писцом.

Писец городского ломбарда...

— Суконная шуба на лисьем меху! — кричал оценщик. — Двадцать рублей! Золотой юнипир! Три рубли. Бобровый воротник! Пошений! Пятнадцать рублей!

Мещерин обязан был успевать за хлопотливым оценщиком, заполняя бланки тоскливых накладных.

Снова недоросль... Ни швец, ни в дуду игрец...

Проклятые, унылые годы!

Москва, 1933.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Отды</i>	3
<i>Кронштадт</i>	49
<i>Пряхино</i>	87
<i>Рябинки</i>	165
<i>Верховажье</i>	240
<i>Недоросль</i>	281
<i>Козёна и Желвунцы</i>	335
<i>Петербург</i>	380
<i>В грозу</i>	400